

С. В. БЕЛОВ



300-летию Санкт-Петербурга посвящается

ПЕТЕРБУРГ  
ДОСТОЕВСКОГО



**ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕРИЯ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ**



**С. В. БЕЛОВ**

1  $\frac{02 - 21}{112 - 9}$

# **ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО**

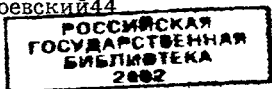
*Научное издание*

Издательство  
«Алетейя»  
Санкт-Петербург  
2002

ББК Ш5(2=Р)52-4Достоевский44

УДК 882.09

Б 43



С. В. Белов

Б 43 Петербург Достоевского. Научное издание — СПб.: Алетейя, 2002. — 372 с. (Петербургская серия)

ISBN 5-89329-513-7

Это первая обобщающая работа о «самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре» в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. С необыкновенной тщательностью и скрупулезностью реконструируются петербургские адреса Ф. М. Достоевского и его героев, анализируется искусство петербургского чтения «Преступления и наказания», рассматриваются петербургские аномалии-символы у Ф. М. Достоевского, проводится петербургская экскурсия по Петербургу Достоевского. Автор книги — академик Академии Гуманитарных Наук, профессор, доктор исторических наук, член Международного Общества Ф. М. Достоевского.



2002007630

ISBN 5-89329-513-7

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2002 г

© Белов С. В., 2002 г.



9 785893 295139

Роману Исааковичу Цветову  
с признательностью

Автор

## ПРЕДИСЛОВИЕ

«Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, — среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то — в дневное сияние?»

Андрей Белый  
«Петербург»

История главного героя «Преступления и наказания» разыгрывается в Петербурге. Самый фантастический на свете город порождает самого фантастического героя. Петербург Достоевского — это некий символ, он незримо связан с действующими лицами. Раскольников — «петербургский тип», и только в таком угрюмом и таинственном городе могла зародиться «безобразная мечта» нищего студента.

В Раскольникове звучит, словно грустная песня уличной шарманки, душа Петербурга: «Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...»

Мокрый снег, фонари, шарманка — весь Петербург Достоевского в этих таинственных словах. В романе «Подросток» Достоевский размышляет: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”».

Душа Петербурга — душа Раскольникова, в ней то же величие и тот же холод. Герой «Преступления и наказания» «дивился... своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его». Весь роман «Преступление и наказание» посвящен разгадке тайны Раскольникова—Петербурга—России.

Вся книга «Петербург Достоевского» посвящена разгадке Петербурга Достоевского, анализу петербургских квартир писателя и его героев, первому опыту петербургского чтения «Преступления и наказания», исследованию петербургских аномалий-символов у Достоевского и наглядной демонстрации пешеходной экскурсии по Петербургу Достоевского.

В приложении к книге «Петербург Достоевского» приводятся следующие разделы: «Современники Ф. М. Достоевского, встречавшиеся с писателем в Петербурге и упоминающиеся в настоящем издании», «Основные источники», «Адреса Ф. М. Достоевского в Петербурге», «Условные петербургские “адреса” героев Ф. М. Достоевского».

С. В. Белов  
Академик Академии Гуманитарных Наук,  
профессор, доктор исторических наук

## «САМЫЙ ОТВЛЕЧЕННЫЙ И УМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД НА ВСЕМ ЗЕМНОМ ШАРЕ».

### *ДУША ПЕТЕРБУРГА ДОСТОЕВСКОГО*

«...Достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре»

«Записки из подполья»

В фельетоне 1861 года «Петербургские сновидения в стихах и прозе» Достоевский описывает свое «видение на Неве» в эпоху создания своего первого произведения «Бедные люди», когда он понял, что нет ничего фантастичнее действительности, и эту минуту Достоевский называет своим рождением, — произошло оно в фантастическом городе Петербурге:

«Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мгlistом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замершего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглис-



того инея. Становился мороз в двадцать градусов... Мерзлый пар валил с уставших лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искуритя паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование... Скажите, господа: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие? что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение <...>

И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал!

И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».

Достоевский увидел, что Петербург нереален, он «всегда казался какою-то тайной», что это «самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», как он напишет в «Записках из подполья». Эту «отвлеченность и умышленность» Петербурга Достоевского хорошо почувствовал известный немецкий писатель Генрих Бёлль, когда в 1966 году снимал в Ленинграде по собственному сценарию телевизионный фильм «Достоевский и Петербург».

Генрих Бёлль считает, что Достоевский не замечал петербургских архитектурных ансамблей, а использовал их только лишь как «знаки препинания» внутри своего материала; не замечал он также «общественных достопримечательностей», как называет Бёлль генералов, министров, — им также отводилась роль «знаков препинания». Достоевского занимали страдания. Эпиграфом к его творчеству могли бы стать слова: только страдание является реальным.

Бёлль отмечает, что религиозность Достоевского так же часто ставилась ему в упрек, как и отрицалась. Никому не придет в голову сомневаться в «личном признании Достоевским Христа». Все, что он выражает в своих романах, может колебаться между «абсолютным нигилизмом и глубочайшей верой». Как писатель XIX века, он проложил путь к большим темам нашего времени, открыл дорогу литературе экзистенциализма, абсурда, страха, и «он сделал это, как Христос».

Знакомство с Петербургом позволило Генриху Бёллю сделать вывод, что как писатель Достоевский никогда не обращался к заданным схемам, а черпал свои образы

из действительности. Он вечно в поисках и все воспринимает как путешественник: мгновение и вечность, жизнь и смерть, горечь преходящего. Ничто не было ему столь подозрительно, как здоровье, которому противостоит не болезнь, а страдание. Достоевский не установил, не волюется ли «это страдание со временем, с концом абсурдной временности — в вечность»; он не давал решений, способных послужить катехизису, он только излагал мысли, размышления, ассоциации, и его образы, «страдающие между небом и землей», реальны.

Бёлль хорошо знает и историю Петербурга, и его восприятие русской классической литературой. По его мнению, Петербург в понимании Достоевского — это город, построенный по приказу, абстрактный, загнанный кнутом в ничто финских болот. Никому не известно, стоило ли его возведение сотни — двух сотен тысяч человеческих жизней. Русские писатели — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый и Блок — были твердо убеждены, что однажды вода опять поглотит Петербург. Достоевский всегда ощущал «кровь и нищету жертв» — громадное, «необозримое кладбище рабов», на котором возведены были эта роскошь и это великолепие, породившие «интеллектуально обоснованное насилие и смирение». Попытка открыть для России окно на Запад так далеко на Севере была осуществлена вопреки климату, вопреки геологическим условиям болот. «Идея и мечта» — два эти слова чаще всего встречаются в петербургских романах и рассказах Достоевского. Такая «инородность» города преследовала писателя и за границей, во всех больших городах он вновь и вновь узнавал ее, и она во много раз усиливала его «ненависть и тоску по Родине».

Генрих Бёлль тщательно изучил весь район Сенной площади, где развиваются события романа «Преступление и наказание». По его мнению, Достоевский, неуто-

мимый ходок, во время своих прогулок в церковь, в частные ломбарды, посещения издателей и книготорговцев, воспринимал все виденное именно в свете «инородности» Петербурга и изобразил встреченных им персонажей во «второй реальности». Незаметные личности общества, торговцы и рантье, маленькие чиновники и канцеляристы, проститутки и полицейские, студенты и торговки, солдаты и офицеры, бездельники и гении, молодые крестьяне, пришедшие в большой город как рекруты или лакеи, — Достоевский наблюдал их всех на нескольких улицах вокруг Сенной площади и из этой «инородности» перенес в реальность своего творчества.

В сценарии Бёлля «Достоевский и Петербург» сопоставляются такие диаметрально противоположные петербургские образы писателя, как Раскольников и Соня Мармеладова. Возможность приблизиться к личности и духу писателя ранга Достоевского, указывает Бёлль, заключается в следующем: «упорядочить его населенный бесчисленными образами космос», оценить и проанализировать разговоры, мысли, поступки. Этот космос имеет высокое напряжение между «абсолютным высокомерием» и «полным смирением», между Раскольниковым и Соней. Расстояние между этой «высокого напряжения интеллектуальностью» Раскольникова, целующего в конце землю, и такими смиренными фигурами, как Идиот — князь Мышкин, едва ли можно измерить человеческими масштабами. Раскольников является только одним из тех образов Достоевского, которые «смотрят на общество и историю, сознавая высоту своего интеллекта, и высокомерно ставят себя над ними» и все же в итоге открывают ту силу, какой обладает Соня, — смирение, о котором Достоевский говорит, что это — «самая страшная сила, какая есть на земле».

Появление таких героев как Раскольников в творчестве Достоевского, Бёлль связывает непосредственно с

Петербургом. Этот город заставляет людей в романах Достоевского сомневаться в собственной реальности, он превращает их в «дневных мечтателей», одиночек-прохожих. почти все они разговаривают сами с собой, они принимают свои идеи за поступки и свои поступки за идеи, как Раскольников — свое убийство ростовщицы. Но их мечты — это не романтические мечтания, это — «абстрактные, интеллектуальные мечты», утопии, какими их могла соблазнить «эта фата моргана, лежащая на воде». Чем выше их интеллект, тем легче они разгадывают «случайный блеск дворцов», тем сильнее становится их «интеллектуальная мечта», пока, наконец, они больше уже не знают, делают ли они то, что думают, или думают о том, что делают.

Самый смиренный из всех образов Достоевского и в то же время образ «высокой чувствительности и интеллектуальности», считает Бёлль, — князь Мышкин, Идиот; он не то чтобы «разумный, а ясновидящий»; эпилепсия, которой страдал и сам Достоевский, делает Мышкина способным проникнуть «экстатическим путем в тайники психологии преступления как сострадания, греха как невиновности». Генрих Бёлль пишет, что Мышкин является «самой смелой попыткой воплотить в литературе Христа как страдающего. Он потерял время, но все же он во времени, полный смысла действительности и все же чуждый миру...» (Белов С. В. Глазами Генриха Бёлля // Нева. 1988. № 2. С. 206–207).

С апреля 1847 года Достоевский пишет фельетоны «Петербургской летописи» в «Санкт-Петербургских ведомостях». Свободные заметки «Летописи» объединены образом главного героя: фантастического и мрачного Петербурга. К его таинственной жизни прислушивается «фланер»: «...Я вот шел по Сенной да обдумывал, что бы такое написать. Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как

раздраженная светская дева <...> Грустно было смотреть на его сырые, огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто даже сердились на дурную погоду <...> на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто со зла растрескавшийся под ногами прохожих, и наконец, на самых прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых <...> Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, так кисло... Петербург дулся. Видно было, что ему страх как хотелось <...> куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингерманландском суровом болоте».

Восприятию Достоевским Петербурга как «самого отвлеченного и умышленного города на всем земном шаре» способствовало отрицательное отношение писателя к реформам Петра I. Достоевский полагал, что Петр подорвал православные начала в русском народе и с Петра началось разъединение интеллигенции с народом и появились такие герои, как Мечтатель в «Белых ночах» или бунтарь Раскольников. Такое восприятие Петербурга — города, «построенного по приказу, абстрактного, загнанного кнутом в ничто финских болот», возведение которого стоило стольких человеческих жертв, корнями своими уходило в годы учебы в Инженерном училище, помещавшемся в здании Инженерного замка, где был убит Павел I.

Можно ли ради якобы благородной цели переступить через нравственный закон? После каторги и ссылки православный монархист Достоевский ответит: конечно, нет. Вся мировая гармония не стоит и одной слезинки ребенка, воскликнет он в «Братьях Карамазовых».

«Самый отвлеченный и умышленный город» помог Достоевскому найти новую художественную тему: петербургское мечтательство. Вот как изображается петербургский мечтатель в «Петербургской летописи»: «А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар

петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками <...> Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам <...> Селятся они большею частью в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и света, и вообще, даже что-то мелодраматическое кидается в глаза при первом взгляде на них <...> На улице он ходит, повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, иногда и тут совершенно забывая действительность, но если заметит что, то самая обыкновенная житейская мелочь, самое пустое, обыденное дело немедленно принимает в нем колорит фантастический».

Мечтатель и Раскольников — неизбежное порождение Петербурга, и Петербург такой же виновник преступления Раскольникова (он заражает Раскольникова преступной идеей), как и виновник самоубийства Кроткой. «Белые ночи» развивают тему мечтательства «Петербургской летописи»: «...Вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается <...> Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком с Петербургом...»

Н. П. Анциферов справедливо пишет, что Достоевскому «была ведома особая красота Петербурга. Она раскрывается на один миг, она ощущается как видение, как

быстро преходящий сон. Ей бывает обязана северная столица преобразующей силе природы» (Анциферов Н. П. «Непостижимый город...» Л., 1991. С. 207) и в качестве примера приводит отрывок из «Униженных и оскорбленных»: «Я люблю мартовские солнца в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг свою угрюмость; как будто на душе просияет».

Но мечтатель-романтик сороковых годов в шестидесятые годы превращается в циника-«парадоксалиста», героя «Записок из подполья», любимый пейзаж которого — мокрый снег: «Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это все уж *непременно* сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался; ведь и без того все было потеряно». «В этом падающем снеге, — указывает Анциферов, — Достоевский чувствовал выражение какой-то таинственной силы. Прозаические картины города одухотворяются им какой-то особой поэзией» (Там же. С. 210).

Трагическое противоречие сознания героя «Записок из подполья» наследует Раскольников. История главного героя «Преступления и наказания» разыгрывается в Петербурге. Петербург Достоевского — духовный символ, мистически связанный с действующими лицами. Раскольников — «петербургский тип», и только в таком городе могла зародиться «безобразная мечта» нищего студента.



В другом петербургском романе «Подросток» Достоевский напишет загадочную фразу: «В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из “Пиковой дамы” (колоссальное лицо, совершенно петербургский тип, — тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться». Раскольников — духовный брат Германна. Он тоже мечтает о Наполеоне, жаждет силы и убивает старуху. Его бунтом завершается «петербургский период русской истории». Петербург превращается в призрак, видение, чужой город, оборотень: «И странно: мне все казалось, что все кругом, даже воздух, которым я дышу, был как будто с иной планеты, точно я вдруг очутился на Луне. Все это — город, прохожие, тротуар, по которому я бежал, — все это было уже *не мое*. “Вот это — Дворцовая площадь, вот это — Исаакий, — мерещилось мне, — но теперь мне до них никакого дела”; все это как-то отчуждилось, все это стало вдруг *не мое*...»

В «Преступлении и наказании» все лишь несколько кратких описаний Петербурга, но и их вполне достаточно, чтобы мы почувствовали Петербург Достоевского. Вот Раскольников в ясный летний день стоит на Николаевском мосту, «не доходя шагов двадцать до часовни», смотрит на Исаакиевский собор и пристально вглядывается в «эту действительно великолепную панораму». (Художник Добужинский заинтересовался вопросом, почему Достоевский отметил это место, как наиболее подходящее для созерцания Исаакиевского собора. Оказалось, что отсюда вся масса собора располагается по диагонали и получается симметрия в расположении частей. — *Анциферов Н. П.* Петербург Достоевского. Пб., 1923. С. 89.) «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина <...>

Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее».

Душа Петербурга — душа Раскольникова, в ней то же величие и тот же холод. Герой «Преступления и наказания» «дивился <...> своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его». С кем же пойдет Россия? С Богом или без Бога? Весь роман «Преступление и наказание» посвящен разгадке тайны Раскольникова—Петербурга—России. Петербург так же двойственен, как и порожденное им человеческое сознание. С одной стороны — царственная Нева, Исаакиевский собор, «великолепная панорама», с другой — Сенная с ее страшной бедностью, мерзостью и безобразием. Таков и Раскольников: «он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен». (В этой красоте, кстати, и залог его грядущего возрождения.) Но у этого «замечательно хорошего собою» человека есть своя Сенная, свое грязное подполье: мысль об убийстве и грабеже.

Свидригайлов приоткрывает Раскольникову мрачное влияние Петербурга на его душу: «...Я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния! Между тем это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем».

Весь Петербург с его пьянством, нищетой, ненавистью, развратом ведет убийцу в дом старухи-процентщицы. Обстановка преступления, квартал и дом, в котором живет процентщица, вызывают в Раскольникове не меньшее

«омерзение», чем его «безобразная мечта». «А тут еще город! — восклицает Свидригайлов в разговоре с Раскольниковым. — То есть как это он сочинился у нас, скажите пожалуйста! Город канцеляристов и всевозможных семинаристов!»

Вот Раскольников идет «делать пробу»: «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, — все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшие, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека».

Все темное и низкое Петербурга — притоны, кабаки, подвалы, трущобы — становится сообщником, соучастником отвратительного преступления Раскольникова: «Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посоветился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих срединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой».

Мысль об убийстве в нищем студенте родилась из соприкосновения с ядовитыми испарениями мрачного города: «С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в -ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими про-

мышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома».

После «пробы» Раскольников восклицает: «О Боже! как это все отвратительно! <...> На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. <...> Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей». Сенная площадь со своими девицами, пьяницами и «промышленниками» и идея преступления — два образа одного душевного состояния, неразрывно связанного с Петербургом.

В петербургский пейзаж Достоевского неизменно входят «распивочные» и трактиры. И вот что любопытно. Самые жизненно важные, глобальные, сокровенные, «последние» вопросы решаются под крики пьяниц, среди чада и гама, именно здесь возникают самые острые идеологические споры. За низменностью обстановки скрывается какая-то странная пронзительная лирика, внезапно во всем этом внешнем безобразии начинает ощущаться незамеченная доселе внутренняя красота. И как это ни парадоксально, чем низменнее обстановка, тем сильнее она пронизана христианским светом.

Вот Раскольников спускается в распивочную, «с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу <...> За ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одной девкой и с гармонией <...> Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с

большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным».

Эта петербургская распивочная — мир «пьяненького» чиновника Мармеладова. Трагическую историю своего падения Мармеладов повествует Раскольникову под смех и ругань пьяниц, в угарном винном запахе. Звуки шарманки сопровождают эту историю и «детский, надтреснутый семилетний голосок, певший “Хуторок”». Шарманка усиливает пафос рассказа о Христе, принимающем пьяненьких в царствие свое: «И прострет к нам руке Свои, и мы припадем... и заплачем... и всё пойдем! Тогда всё пойдем! ... и все поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи, да придет Царствие Твое!»

Неизменный петербургский ландшафт «Преступления и наказания» включает набережные (особенно Екатерининского канала), полицейские участки, трактиры, распивочные, каналы, мрачные улицы и переулки, многоэтажные дома, острова. У Достоевского в изображении Петербурга в «Преступлении и наказании» нет никаких «художественных описаний», никаких «красот природы», одни лишь деловые ремарки, протокольная запись «места действия». И все же весь роман озарен светом Петербурга, пронизан его воздухом, и петербургские реалии заполняют первый из пяти гениальных романов писателя.

Душа Петербурга воплощается в Раскольникове, звучит в нем, как тоскливая песня уличной шарманки:

«Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...»

Весь Петербург в этих таинственных, волшебных и магических словах: шарманка, фонари, мокрый снег.

Петербургская природа — транскрипция душевного состояния Раскольникова. Раскольников совершает преступление «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время». Он бродит по городу: «Проходя чрез мост, он тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца». После преступления убийца идет в контору, и его снова слепит солнце: «На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть и голова его совсем закружилась, — обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день».

И вот этот отвлеченный человек, ночной человек, мечта которого о Наполеоне навеяна мраком, из холода абстракции своих теорий попадает в летний Петербург. Жаркий, зловонный, душный город толкает Раскольникова на преступление. Солнце, обличающее у Достоевского беспомощность и слабость его героя, предстает в романе символом «живой жизни», побеждающей мертворожденную теорию Раскольникова. Он входит в комнату старухи, ярко освещенную «заходящим солнцем. “И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!...” — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова...» В ужасе Раскольникова перед солнцем уже заключается предчувствие его гибели.

Петербургское солнце, петербургский день обличают Раскольников, петербургская ночь поглощает в своем мрачном лоне его двойника Свидригайлова. Последнюю ночь перед самоубийством Свидригайлов скитается по безлюдным петербургским улицам под грозой и проливным дождем. Душевный хаос Свидригайлова сливается с природным хаосом Петербурга, и Петербург такой же соучастник самоубийства Свидригайлова, как и преступления Раскольникова.

«До десяти часов» вечера Свидригайлов посещает «разные трактиры и клоаки, переходя из одного в другой», слушает шарманку в каком-то увеселительном саду: «...Вечер был душный и мрачный. К десяти часам направились со всех сторон страшные тучи; ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до пяти раз в продолжение каждого зарева». Свидригайлов снимает в полночь крошечный номер в грязной деревянной гостинице на Петербургской стороне, на «бесконечном» Большом проспекте, но разбушевавшаяся стихия преследует его. «Это под окном, должно быть, какой-нибудь сад, — подумал он, — шумят деревья; как я не люблю шум деревьев ночью, в бурю и в темноту, скверное ощущение!» Нестерпимое отвращение вызывают в Свидригайлове дождь, сырость, вода, неизменные атрибуты Петербурга. «Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах, — подумал он вновь...»

Образ утопленницы надвигается на Свидригайлова, словно наводнение, соединяется с наводнением: «Свидригайлов очнулся, встал с постели и шагнул к окну. Он ощупью нашел задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо <...> Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой.

“А, сигнал! Вода прибывает. — подумал он, — к утру хлынет, там, где пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы...”»

«Под площадями, улицами и домами Петербурга ему [Достоевскому] чудится первоначальный хаос, — пишет Н. П. Анциферов. — Водная стихия, скованная героическими и титаническими усилиями строителей этого города, не уничтожена, она лишь притаилась и ждет своего часа» (Анциферов Н. П. «Непостижимый город...» Л., 1991. С. 209).

За преступление надо платить, и водная стихия Петербурга мстит своему осквернителю. Свидригайлов убивает себя во влажном тумане, на грязной улице, среди мокрых деревьев: «Молочный, густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты...»

Атмосфера другого петербургского романа Достоевского «Идиот» тоже вся отравлена испарениями мрачного и темного города, и предчувствие преступления преследует нас с первых страниц. Реальное присутствие смерти не покидает нас с самого начала. И в преступлении Рогожина соучаствует Петербург — недаром оба — и Раскольников тоже — убивают в жаркий летний петербургский день. Из поколения в поколение в темном купеческом мире, выходцем из которого является Рогожин, копились деньги. В мрачном доме на Гороховой дед и отец его с неудержимой страстью и фанатическим упорством наживали капитал. Об отце Рогожина в романе сообщается: «А ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал». Алчность и корыстолюбие, граничащие с преступлением, характеризуют и брата Парфена. Рогожин рассказывает: «С по-



крова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обреза́л: «Они, дескать, эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому что оно есть святотатство». Рогожинское темное царство окружено зловещей тайной: его дом на Гороховой — «большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого <...> с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками». Этот дом живет своей таинственной и мрачной жизнью, имеет свою душу, свою историю, этот дом символизирует собой петербургский период русской истории: «И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится». И Достоевский прибавляет: «Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну». Анциферов точно подметил, что Достоевский «относится к дому как к одухотворенному организму», «за их архитектурными очертаниями прозревает он своеобразную душу, полную таинственной жизни» (Там же. С. 204).

Это даже не дом, а тюрьма, настоящее жилище скупцов и изуверов. Наружность дома описывается подробнее, чем внешность самого Рогожина, ибо он еще не оторвался от родового лона, кровно связан с семьей и вековым ее укладом: «Князь помнил потом, что сказал себе: “Это, наверно, тот самый дом” <...> В этих домах проживают почти исключительно одни торговые».

Настасья Филипповна разгадывает тайну рогожинского дома, когда пишет Аглае: «У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того московского убийцы; тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь, под половицей, еще отцом его.

может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и так же обставлен кругом стеклянками со ждановской жидкостью, я даже показала бы вам угол». (В ноябре 1867 года Достоевский прочел в газетах о судебном разбирательстве убийства богатым купцом Мазуриным ювелира Калмыкова и использовал многие детали этого преступления в романе «Идиот».)

Мрачная Гороховая улица всегда связывается Достоевским с преступлением. 22 декабря 1849 года в конце Гороховой, на Семеновском плацу, он был приговорен к расстрелу, и отныне эта улица Петербурга ассоциируется у него со смертью. На Гороховой зарезал Рогожин Настасью Филипповну, на Гороховой герой «Бесов» Николай Ставрогин растлил малолетнюю Матрену, и она здесь повесилась.

Петровский Петербург, создание которого стоило «сто или двести тысяч человеческих жизней», непременно должен был кончить атеизмом. В рассказе Достоевского «Бобок» (1873) разложение заживо безбожного человечества изображается в потрясающей сцене разговоров, которые ведут между собой покойники, истлевающие в своих могилах на петербургском кладбище.

«Мертвецов пятнадцать наехало, — гуляет по кладбищу один полусумасшедший литератор. — Покровы разных цен, даже было два катафалка <...> Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого <...> Заглянул в могилки — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком...»

Вдруг рассказчик слышит разговор покойников: «Слышу — звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятные и очень близкие». Генерал-майор играет в винт с надворным советником, раздраженная дама из высшего света возмущается, что рядом

с ней похоронили купца. «Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопил вдруг опять лавочник, — барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?...» — «Ах, он опять за то же, так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается!» — «Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому еще в полном нашем теле как есть сохранил себя, а вот вы, барынька, так уж тронулись, — потому дух действительно нестерпимый, даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу».

В тошнотворно-отвратительных образах Достоевский выражает свою мучительную тревогу за безбожное человечество. «Веселые покойники» устраивают дьявольские оргии. «Я предлагаю всем провести эти два месяца как можно приятнее и для того всем устроиться на иных основаниях, — говорит один из них. — Господа! я предлагаю ничего не стыдиться! <...> На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь мы для смеху будем не лгать <...> Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся! — Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса. — Я ужасно, ужасно хочу обнажиться! — взвизгивала Авдотья Игнатьевна».

«Заголимся и обнажимся» — предел сатанинского отрицания и разрушения. Безбожный мир заживо разлагается. Гниение душ страшнее телесного. Петровский Петербург заканчивается атеизмом.

Первые строки «Маленьких картинок» из «Дневника писателя» 1873 года: «Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль» переносят нас в атмосферу романа «Преступление и наказание». Летний, знойный, пыльный Петербург — незабываемый пейзаж романа. Достоевский прикован воображением к «угрюмому городу», мистически

соединенному со всем его творчеством. Он бродит по Невскому проспекту, размышляет о «бесхарактерной и безличной» архитектуре русской столицы, заходит в увеселительные заведения и «сады трактиров», вливается в воскресную толпу рабочих и поражается сосредоточенной угрюмости гуляющего люда: «Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, — именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд словно куча дров возле мраморного палатца. Что же касается до палатцов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он; в архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идеек, правильно или внезапно залетевших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церковей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения и отысканный будто бы архитектором Тоном в прошлое царствование тип древнего византийского стиля. Вот затем несколько зданий — больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия, — это стиль времени Наполеона Первого — огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире,

для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. Вот потом дома, или почти дворцы, иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи. Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свою целые поколения древних фамилий, одно за другим, в течение столетий. У нас же поставили наши палаццо всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян... Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццох прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы — это уже деловитость, американизм, сотни номеров, огромное промышленное предприятие <...> А теперь, теперь... право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты <...>

Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует <...> Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!»

Любование пушкинским Петербургом — «Красуйся, град Петров» — уже давно прошло. В романе «Подрос-

ток» Достоевский размышляет: «В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из “Пиковой дамы” (колоссальное лицо, совершенно петербургский тип, — тип петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: “А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты бронзовый всадник на жаркодышащем, загнанном коне?”».

В рассказе «Мальчик у Христа на елке» («Дневник писателя», 1876 год) Достоевский встречает в Петербурге в морозный вечер перед Рождеством мальчика лет семи, который просит милостыню. Описывается несчастная судьба маленьких нищих, ютящихся в петербургских подвалах среди пьяных и развратных «халатников» и вырастающих бродягами и воришками. Эта встреча вызывает у автора образ замерзающего мальчика, которого Христос приводит к себе на елку. Все залито светом; вокруг «Христовой елки» кружатся и летают сияющие дети; их матери стоят тут же: «Каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...»

Замерзший мальчик спрашивает: «Кто вы, мальчишки? Кто вы, девочки? — Это “Христова елка”, — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки...» «И Он Сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей».

В повести «Кроткая» («Дневник писателя», 1876 год) Петербург такой же виновник самоубийства героини,

как в «Преступлении и наказании» и «Идиоте» соучастник преступлений Раскольникова и Рогожина. Мужу Кроткой пришлось выйти из полка после малодушного поступка, три года он потом бродяжничал по улицам Петербурга, дошел до полного позора и падения. Получив небольшое наследство, он открыл кассу ссуд и замкнулся в гордом одиночестве. Но воспоминания о трагическом прошлом не отступали, он возненавидел общество и мстил ему за свою испорченную жизнь.

В узком пространстве мрачного петербургского двора, где ростовщик держал свою кассу, и происходит самоубийство Кроткой. «Стоит она у стены, — рассказывает служанка Лукерья, — у самого окна, руку приложила к стене, а к руке прижала голову, стоит этак и думает. И так глубоко задумавшись стоит, что и не слышала, как я стою и смотрю на нее из этой комнаты. Вижу я, как будто она улыбается, стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что “свежо, барыня, не простудились бы вы”, и вдруг вижу, она встала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворенном окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: “Барыня, барыня!” Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и — бросилась из окошка!»

Анциферов точно замечает, что «Петербург как будто остается отвлеченной идеей своего основателя, лишенной реального бытия. Строитель чудотворный заколдовал финские болота, и возник над ними мираж, в котором живая душа человека превращается в страдающий призрак, становится также умышленной и отвлеченной» (Анциферов Н. П. «Непостижимый город...» Л., 1991. С. 214).

Достоевский неизменно подчеркивает, что Петербург — самый прозаический город на всем земном шаре и в то же время «самый фантастический в мире». «Прибавьте нашу петербургскую, потрясающую нервы оттепель, — объясняет Евгений Иванович в “Идиоте” Льву Николаевичу Мышкину, — прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе».

Героев Достоевского все время тянет общаться с этим фантастическим городом, словно некая неведомая сила принуждает их к этому. Ордынцов [герой «Хозяйки»] «ходил по улицам, как отчужденный, как отшельник, внезапно вышедший из своей немой пустыни в шумный и гремящий город. Все ему казалось ново и странно. Но он до того был чужд тому миру, который кипел и грохотал кругом него, что даже не подумал удивиться своему странному ощущению <...> Все более и более нравилось ему бродить по улицам. Он глазел на все как *фланер* <...> Он читал в ярко раскрывшейся перед ним картине, как в книге между строк. Все поражало его; он не терял ни одного впечатления и мыслящим взглядом смотрел на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего <...> Часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала идею...»

Петербург рождает идеи, проникающие в сознание героев Достоевского и побуждающие их к действию. Этому способствуют и петербургские жилища героев писателя, ибо «архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну», но ведь эта «тайна» могла быть связана и с петербургскими адресами самого Достоевского.



«ХОТЬ ПОДОРОЖЕ, НО ТОЛЬКО ПУСТЬ  
КОМФОРТНО И СПОКОЙНО».

### ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА ДОСТОЕВСКОГО

«Принцип же мой ты знаешь насчет  
квартиры: хоть подороже, но только  
пусть комфортно и спокойно, ибо в  
такой больше *наработаешь*»

*Из письма Ф. М. Достоевского  
к А. Г. Достоевской из Старой  
Руссы в Петербург от 9 июня  
1872 г.*

30 октября (11 ноября) 1821 года в правом флигеле Мариинской больницы для бедных в Москве, отведенном под казенные квартиры, в семье врача Михаила Андреевича Достоевского родился второй сын, Федор. (Автор «Бедных людей» — так называлось первое произведение Достоевского — родился в больнице для бедных; тема униженных и оскорбленных пройдет через все творчество писателя.)

После смерти от чахотки 27 февраля 1837 года тридцатисемилетней Марии Федоровны Достоевской на руках Михаила Андреевича осталось семеро детей. Потеря жены потрясла и сломила Михаила Андреевича. Еще не старый, сорокавосемилетний, ссылаясь на трясущую правую руку и ухудшавшееся зрение, он отказывается от предложенного ему, наконец, повышения по службе со значительным окладом. Он вынужден подать

в отставку, не выслужив двадцатипятилетия, и оставить квартиру при больнице (своего дома в Москве у них не было). Тогда же, как-то вдруг, осознается материальный кризис семьи, дело не просто в бедности — предвидится разорение. Одно их небольшое имение, более ценное, заложено и перезаложено, теперь идет в залог и другое — совсем ничтожное. А отцу предстояло поставить на ноги семерых.

Родители давно задумывались о будущем старших сыновей. Они знали о литературных увлечениях старших сыновей Михаила и Федора и всемерно поощряли их. Собирались было поместить их в Университетский благородный пансион, который служил ступенью для поступления в университет. Теперь братья учились у Л. Чермака — в одном из лучших пансионов Москвы, славившемся «литературным уклоном». По окончании его Достоевские собирались поступать в Московский университет, однако смерть матери и материальное положение семьи изменили эти планы.

Университет давал образование, но не положение. Для сыновей бедного дворянина был выбран иной путь. Михаил Андреевич Достоевский решил определить Михаила и Федора в Главное инженерное училище в Петербурге.

В это военное заведение, состоящее под управлением Великого князя Михаила Павловича, ежегодно принимались «по штату» (на полное содержание от казны) 96 кондукторов (так назывались воспитанники младших классов). За поступивших же сверх штата вносилось единовременно 800 рублей. По существовавшим правилам желавший поступить адресовал прошение свое, с указанием чина отца, непосредственно императору — шефу училища.

Сыновей было двое, это осложняло дело, и М. А. Достоевский решается хлопотать по начальству, пишет

прошение на Высочайшее имя, униженно отмечая: «по многочисленному семейству моему и бедному состоянию». И хотя император начертал: «Оба приняты быть могут», однако царское обещание исполнено не было. Из двух сыновей М. А. Достоевского примут лишь одного Федора, и не «по штату», а с внесением единовременной суммы. Федор напишет отцу: «Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно».

Прожив пятнадцать с половиной лет в Москве, Федор Достоевский вместе со старшим братом Михаилом был отведен отцом в Петербург в мае 1837 года.

Через сорок лет Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» о своей первой поездке в Петербург: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем “прекрасном и высоком”, — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я непрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться на бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух».

В этой поездке мечтатель и романтик, каким был тогда Достоевский, на станции в Тверской губернии впервые столкнулся с тяжелой русской действительностью. «Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, — вспоминает писатель в том же “Дневнике”, — как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху.

больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и, наконец, нахлестал их до того, что они неслись, как угорелые... Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря, и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять уже, конечно, слишком односторонне...»

Кляча, умирающая под ударами Миколки во сне Раскольникова в «Преступлении и наказании», этот образ жестокости и мучительства — отзвук воспоминаний о том фельдъегере 1837 года.

Приезд Михаила Андреевича с сыновьями Михаилом и Федором в Петербург можно датировать 10–12 мая 1837 года. Где же они тогда остановились? Как показывает Г. Федоров в статье «Достоевский. Санкт-Петербург. 1837» (Знание — сила, 1981, № 2), это была гостиница «Неаполь» у Фонтанки, по Царскосельскому (Обуховскому) проспекту, № 7 (ныне № 22 по Московскому проспекту — дом перестроен).

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Совсем рядом Сенная площадь, где впоследствии неоднократно жил Достоевский и где происходит действие большинства его петербургских произведений. Г. Федоров предполагает, что герой предпоследнего романа «Подросток» вспоминает о первом петербургском угле Федора Михайловича: «У Триумфальных ворот, я знал, есть

постоялые дворы, где можно достать даже особую комнату за тридцать копеек».

Однако даже такая гостиница была слишком дорога для бедствующего Михаила Андреевича, и вскоре он переезжает вместе с сыновьями на противоположную сторону Фонтанки, между Обуховым и Семеновским мостами, в перестроенный в 1860-х годах дом, принадлежавший тогда купцу Колотушкину (современный адрес: *набережная реки Фонтанки, дом 103*).

Это — второй петербургский адрес Достоевского. Дом Колотушкина имеет литературную историю: в нем бывал Пушкин — здесь снимал квартиру инженерный офицер А. И. Дельвиг, двоюродный брат поэта, друга Пушкина. Итак, на Фонтанке, 103 произошло первое петербургское соприкосновение Достоевского с боготворимым им всю жизнь Пушкиным. Но для нас сейчас важно другое. В доме Колотушкина в год приезда Достоевских в Петербург жил молодой петербургский чиновник Министерства финансов и поэт Иван Николаевич Шидловский (1816–1872). В майские дни 1837 года произошла встреча с ним, перешедшая в дружбу. Братья Достоевские, особенно Федор, еще более сблизились с Шидловским, когда остались в Петербурге одни. Федор Достоевский находится под сильным влиянием Шидловского, который пишет туманно-мистические стихи, страдает от возвышенной любви. Достоевский восторженно рассказывает о нем брату: «Взглянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической... Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О, какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы, как вспомню прошедшее... Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни... Я имел у себя товарища, одно создание, которое так любил я!»

Недолго прослужив чиновником в Петербурге, Шидловский вскоре уехал к себе на родину, в Харьковскую губернию, и там готовил большое исследование по истории русской Церкви. Небезынтересно отметить, что Ордын — герой ранней повести Достоевского «Хозяйка», возможно, отчасти психологический портрет Шидловского, тоже пишет работу по истории Церкви. В 1850-х годах Шидловский поступает послушником в Валуйский монастырь, затем предпринимает паломничество в Киев, снова возвращается домой, в деревню, где и живет до самой кончины.

Достоевский всю жизнь хранил нежные воспоминания о друге своей юности. Критик Вс. С. Соловьев вспоминает, что, когда он попросил Достоевского в 1873 году сообщить некоторые биографические сведения для статьи о нем, писатель ответил: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради Бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 115—116). В сознании Достоевского навсегда запечатлелся образ русского романтика Шидловского, хотя он и не идеализировал излишний отрыв его от действительности: Ордын в «Хозяйке» начинает линию романтических героев Достоевского, а Дмитрий Карамазов, декламирующий Шиллера, замыкает ее.

Г. Федоров обратил внимание на то, что герой первого произведения Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин, называя свое новое жилище «Ноевым ковчегом», где «все двери да двери, точно номера», мог вспомнить о флигеле гостиницы «Неаполь». И далее Федоров замечает, что в романе «Униженные и оскорбленные» в «доме Колотушкина» живет Наташа Ихменева.

Наконец, третий петербургский адрес Достоевского — дом купца Решетникова, *Лиговская улица, 17* — приготовительный пансион штабс-капитана К. Ф. Костомарова (не сохранился, сейчас это участок дома № 65 по Лиговскому проспекту). Военный инженер Коронад Филиппович Костомаров (1803–1873), впоследствии генерал-лейтенант, содержал пансион для поступающих в Главное инженерное училище. Впервые Достоевский встретился с Костомаровым в конце мая 1837 года, когда вместе с братом Михаилом был отдан в его пансион.

Писатель Д. В. Григорович вспоминает: «Костомаров приготавливал питомцев таким образом, что они выдерживали экзамен всегда первыми; их в училище так и звали костомаровцами» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 35). Костомаров запомнился Григоровичу «добрейшим, мягким человеком», однако восторженное отношение Достоевского к Костомарову в первых письмах к отцу («Еще не было ни одного примера, чтобы от К<оронада> Ф<илипповича> кто-нибудь не поступил в училище. Коронад Филиппович свидетельствует Вам свое почтение» — письмо от 3 июля 1837 года), сменяется негативными отзывами Достоевского о Костомарове (его старший брат не был принят в Инженерное училище): «Костомаров обморочил Вас и только взял с Вас деньги за нас, тогда как мы бы могли и без приготовления поступить в училище» (письмо от 5–10 мая 1839 года), хотя Достоевский был неправ.

1 марта 1838 года отец писателя писал Костомарову: «...Давно уже следовало бы мне возблагодарить Вас за оказанные Вами сыну моему пособия в определении его в инженерные юнкера; но, во-первых, открывшаяся старая болезнь — ревматизм от января месяца до сих пор продолжающаяся; во-вторых, не имев от сына моего никакого известия от 29 прошедшего января по 27 число сего февраля, лишен был удовольствия исполнить сие.

Теперь приятнейшею поставляю для себя обязанностью принести вам, милостивый государь, мою душевную благодарность за Ваши благодеяния, оказанные детям моим, в особенности старшему моему сыну — прошу Вас покорнейше не оставить их и в предбудущее время Вашими советами, а вместе с сим позвольте Вас еще утруждать моею покорнейшею просьбою, постараться о переводе его в Инженерный замок. Еще мне за несколько пред сим временем прискорбно было прочесть в письме сына моего, что будто бы Вы полагали меня способным написать что-то предосудительное к одному из начальствующих лиц на Ваш счет. Поверьте, что ежели бы и написал, то кроме душевной моей благодарности я не мог бы более ничего написать. Уповаю, что Вы сим перемените обо мне Ваше мнение и равным образом довершите Ваше доброе расположение к сыну моему, споспешествуя в переводе в Инженерный замок, для совместного или, по крайней мере, близкого нахождения с меньшим моим сыном; сим пожизненно обяжете пребывающего к Вам, с душевною благодарностию и таковым же уважением, милостивый государь, Вашего покорнейшего слугу *Михаила Достоевского*» (Лит. наследство, т. 86. М., 1973. С. 359–360).

16 января 1838 года Федор Достоевский был зачислен в *Главное инженерное училище* и перебрался в *Инженерный замок*, в котором оно располагалось. Михаилу было отказано в приеме по состоянию здоровья, и он поступил на службу по прошению в С.-Петербургскую инженерную команду, но через три месяца, в апреле, был откомандирован в Ревельскую инженерную команду. Братья расстались.

Инженерное училище в Петербурге, куда поступил Достоевский, помещалось в Михайловском замке — бывшем дворце Павла I (это здание, возведенное по проекту архитектора В. И. Баженова, сохранилось в самом начале



Садовой улицы, вблизи от Марсова поля). С 1819 года в замке расположилось Главное инженерное училище. С 1822 года Михайловский замок стал называться Инженерным.

В ночь на 11 марта 1801 года в этом замке в своей опочивальне был убит Павел I, причем убит с молчаливого согласия своего сына Александра I.

Это — первая тайна, связанная в сознании Достоевского с Петербургом. Убийство отца с согласия сына, совершенное якобы из благородных побуждений, ассоциировалось у Федора Достоевского с городом, где оно произошло, возведение которого стоило стольких тысяч человеческих жизней. Оправдывает ли цель средства? Вопрос, мучивший писателя всю жизнь. И если до каторги атеист и революционер Достоевский давал положительный ответ на этот вопрос, то христианин Достоевский, прошедший каторгу, в корне изменил свое отношение к нему. В последнем своем романе «Братья Карамазовы» он делает вывод, что ни одна слезинка ребенка не оправдывает достижение будущей гармонии.

Но в период ранней юности пребывание в Михайловском замке вполне вероятно способствовало зарождению в сознании будущего писателя бунтарских настроений. Правда, здесь же зарождались и другие настроения, которые питала как бы некая другая тайна, связанная с замком, постоянно витающие рядом с преступлением мысли о покаянии, возрождении. Некоторые воспитанники Инженерного училища, в том числе знаменитый Игнатий (Дмитрий Александрович) Брянчанинов (1807—1867), стали видными деятелями христианского мира, и это в конечном итоге, уже после каторги и ссылки, содействовало развитию православного мировоззрения Достоевского.

И наконец, пребывание в Михайловском замке, возможно, связано с таинственным пристрастием Достоев-

ского к проживанию в угловых домах впоследствии. Три с половиной года, с января 1838 по август 1841 года, кондуктор Федор Достоевский обычно занимался в угловой спальне своей роты, в так называемой «круглой камере второго этажа», выходящей окном на Фонтанку. Не отсюда ли это стремление селиться всю дальнейшую жизнь в угловых домах? Во всяком случае, с августа 1841 года, в связи с переходом в офицерские классы, он сменил 18 квартир, и практически все они были в угловых домах, да и почти все его герои тоже проживают в угловых домах Петербурга.

Столь частая перемена жилья объяснялась бедностью писателя, стремлением найти что-нибудь подешевле, в то же время поудобнее и попросторнее, хотя и подороже, когда появились дети. 9 июня 1872 года Федор Михайлович пишет жене из Старой Руссы в Петербург (у них уже было двое детей): «Принцип же мой ты знаешь насчет квартиры: хоть подороже, но только пусть комфортно и спокойно, ибо в такой больше наработаешь». Квартиры же в угловых домах были более просторными, и окна давали возможность большего обзора, что немаловажно для писателя.

Вернемся к Михайловскому замку. Юный Достоевский остался совершенно один в мрачном здании, среди 120 воспитанников, готовившихся стать военными инженерами, которым в будущем предстояло возводить крепости на западной границе России. Впервые юноша один на один столкнулся с враждебной ему действительностью. Достоевский пытается укрыться от нее в мире Пушкина, Шиллера, Корнеля, очень скучает без брата, беспокоится об отце, постепенно все более опускавшемся после смерти жены. «Мне жаль бедного отца, — пишет он брату. — Странный характер. Ах, сколько несчастий перенес он. Горько до слез, что нечем его утешить».

В письмах друг к другу братья делятся впечатлениями о прочитанном, своими литературными опытами и планами, философствуют о назначении искусства. Письма Достоевского к брату Михаилу, написанные им в угловой «каморе» Инженерного замка, поражают удивительным проникновением в самое сокровенное великих писателей, он — гениальный читатель, он обладает поразительной склонностью к сотворчеству с классиками. «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный), — пишет Достоевский брату, — может быть параллелью только Христу, а не Гете... Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни (совершенно в такой силе, как Христос новому)... Виктор Гюго, как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, — и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, ни Байрон, ни Пушкин. (Только Гомер похож на Гюго.)»

В письмах Достоевского часто говорится о гениях мировой литературы, о каждом из них он может сказать свое слово, но всегда оно будет трепетным преклонением перед художественным творчеством как величайшим чудом. «У Расина нет поэзии? — спрашивает возмущенный Достоевский брата. — У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать? Теперь о Корнеле... Да знаешь ли ты, что он по гигантским характерам, духу романтизма — почти Шекспир... Пади в прах перед Корнелем».

Через сорок лет, в Пушкинской речи, в своем завещании за полгода до смерти, Достоевский, размышляя о всемирной отзывчивости русского человека, сказал: «Мы... дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе...» Истоки этих

замечательных слов — в юности Достоевского, в учебе в Главном инженерном училище Петербурга.

Но среди «гениев чужих наций» у воспитанника Инженерного училища было три верных спутника. любовь к которым он сохранил на всю жизнь: Сервантес, Шиллер и Бальзак. «Рыцарь бедный», герой романа «Идиот» Лев Николаевич Мышкин сопоставим с благородным рыцарем печального образа Дон Кихотом; герой последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы» Дмитрий Карамазов цитирует Шиллера; первая литературная работа двадцатитрехлетнего Достоевского — перевод «Евгении Гранде» Бальзака.

«Бальзак велик, — пишет кондуктор Инженерного училища брату. — Его характеры — произведения ума вселенной. Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борениями своими такую развязку в душе человека» (курсив мой. — С. Б.). Так постепенно, в восторженной смене литературных впечатлений и в лихорадочном, хаотичном чтении классиков мировой литературы, молодой Достоевский находит сокровенную тему своего будущего творчества: человек, его природа, его назначение, смысл его жизни, его душа. В одном из писем брату есть такие слова: «Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой изящной духовности вышла сатира... Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет!»

Кроме брата и Ивана Николаевича Шидловского, был еще один человек, пламенный культ дружбы с которым освещал юность Достоевского, его учебу в Инженерном училище. Это был старший товарищ по Инженерному училищу Иван Игнатьевич Бережецкий (1820—?).

Сохранились воспоминания учителя и наставника Инженерного училища, ротного офицера Александра Ивановича Савельева (1816–1907), начавшего там службу в 1837 году. Савельев сам был довольно интересной личностью: действительный член Русского Археологического и Географического обществ, автор ряда книг и статей по истории и археологии, он в 1884 году был произведен в генерал-лейтенанты. Достоевский поддерживал с ним дружеские отношения до самой своей смерти.

Савельев вспоминает: «И в юности он [Достоевский. — С. Б.] не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренне ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого... Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже, как Достоевский, любивший уединение... Бывало, на дежурстве, мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету “Северная пчела”, или произведения тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского... Не нужно было особенного наблюдения, чтобы заметить в этих друзьях особенно выдающихся душевных качеств, например, их сострадания к бедным, слабым и незащищенным» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 99).

Брату Достоевский подробно рассказывает о совместном чтении с Бережецким Шиллера в Инженерном училище: «Я имел у себя товарища, одно создание, которое так любил я. Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера, — ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним

Шиллера, я поверял над ним и благородного, пламенного Дон-Карлоса и Маркиза Позу и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслаждения. Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний...»

В романтической дружбе с Шидловским и Бережецким впервые проявилась способность будущего писателя к творческому перевоплощению — один из важнейших признаков настоящего художественного таланта. В письмах к брату Достоевский одинаково легко перевоплощается и в двух своих романтических друзей, и в героев гениев мировой литературы и так же легко перевоплощает и друзей в этих героев.

Но пламенная дружба с Бережецким все же не могла скрасить духовного одиночества Достоевского в Инженерном училище. Из дружной, любящей московской семьи Федор попал в военное учебное заведение, где, например, новичков, или «рябцов», как их называли, нередко истязали воспитанники старших классов. К тому же сверстники встретили юношу Достоевского насмешками: он был замкнут и робок, не имел ни манер, ни денег, ни знатного имени. Дома Федора считали резвым и бойким ребенком и скорее упрекали в живости характера; и мать, и отец сходились в том, что «Федор — это огонь», он верховодил во всех играх и проявлял необычайную пылкость нрава и воображения. Отец неоднократно говорил сыну: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой» (*Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1930. С. 71*), то есть отданным в солдаты, разжалованным. Эти слова оказались пророческими.

Но в чужой среде Достоевский замкнулся. Его товарищ по училищу К. А. Трутовский, впоследствии известный художник, оставивший, кстати, единственный

портрет молодого писателя, рассказывал, что в 1839 году Достоевский был худощав, угловат, платье сидело на нем мешком, и хотя в нем чувствовалась доброта, вид и манеры его были угрюмы и сдержанны. Он был нелюдим, держался особняком, порою бывал смешным и, вероятно, показался неоперившимся птенцом всем этим дворянским сынкам, которые могли говорить о чем угодно, только не о литературе, не о Пушкине и не о Шиллере (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 106).

Воспитатель А. И. Савельев описывает Достоевского в 1841 году: «...Задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать, замкнутый, он редко сходиллся с кем-либо из своих товарищей... Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой... спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось... Бывало, в глубокую ночь можно было заметить Федора Михайловича у столика, сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло...» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 42–43).

Замкнутости и одиночеству Достоевского в Инженерном училище способствовало не только раннее предчувствие им своего писательского предназначения, но и страшное известие, полученное им летом 1839 года: крепостные крестьяне небольшого имения Достоевских в Даровом на границе Московской и Тульской губерний убили в поле Михаила Андреевича Достоевского. Это известие потрясло юношу. Ведь совсем недавно умерла мать. Он вспомнил, как она любила отца настоящей, горячей и глубокой любовью, вспомнил, как безгранично любил ее отец, вспомнил свое безмятежное детство,

отца, привившего ему любовь к литературе, ко всему высокому и прекрасному. Нет, в насильственную смерть отца он так и не мог поверить до конца своих дней, никогда не мог примириться с этой мыслью, ибо известие о расправе над отцом — жестоким крепостником противоречило тому образу отца — гуманного и просвещенного человека, который сын навсегда сохранил в своем сердце. Вот почему в его последнем романе «Братья Карамазовы» «лишь драгоценные воспоминания» «из дома родительского» вынес старец Зосима, а Алеша Карамазов также вдохновенно говорит о «прекрасном, святом воспоминании» детства как «самом лучшем воспитании». Вот почему в 1876 году в письме к младшему брату Андрею Достоевский так высоко отозвался о родителях, а мужу сестры Варвары П. А. Карепину он писал: «Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших».

Прошло более 130 лет со дня известия о трагической смерти отца писателя. 18 июня 1975 года в «Литературной газете» появилась статья московского исследователя Г. А. Федорова «Домыслы и логика фактов», в которой он показал на основе найденных архивных документов, что Михаил Андреевич Достоевский не был убит крестьянами, а умер в поле между Даровым и Черемошной (другое маленькое имение Достоевских) своей смертью от «апоплексического удара». Слухи же о расправе крестьян распространил соседний помещик Хотяинцев, с которым у отца Достоевского была земельная тяжба. Он решил запугать мужиков, чтобы они были ему покорны, так как некоторые дворы крестьян Хотяинцева помещались в самом Даровом. Он шантажирует бабушку писателя (по матери), приезжавшую узнать о причинах случившегося. Андрей Михайлович Достоевский указывает в своих воспоминаниях, что Хотяинцев и его жена «не советовали возбуждать дела» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 89).



Вероятно, отсюда и пошел слух в семействе Достоевских о том, что со смертью Михаила Андреевича не все обстояло чисто.

Таким образом, Достоевский не ошибся в том образе отца, который вынес из детства и юности и сохранил навсегда. Но страшное известие несомненно ассоциировалось Достоевским во время учения в Инженерном замке с насильственной смертью Павла I, с жестокостью насильственного возведения Петербурга, выросшего на костях крепостных, что содействовало развитию бунтарских настроений будущего писателя, создавшего впоследствии произведения о зарождении теорий, оправдывающих убийство.

Дочь писателя утверждает, что с Достоевским «при первом известии о смерти отца сделался первый припадок эпилепсии» (*Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 39*). Другие мемуаристы считают, что первый припадок случился на торге. Сам писатель не оставил на этот счет точных указаний. Но в данном случае это и не важно. Важно другое. Достоевский был очень мужественным человеком: ведь каждый припадок мог оказаться смертельным.

После смерти отца жизнь Достоевского в Инженерном училище становится мучительнее с каждым днем. Одинокий и мечтательный, оставшийся в 18 лет сиротой, он жестоко страдает от контраста между счастливым детством и новой казенной и равнодушной обстановкой. То, что его волновало и интересовало, не находило отклика в училище. Он мечтал о творчестве, литературе и свободе; военная карьера его совсем не прельщает. Главное — литература и свобода, служение своему художественному дару, который он уже ощущает в себе. Именно этим объясняются странные на первый взгляд слова Достоевского из письма к брату: «У меня есть прожект сделаться сумасшедшим».

Только притворившись безумным, за оградой мнимого безумия можно остаться свободным и независимым, заниматься первыми литературными опытами, читать Шиллера и Пушкина и совсем не думать о своих прямых обязанностях в Инженерном училище. Когда Достоевского отправили ординарцем к Великому князю Михаилу Павловичу, то он забыл отрапортовать надлежащим образом: «К Вашему Императорскому Величеству». Великий князь заметил: «Посылают же таких дураков» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 45).

Достоевский имел полное право воскликнуть об учебе в Инженерном училище: «Ах, брат, ежели бы ты только имел понятие, как мы живем... Такое зубрение, что Боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут, милый мой». Только в первой половине, например, 1841 года Достоевский должен был сдать: 7 января — фортификацию, 8 — историю, 9 — французский язык, 11 — аналитику, 13 — геодезию, 14 — Закон Божий и начертательную геометрию, 15 — физику, 17 — архитектуру, 18 — ситуацию и русскую словесность. В апреле же начинается годичный экзамен, которым заканчивался четырехгодичный курс обучения в кондукторских классах. Снова сдавались: 22 апреля — аналитика, 26 — геодезия, 29 — начертательная геометрия, 3 мая — фортификация, 7 — артиллерия, 10 — физика, 13 — французский, 16 — русский язык, 21 — история, 24 — архитектура, 27 — Закон Божий, 28 — черчение (фортификация), 31 — черчение (архитектура), 2 июня — черчение (начертательная геометрия) и 3 июня — черчение (ситуация) (*Якубович И. Д.* Достоевский в Главном Инженерном училище // *Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования.* Л., 1983. Т. 5. С. 184–185).

При такой загруженности Достоевский не только был среди лучших воспитанников училища, но еще и

успевал прочесть все те книги, о которых почти в каждом письме сообщал брату, делясь с ним восторгом от соприкосновения с художественным словом («весь Гофман русский и немецкий», «почти весь Бальзак», Гете, Ж. Санд, Гюго, «вызубрил Шиллера», Шатобриан и др.).

Но в письмах к брату не только восторг от прочитанных книг — в них постоянные жалобы на невозможность найти применение собственным творческим силам: «Как грустна бывает жизнь твоя, когда человек, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной и неестественной для природы твоей... в жизни, достойной пигмея, а не великана, — ребенка, а не человека».

Правда, на прощальном вечере у брата Михаила 16 февраля 1841 года, накануне возвращения в Ревель после сдачи им экзамена на чин прапорщика полевых инженеров, Достоевский читает отрывки из своих драм «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» (они были навеяны чтением Шиллера и Пушкина), но это не в счет — он быстро понял, что драматургия не его призвание (эти первые литературные опыты не сохранились).

И снова жажда творческой свободы: «О, брат! милый брат! скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призвание дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то... как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни».

5 августа 1841 года последовал приказ о производстве Достоевского из кондукторов в нижний офицерский чин — полевые инженеры-прапорщики. Это был какой-то проблеск свободы, так как прапорщики-офицеры могли жить уже не в стенах Инженерного замка, а на частной квартире.

Достоевский поселяется в августе 1841 года на *Каванной улице*, близ Манежа (дом не установлен) вместе с младшим братом Андреем — но не надолго:

они были совершенно разными людьми, хотя всю жизнь благоговейно относились друг к другу. Утром Достоевский посещает еще два года Инженерное училище, а вечером Александринский театр, великому актеру которого В. В. Самойлову спустя тридцать семь лет напишет письмо, признаваясь, что его игра была одним из самых ярких впечатлений юности. Концерты Ференца Листа и певца Д. Рубини, опера Глинки «Руслан и Людмила», прогулки по Петербургу, первые пробы пера, мечты и грезы — приметы того времени...

Андрей Михайлович Достоевский вспоминает о квартире брата на Караванной: «Брат в то время жил в Караванной улице близ самого Манежа, так что ему близко было ходить в офицерские классы Главного инженерного училища. Он занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня; но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат — вторую, каждая комната была о двух окнах, но они были очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом <...>

Брат же Федор с раннего утра уходил в офицерские классы инженерного училища; то же делал и сожитель его Тотлебен; а я на все утро оставался дома один <...> К Адольфу Ивановичу Тотлебену довольно часто приезжал его родной брат Эдуард Иванович, впоследствии знаменитый инженер, защитник Севастополя и герой Плевны, граф Тотлебен <...> Сожителство брата с Адольфом Тотлебенем было очень недолгое. Не припомню, когда именно они разошлись, знаю только, что в декабре месяце, когда я заболел, то мы жили уже с братом одни» (Достоевский А. М. Воспоминания. СПб., 1992. С. 115–117).

С начала 1842 года Достоевский начал подыскивать другую квартиру, более удобную, чем на Караванной улице. Следуют частые смены квартир, причем почти все они в угловых домах — привычка, сохранившаяся у писателя на всю жизнь. К 30 июня 1843 года «полный курс наук в верхнем офицерском классе» был окончен, и Достоевский вместе со своим новым другом доктором Александром Егоровичем Ризенкампом приезжает в ресторан Лерхе на Невском проспекте, в доме № 74, где они отметили окончание Достоевским Инженерного училища.

С весны 1842 года по начало 1846 года Достоевский живет в доме К. Я. Пряничникова, на углу Владимирского проспекта и Графского переулка (ныне *Владимирский, 11*, сейчас здесь установлена мемориальная доска), а в сентябре 1843 года с ним вместе поселяется доктор А. Е. Ризенкамф, хорошо знавший брата Достоевского в Ревеле. Доктор верно уловил в своих воспоминаниях характер Достоевского: поразительно доверчивый и щедрый, неприспособленный к жизни и добрый. Через много лет жена писателя Анна Григорьевна Достоевская засвидетельствует, что таким Федор Михайлович оставался до конца дней.

Андрей Михайлович Достоевский, который некоторое время жил вместе с братом в доме Пряничникова, вспоминает: «Квартира эта была очень светленькая и веселенькая; она состояла из трех комнат, передней и кухни; первая комната была общей, вроде приемной, по одну сторону ее была комната брата и по другую — очень маленькая, но совершенно отдельная комната для меня». А. М. Достоевский свидетельствует также, что брата часто навещали его товарищи по Инженерному училищу — К. А. Трутовский, впоследствии академик живописи, и Д. В. Григорович, в будущем известный писатель (в скором времени он поселится здесь у Достоевского).

Но даже проживание на частной квартире не дает Достоевскому полной свободы, возможности заняться только литературным трудом, и в письмах к брату снова вечные жалобы на тяготы службы.

Наконец, 19 октября 1844 года подпоручик Федор Достоевский (этот чин он получил в августе 1842 года) выходит в отставку. Как и его великий учитель Бальзак, Достоевский стал профессиональным литератором. «Насчет моей жизни не беспокойся, — пишет он брату. — Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен».

И все же пребывание в Инженерном училище не осталось бесследным в творческой биографии писателя: четкая конструкция его романов, умение в конечном итоге «распутать» самые, казалось бы, невероятные ситуации, восприятие Петербурга как города, в котором «архитектурные линии имеют свою тайну», — все это имеет прямое отношение к его первой профессии инженера.

Конечно, после выхода в отставку денежные дела оставляли желать гораздо лучшего: без жалованья стало уже не всегда хватать той доли с доходов с его имения в Даровом, которую ему ежемесячно посылал после смерти отца опекун Петр Андреевич Карепин — муж сестры Варвары. Достоевский предлагает за сумму в тысячу рублей серебром отказаться от всех прав на отцовское наследство. Однако Карепин не может быстро произвести раздел имения, и между ними завязывается любопытная переписка. Достоевский, уже работая над своим первым произведением «Бедные люди», в письмах к Карепину еще раз продемонстрировал свою способность к литературному перевоплощению. Совершенно свободно он начинает ощущать себя своим героем, бедным чиновником Макаром Девушкиным.

В июле 1843 года в Петербург приезжает кумир Достоевского Бальзак. Вдохновленный его приездом, Достоевский переводит его роман «Евгения Гранде».

От социального романа французского писателя, с его состраданием к униженным и оскорбленным, прямая дорога к первому произведению Достоевского «Бедные люди». Приближалась «самая восхитительная минута во всей [его] жизни...»

Петербург. Май 1845 года. Белая ночь, «чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель». На втором этаже небольшого дома на углу Владимирского проспекта и Графского переулка у окна сидит молодой человек. У него крупные черты лица, большой широкий лоб, а над тонкими губами коротенькие, редкие светло-каштановые усы. В серых, исподлобья хмурящихся глазах озабоченность.

Совсем недавно он закончил рукопись первого своего произведения — романа «Бедные люди», а вчера дал ее молодому литератору, товарищу по Инженерному училищу Дмитрию Григоровичу, с которым они вместе снимают эту квартиру.

Понравится ли Григоровичу? Поймет ли он, сколько здесь искреннего чувства и напряженной духовной работы?

Шум около входных дверей, и на пороге комнаты появляется Дмитрий Григорович с незнакомым молодым человеком. Этот человек — поэт и издатель Николай Некрасов. Григорович дружил с ним, да и жил Некрасов рядом, в Поварском переулке, в доме купца Тулубьева (ныне дом № 13). Григорович навестил его, объявив, что принес новое замечательное произведение. Некрасов и Григорович прочли весь роман вслух друг другу, не отрываясь ни на минуту, закончив чтение в четыре часа

ночи, бросились к автору домой, чтобы немедленно выразить ему свой восторг.

Много лет спустя Достоевский вспоминал: «Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: “С десяти страниц видно будет”. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал... Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: “Что ж такое, что спит, мы разбудим его. *Это* выше сна!”»

После ухода Григоровича и Некрасова Достоевский не мог заснуть. «Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно».

Некрасов передал рукопись Белинскому, который пожелал познакомиться с начинающим писателем. Встреча состоялась на квартире Виссариона Григорьевича в доме купца А. Ф. Лопатина на углу Невского и набережной Фонтанки (ныне дом № 68 по Невскому, № 40 — по Фонтанке, здание реконструировано в 1947 году при восстановлении после разрушения во время Великой Отечественной войны).

Белинский «заговорил пламенно, с горящими глазами: “Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне [Достоевскому. — С. Б.] несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению, — что это вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы, в ваши двадцать лет, уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать, и



когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть “их превосходительство”, не его превосходительство, а “их превосходительство”, как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уже не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия!.. Вам правда открыта и возведена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будьте великим писателем!”»

Достоевский уходит от Белинского «в упоении»: «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом».

Первое произведение Достоевского «Бедные люди», увидевшее свет 15 января 1846 года в «Петербургском сборнике», стало событием в истории русской литературы. Появлению шедевра предшествовала необычайно кропотливая и тщательная работа писателя. Работа над переводом «Евгении Гранде» помогает Достоевскому отказаться от драматических планов: под впечатлением от повести Бальзака о несчастной девушке он задумывает свое первое сочинение.

В сентябре 1844 года Достоевский сообщает брату: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме “Eugénie Grandet”. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я, наверное, уже и ответ получу за него. Отдал в “Отечественные записки”. Я моей работой доволен. Получу, может быть, рублей 400, вот и все надежды мои».

Д. В. Григорович, свидетельствующий, что денег у них с Достоевским во время проживания на квартире на углу Владимирского проспекта и Графского переулка хватало только на первую половину месяца, а остальные

две недели они питались булками и ячменным кофе. вспоминает: «Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака "Евгения Гранде". Бальзак был нашим любимым писателем... Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные... Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга... Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки... После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 130–132).

Рукопись «Бедных людей» Достоевский закончил в ноябре 1844 года, однако в декабре она подвергается полной переработке, а в феврале 1845 года — вторичной переделке. «Кончил я его [роман. — С. Б.] совершенно. — сообщает начинающий беллетрист брату. — чуть ли еще и в ноябре месяце, но в декабре задумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен».

Достоевский никак не может удовлетвориться формой, он хочет совершенства. Это стремление к совершенству осталось на всю жизнь. Бесконечная нужда, заставлявшая работать с чудовищной быстротой, чтобы получить скорее гонорар, была действительно трагедией

его творческой жизни: лишь дважды ему представилась возможность спокойно поработать, без спешки, тщательно обдумав план и строго следя за языком и стилем, — когда он писал первое произведение «Бедные люди» и когда через тридцать пять лет создавал последнее — «Братья Карамазовы».

Творческий процесс создания «Бедных людей» — наглядный пример. Казалось, вторая переделка Достоевского удовлетворяет, когда он пишет брату: «Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная», но тут же художник добавляет: «Есть, впрочем, ужасные недостатки».

Взыскательная переработка первого романа — не только поиски его совершенной формы, но и начало творческой биографии будущего великого писателя, уже предчувствующего крестный путь в русской литературе и трагическую судьбу. На каждое свое произведение, в том числе и на «Бедных людей», Достоевский смотрит как на произведение, от которого зависит вся его жизнь, его судьба и творчество. Если же говорить о «Бедных людях», необходимо помнить о запутанных денежных делах того момента, грозящих полным разорением, о подорванном здоровье и полной неясности литературных планов.

Вот почему так высока ставка, сделанная писателем на свое первое сочинение: здесь речь идет о жизни и смерти, не менее. «Дело в том, что я все это хочу выкупить романом. Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь». И когда Достоевский сообщает брату, что в «Инвалиде», в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших от голода, холода и в сумасшедших домах и ему «до сих пор как-то страшно», очевидно, что Федор Михайлович допускает подобную судьбу и для себя в случае неудачи «Бедных людей».

И поскольку успех первого произведения столь важен Достоевскому, он лихорадочно и упорно шлифует роман,

пытаясь путем бесконечных исправлений и переделок найти наиболее совершенную форму. Через полтора месяца после второй переделки, в апреле 1845 года «Бедные люди» подвергаются новой коренной и на этот раз уже последней (до печатания) переделке. 4 мая Достоевский пишет брату: «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что, если бы я знал, так не начинал бы его совсем. Я задумал его еще раз переправлять и, ей Богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последней. Я слово дал до него не дотрагиваться».

Однако три переделки «Бедных людей» — это не только поиски адекватной художественной формы, но и свидетельство напряженной духовной работы автора, серьезного изменения в его мироощущении, о чем Достоевский доверительно дает понять брату: «Я страшно читаю и чтение страшно действует на меня. Что-нибудь давно перечитанное прочитываю вновь, и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать... Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли».

Итак, сам Достоевский сообщает, что в течение 1843–1845 годов он как бы заново духовно родился. Но был ли этот духовный перелом связан непосредственно с историей создания «Бедных людей», с творческой работой над первым произведением или в его основе лежал какой-то факт из биографии самого писателя? Через шестнадцать лет Достоевский в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе» открыл нам, наконец, этот факт, связанный и с созданием «Бедных людей», и с трансформацией его творческого сознания:

«Помню раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки, в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мгlistом небосклоне...

Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как бы облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленно; как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что в эти минуты началось мое существование...»

Это «видение на Неве» положило конец романтической юности Достоевского, рыцарским замкам из романов Вальтера Скотта, слезам восторга над стихами Шиллера, таинственным и фантастическим сказкам Гофмана, мечтательной дружбе с поэтом Шидловским.

Достоевский, живший в мечтах, «в воспаленных грезах», чуждых действительности, внезапно испытал озарение: «Стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники... И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных

углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».

Романтическая пелена спала: Достоевский понял, что ничего нет фантастичнее русской действительности, ничего нет фантастичнее Петербурга. Это «видение на Неве» он считает своим писательским рождением. И не случайно рождение происходит в самом фантастическом городе на свете, как и не случайно, что у истоков этого рождения стоял Гоголь с его «Невским проспектом» и «Шинелью». Поиски своего «видения на Неве» и были, по всей вероятности, связаны с трехкратной переделкой «Бедных людей».

Внимание Белинского привлек прежде всего социальный пафос «Бедных людей». Именно этот пафос и создал первому произведению Достоевского шумный успех. В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский рассказал о своей внезапной славе после появления в печати «Бедных людей», о «самой восхитительной минуте» всей его жизни, когда рукопись прочел Белинский. А в 1861 году об этом же вспоминает в романе Достоевского «Униженные и оскорбленные» начинающий писатель Иван Петрович: «И вот вышел, наконец, мой роман. Еще задолго до появления его поднялся шум и гам в литературном мире. Б. обрадовался, как ребенок, прочитав мою рукопись. Нет! Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи; в те долгие зимние ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печал-

лился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим».

Самый «торжественный момент» в жизни Достоевского — рождение писателя — связан с петербургскими белыми ночами и получил благословение Некрасова и Белинского.

Начало литературного пути Достоевского было блистательным. Но только в 1880 году он второй раз в своей жизни пережил, после знаменитой Пушкинской речи, «самую восхитительную минуту».

Между этими двумя событиями — долгие годы непонимания, а за солнечными днями биографии молодости пять лет спустя последовали мрачные казематы Петропавловской крепости и ужас «Мертвого дома»...

Непонимание началось уже с момента появления второго произведения — повести «Двойник», которую Достоевский начал писать в Ревеле, в гостях у брата Михаила, летом 1845 года. Возвратившись в августе в Петербург, он продолжает трудиться над новой повестью в том же доме на углу Владимирского проспекта и Графского переулка. Работа подвигается успешно, но мрачные предчувствия не оставляют молодого писателя. «Как грустно было мне въезжать в Петербург, — пишет Достоевский брату. — Мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такую суровую, что, если бы моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостью бы умер».

Но Белинский, страстно поверивший в гениальность автора «Бедных людей», вначале столь же страстно верит и во второе произведение Достоевского. «Я бываю весьма часто у Белинского, — сообщает писатель брату. — Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикой и оправдание мнений своих... Белинский понукает меня дописывать Голядкина.

Уже он разгласил о нем во всем литературном мире и чуть не запродав Краевскому, а о "Бедных людях" говорит уже пол-Петербурга».

Поразительным сочетанием чисто ребяческого хвастовства и простодушной хлестаковщины полны письма Достоевского к брату Михаилу конца 1845 — начала 1846 года. «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь, — пишет он 16 ноября 1845 года. — Всюду почтение невероятное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народа, самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаянья. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский что-то сказал, Достоевский что-то хочет делать. Белинский любит меня, как нельзя более...» (Хотя нельзя не заметить во всех этих восторгах присутствие юмора, неотъемлемой черты таланта писателя.)

Восторженное состояние писателя объясняется неожиданным «поворотом колеса Фортуны», когда из убогой обстановки Марининской больницы в Москве, из замкнутого мира Инженерного училища в Петербурге, из бедности и неизвестности, самолюбивый и легко ранимый литератор, уже сознающий свою гениальность и высокое предназначение, вдруг попадает в «высший свет», и даже красавец и аристократ Тургенев в нем души не чает: «На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слышал) и с первого раза привязался ко мне такую привязанностью, такую дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него».

Успех «Бедных людей» раскрыл перед Достоевским двери петербургских салонов, и в доме литератора и



журналиста И. И. Панаева (он снимал квартиру на четвертом этаже в том же доме, где жил Белинский) он познакомился с его женой, писательницей Авдотьей Яковлевной Панаевой. «Вчера я первый раз был у Панаева, — писал Достоевский брату 16 ноября 1845 года, — и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, и вдобавок любезна и пряма донельзя. Время я провожу весело».

Авдотье Панаевой было тогда двадцать шесть лет. Невысокая кокетливая брюнетка, она вся точно сверкала: блеск ее зубов, карих глаз, светлой кожи, крупных бриллиантов на шее и в ушах был ослепителен. Темное платье, отделанное кружевами, подчеркивало стройную фигуру. Такой ее увидел Достоевский, и она покорила его с первого взгляда.

Молодая А. Я Панаева надолго запомнилась Достоевскому. Одной очень характерной чертой ее внешности он наградил героиню «Преступления и наказания», тоже Авдотью — сестру Раскольниковова: «Рот у нее был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, — единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность».

Через три месяца после встречи с Авдотьей Яковлевной Достоевский писал брату: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, я не знаю еще. Здоровье мое ужасно расстроено, я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической».

Первая влюбленность Достоевского была мучительна, так как он быстро понял, что никогда не сможет рассчитывать на взаимность: Панаеву постоянно окружала толпа многочисленных поклонников, среди которых далеко не последнюю роль играл Некрасов.

Спустя много лет в рассказе «Бобок» Достоевский вспомнит о «светской львице» Панаевой и наградит ее именем одну из «загробных» дам — Авдотью Игнатьевну, мечтающую и на том свете иметь поклонников. К неудовлетворенности первого чувства добавился провал в свете: интерес к новому гению в петербургском обществе быстро упал, причем и сам Достоевский вел себя порой нелепо. Умная А. Я. Панаева сразу разгадала нового поклонника. «С первого взгляда на Достоевского, — рассказывает она в своих воспоминаниях, — видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек... По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторского самолюбие и высокое мнение о своем писательском труде. Ошеломленный блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще с своими произведениями» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 140–141).

Граф Владимир Александрович Соллогуб, в 30–40-х годах XIX века популярный беллетрист «натуральной школы», еще глубже, чем Панаева, сумел почувствовать, что именно за ребяческим хвастовством и добродушной хлестаковщиной скрывается подлинное лицо Достоевского: одинокого и доверчивого мечтателя, с неумемной жадой сердечного участия, с верой в доброту и искренность. «Я сейчас к нему поехал, — вспоминал В. А. Соллогуб, узнав, наконец, адрес Достоевского, — и нашел в маленькой квартире <...> молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный, домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя

назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое, старомодное кресло <...> Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. Я тотчас увидел, что это натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его приехать ко мне запросто пообедать» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 145).

К неудаче с Панаевой Достоевский был готов (он даже не осмеливался признаться в своей любви, настолько она казалась ему фантастической и невозможной), к светскому провалу — тоже (когда в начале 1846 года на вечере у графа М. Ю. Виельгорского на Михайловской площади Достоевского представили известной красавице Сенявиной, он упал в обморок), а вот к охлаждению по отношению к нему Белинского и его кружка он оказался совсем неподготовлен.

В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский вспоминает, что в начале декабря 1845 года на литературном вечере у Белинского он читал несколько глав из «Двойника»: «Для этого он [Белинский] устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того)».

Однако присутствовавший на вечере историк литературы Павел Васильевич Анненков почувствовал некоторую настороженность Белинского и подметил одну

«заднюю мысль» критика: «Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально странной темы, но мне показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость *набить руку*, что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 138).

Этой «задней мыслью» и объясняется, вероятно, изменение Белинским оценки «Двойника», хотя критик органически не мог понять ни «Двойника», ни «Господина Прохарчина», ни «Хозяйки», то есть произведений Достоевского, не укладывающихся в прокрустово ложе «натуральной школы».

В конце января 1846 года Достоевский, закончив «Двойника», переезжает из отдельной квартиры на углу Владимирского в меблированные комнаты «от жильцов» («Хочу жить скромнейшим образом», — писал он брату), располагавшиеся неподалеку, в доме У. К. Кучиной, на углу Гребецкой улицы (впоследствии Ямская) и Кузнечного переулка (ныне улица Достоевского, 2 или Кузнечный переулок, 5 — дом частично перестроен, сейчас на нем установлена мемориальная доска). За два с половиной года до смерти Достоевский снова поселяется в этом доме. Здесь был создан роман «Братья Карамазовы», где тема «Двойника» получает свое логическое завершение в теме Ивана Карамазова и черта, здесь же писатель умирает.

Через тридцать один год после выхода «Двойника» Достоевский вспоминал о своем втором произведении: «Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести

мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет 15 спустя, для тогдашнего "общего собрания" моих сочинений, но и тогда опять убедился, что это вещь совсем не удавшаяся, и если бы я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму. Но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил».

Это излишне самокритичная оценка, свидетельствующая о взыскательном вкусе мастера, но в 1846 году Достоевский, действительно, еще не мог освободиться от поэтики «натуральной школы» и в традиционные, старые «гоголевские» формы пытался вложить новое содержание.

Мысль о том, что в «Двойнике» он «серьезнее идеи никогда ничего в литературе не проводил», не оставляла в покое писателя. 1 октября 1859 года он пишет брату из Твери: «В половине декабря я пришлю тебе (или привезу сам) исправленного "Двойника". Поверь, брат, что это исправление, снабженное предисловием, будет стоить нового романа. Они увидят, наконец, что такое двойник! Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой и, наконец, если теперь не исправлю "Двойника", то когда же я его исправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником».

Но Достоевскому не удалось тогда переработать свою повесть: слишком много «личного» навалилось тогда на него в Твери в 1859 году — все силы были отданы борьбе за разрешение жить в Петербурге и Москве. Но работа над «превосходной идеей» продолжается: образ Голядкина-младшего — «олицетворение подлости» — вбирает в себя личность агента Третьего отделения Антонелли, предавшего петрашевцев, затем в романе Достоевского «Бесы» материализуется в двух образах: «мелкого беса».

провокатора и негодяя Петра Верховенского и «главного беса» самозванца Ставрогина, и, наконец, в «Братьях Карамазовых» Достоевскому удается полностью реализовать юношескую идею в раздвоении Ивана Карамазова.

После появления «Двойника» Федор Михайлович пишет брату: «Голядкин в десять раз выше “Бедных людей”». Наши говорят, что после “Мертвых душ” на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное, и чего, чего не говорят они! С какими надеждами они смотрят на меня!»

Однако критика и журналистика 1840-х годов, враждебная Белинскому и «натуральной школе», дала резко отрицательную оценку «Двойнику». В мартовской книжке «Отечественных записок» за 1846 год, стараясь опровергнуть мнение критики о растянутости «Двойника», Белинский доказывал, что это впечатление происходит от «богатства» и «чрезмерной плодовитости» «еще не созревшего» дарования Достоевского: «...“Двойник” носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопытного: отсюда все его недостатки, но отсюда же и все его достоинства» (*Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. IX. С. 565*).

И хотя Белинский не понял «Двойника», отзыв его был все же благожелательный, однако мнительного Достоевского он привел в полное уныние. «Вот что гадко и мучительно, — делился он с братом Михаилом, — свои, наши, Белинский и все недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе — критика... Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок — неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Много в нем писано наскоро и в утомлении. Рядом с блистательными

страницами есть скверность, дрянь... Вот это-то и создало мне на время ад, и я заболел от горя».

Нервная болезнь Достоевского усиливается, и он спешит поделиться с братом Михаилом, единственным близким ему человеком. «Болен я был в сильнейшей степени раздражения всей нервной системы», — сообщает он брату 26 апреля 1846 года, а 16 мая снова пишет о болезни: «Я решительно никогда не имел у себя такого тяжелого времени. Скука, грусть, апатия, лихорадочное, судорожное ожидание чего-то лучшего мучат меня. А тут болезнь еще...»

Достоевский знакомится в конце мая 1846 года (писатель жил тогда в маленькой комнатке в *Кирпичном переулке* — дом не установлен (это участок между Большой и Малой Морской)) с врачом Степаном Дмитриевичем Яновским (1815–1897), который несколько месяцев лечит его. Через сорок лет Яновский так описывал внешний вид своего пациента: «Роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 155).

Яновский на всю жизнь сохранил любовь к Достоевскому как к человеку и преклонение перед его великим талантом, а Федор Михайлович писал ему в 1872 году: «Вы любили меня и возились со мною, с больным душевною болезнью (ведь я теперь сознаю это) до моей поездки в Сибирь, где я вылечился».

В этот период нервной болезни Достоевский сосредоточен в себе и напряженно думает о мучительных противоречиях человеческой природы. Ни на минуту не прекращается в нем творческий процесс, и даже у брата в Ревеле, как он сам говорил, «страдал все лето» повестью «Господин Прохарчин» (он начал ее в доме на углу Гребцкой улицы и Кузнечного переулка, продолжил в Кирпичном переулке, а закончил в угловом доме Б. И. Кохендорфа, напротив Казанского собора, на *Большой Мещанской улице* — ныне *улица Плеханова, 2*, дом перестроен).

Молодого Достоевского неотступно преследует проблема сознания бедного человека. Как в «Бедных людях» и «Двойнике», так и в последующих ранних произведениях — «Господин Прохарчин», «Хозяйка», «Ползунков», «Слабое сердце» — он продолжает исследовать опасности, грозящие «слабому сердцу», пристально «всматривается» в человека, исследует, разгадывает его. Достоевский углубляет изучение всех бед, грозящих в условиях социального гнета мечтательному человеколюбию, «слабому сердцу», и причин, по которым герой «Слабого сердца» Вася Шумков становится сумасшедшим, а Ползунков — шутом гороховым.

И Вася Шумков, и Ползунков — утописты, мечтатели. Аркадий говорит Васе: «Ты добрый, нежный такой... кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно!» Мечтателю все люди кажутся прекрасными, благородными, добрыми, но «доброе сердце» гибнет от «уединения», от того, что его не понимают.

Собственная биография Достоевского помогла ему найти новую художественную тему — мечтательство. Нервный, мнительный, еще не умевший владеть собой, он мучительно переживал непонимание его произведений Белинским и кругом «Современника». В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» Белинский неспра-



ведливо отмечал значительные недостатки тех сочинений, которые были написаны после «Бедных людей»: «Все, что в “Бедных людях” было извинительными для первого опыта недостатками, в “Двойнике” явилось чудовищными недостатками, и это все заключается в одном: в неумении слишком богатого силами таланта определить разумную меру и границу художественному развитию задуманной им идеи... В десятой книжке “Отечественных записок” появилось третье произведение г. Достоевского, повесть “Господин Прохарчин”, которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю...» (*Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. X. С. 40–41*).

У болезненно восприимчивого Достоевского, раздраженного и материально неустроенной жизнью, и нервной болезнью, оскорбленное самолюбие и взрывы гордости сменяются тоской и безнадежностью. То он сравнивал себя с Гоголем и обещал «всем показать», что «первенство в литературе останется за мной», то вдруг становится удивительно кротким и смиренным. К обиде, разочарованию и сомнениям в себе добавлялись еще неустроенность, долги, безденежье и поиски заработка. Спешная работа — переводы, писание рассказов для покрытия авансов, взятых в журналах, правка корректур — давала гроши. Достоевский жил в постоянной нужде, одиночестве и заброшенности.

В октябре 1846 года ему становится так невыносимо жить в Петербурге, что он решает уехать в Италию. «Я еду не гулять, а лечиться, — сообщает Достоевский брату 7 октября 1846 года, — Петербург — ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь. А здоровье мое, слышно, хуже...»

Достоевский строит фантастические планы, как заработать деньги (эти планы он строил всю жизнь, оставаясь до конца дней своих абсолютно непрактичным человеком). В Италии он напишет роман, потом из Рима ненадолго отправится в Париж, а деньги достать очень просто — надо только в одной томе издать все его сочинения. Однако проходит ровно десять дней, и писатель сообщает брату, что путешествие откладывается: «Меня все это так расстраивает, брат, что я, как одурелый... Мне, брат, нужно решительно иметь полный успех, без этого ничего не будет».

На почве нервного и физического истощения, усиленного двухлетнего труда над «Бедными людьми» и «Двойником», потрясения от блистательного успеха первой повести и шумного провала второй, у Достоевского началось нечто вроде психической болезни, душевного заболевания, о чем он впоследствии неоднократно упоминал, правда, довольно глухо. Через пятнадцать лет в романе «Униженные и оскорбленные» Достоевский художественно перерабатывает этот автобиографический материал, и герой романа, рассказчик Иван Петрович, литератор, тоже с вершины славы, после повести о бедном чиновнике, расхваленной критиком Б., вдруг падает в неизвестность и заболевает нервной болезнью (биография героев Достоевского помогает узнать его собственную, и, наоборот, судьба писателя дает возможность понять многое в жизни его героев). «Я бросил перо и сел у окна, — рассказывает Иван Петрович. — Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна: так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет Божий, дохнув запахом свежих полей и лесов, а я так давно не видал их! Помню, пришло мне тоже на мысль: как бы хорошо было, если б каким-

нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилось в последние годы; ...и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение... Была же жажда жизни и вера в нее».

Эта «жажда жизни» (эти слова повторит Иван Карамазов, сравнивая «жажду жизни» с «клейкими листочками», а сам Достоевский всегда находил в себе «кошачью живучесть») вместе с неумолимой жаждой творчества и спасла писателя. Он начинает выздоравливать. Правда, отношения его с кругом «Современника» становятся все более натянутыми. Свою новую повесть «Хозяйка» Достоевский отдает не в «Современник», где до этого печатался его небольшой рассказ «Роман в девяти письмах», а в «Отечественные записки» А. А. Краевскому. «Скажу тебе, — пишет Достоевский брату 26 ноября 1846 года, — что я имел неприятность окончательно поссориться с “Современником” в лице Некрасова... Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалит меня...»

Как и всегда и во всем, Достоевский страшно гиперболизирует расхождение с Белинским, Некрасовым и вообще с кругом «Современника», и когда гиперболизация принимает вселенские масштабы и молодой писатель вдруг смело заявляет: «Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашей литературою, журналами и критиками... и устанавливаю и на этот год мое первенство назло недоброжелателям моим», — то грань между реальностью и вымыслом, как и между Голядкиным в «Двойнике» и его создателем, вновь почти стирается.

А. Я. Панаева вспоминает: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей

раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался...

Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду... Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. I. С. 141).

Д. В. Григорович, который помог Некрасову и Белинскому «открыть» Достоевского, тоже рассказывает об этой травле «больного, нервного человека»: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора “Бедных людей” чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себе еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет...

После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались ост-

роты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 134–135).

Коллективному творчеству Тургенева и Некрасова в конце 1846 года принадлежит позорный факт в истории русской литературы — «Послание Белинского к Достоевскому», начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры,  
Достоевский, милый пыщ,  
На носу литературы  
Рдеешь ты, как новый прыщ...

По свидетельству Панаевой, у Некрасова с Достоевским произошло бурное объяснение по поводу этого «Послания»: «...Когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии. "Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. — Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел"» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 143).

Только через тридцать лет Достоевский снова сблизился с Некрасовым, а после смерти поэта признался, как Некрасов был ему всегда дорог. Всю последующую творческую жизнь Достоевский, хотя никогда и не мог забыть первую встречу с Белинским, резко высказывался о нем, особенно в период создания «Бесов», когда спра-

ведливо считал критика одним из виновников появления в России бесов. Но, возможно, Достоевский вспомнил о таком своем отношении к Белинскому, когда незадолго до смерти вложил в уста Алеши Карамазова в последнем своем романе слова: «Может быть, мы... будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: "Хочу пострадать за всех людей", — и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем». Начавшаяся ссора с Тургеневым превратилась в длительную вражду, усилившуюся после каторги и ссылки Достоевского, когда возвратившийся оттуда писатель стал монархистом и христианином, а Тургенев продолжал относиться лояльно к революционерам, и только за полгода до смерти, в своей знаменитой Пушкинской речи, упомянув Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» в числе замечательных русских женщин, Федор Михайлович как бы помирился с Тургеневым, завещав потомкам не вражду, а великое художественное слово.

После ссоры с окружением Белинского Достоевский меняет круг знакомых и в конце 1846 года сходитя с братьями Бекетовыми — Андреем Николаевичем (1825–1902) — впоследствии крупным ученым-ботаником и Николаем Николаевичем (1827–1911) — знаменитым химиком в последующие годы. В кружок его ввел их старший брат Алексей Николаевич, товарищ Достоевского по Инженерному училищу. Это был на редкость гостеприимный дом, где всегда собиралось большое и веселое общество. Здесь тоже бывали живые беседы, жаркие споры, но никогда не доходило дело до ссор или оскорблений. Д. В. Григорович — единственный из меуаристов, поведавший нам о принадлежности Достоевского к кружку Бекетовых, глухо упоминает о том, что в этом кружке «езде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников).

М., 1964. Т. 1. С. 136), и ни словом не обмолвился о том, что это был социалистически настроенный кружок и, таким образом, Достоевский посещал его еще до знакомства с М. В. Петрашевским. (Еще раньше с социалистическими и коммунистическими идеями его познакомил Белинский.)

В ноябре 1846 года Достоевский с братьями Бекетовыми делает опыт «ассоциации». «Бекетовы вылечили меня своим обществом. — пишет он брату. — Наконец, я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая, и все издержки по всем частям хозяйства, всё не превышает 1200 руб. ассиг. с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации... Видишь ли, что значит ассоциация? Работай мы врозь, упадем, оробеем, обнищаем духом. А двое вместе для одной цели — тут другое дело».

Эта квартира, в которой Достоевский жил вместе с братьями Бекетовыми, помещалась в угловом трехэтажном доме В. М. Солошича (в конце XIX века был надстроен четвертый этаж) на *Большом проспекте Васильевского острова* (сейчас *Большой проспект*, 4), напротив лютеранской церкви. Здесь Достоевский начал повесть «Хозяйка».

К этому времени относится знакомство писателя с литературным салоном Майковых на углу Б. Морской и Синего моста, где Достоевский, по словам доктора Яновского, разбирал «со свойственным ему атомистическим анализом» характеры произведений Гоголя, Тургенева и своего «Господина Прохарчина». Дружба Достоевского с поэтом Аполлоном Николаевичем Майковым (1821–1897) сохранилась на всю жизнь, хотя и возникали некоторые «трещинки» и «заминки», когда в 1875 году Достоевский неожиданно для Майкова напечатал свой роман «Подросток» в демократических «Отечественных записках» Некрасова.

Достоевский живет в нужде, «на поденной работе» у издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского (1810–1889). Он задолжал ему большую сумму и с трудом перебивается от аванса до аванса, хочет писать большой роман, но из-за денег вынужден сочинять вещи «легкие».

Но даже сочиняя вещи «легкие», он создает ряд шедевров, объединенных одной темой — мечтательство. Именно эта тема помогла ему и преодолеть разрыв с Белинским и кругом «Современника», и найти, в противовес «натуральной школе», новую, свою художественную манеру письма.

В 1847 году Достоевский пишет ряд очерков в газете «Санкт-Петербургские ведомости» под общим заглавием «Петербургская летопись». Умирает фельетонист этой столичной газеты Э. И. Губер, и Достоевский принимает предложение занять его место. Писателя привлекает возможность в непринужденной, живой и доверительной форме беседовать с читателями, и «Петербургская летопись» — первая попытка, прообраз будущего «Дневника писателя».

Достоевский делится своими наблюдениями над современными нравами, отношениями людей, впечатлениями от литературных новинок или событий. Из этих очерков писатель черпает содержание своих произведений конца 1840-х годов: «Хозяйка», «Ползунков», «Слабое сердце», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Чужая жена и муж под кроватью», «Белые ночи», «Неточка Незванова». Все эти повести и рассказы были написаны Достоевским в «комнате от жильцов» в третьем этаже в доме Шилля, на углу *Вознесенского проспекта и Малой Морской* (ныне *Вознесенский проспект, 8/23* — дом перестроен), где он жил с весны 1847 года по апрель 1849 года. (Сейчас здесь мемориальная доска.)



Этот дом Достоевский запомнил на всю жизнь. Здесь он был арестован. В доме Шила, хотя и в другом районе, он поселяет Раскольникову, связывая бунт Раскольникова с бунтом собственной молодости.

В очерках «Петербургская летопись» Достоевский отвечает на вопрос: почему так печальна судьба человека с добрым, «слабым сердцем»? «Только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении, может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце!»

Итак, «грех мечтательства» — в уединении. Но как ни печальна судьба мечтателя, сам факт его появления в социально несправедливом обществе — залог преобразования этого общества. Мечтатель — новый человек в понимании Достоевского в 1840-е годы — это своеобразный протест против действительности.

Образ мечтателя является одним из центральных в творчестве молодого Достоевского. И позднее, в 70-е годы, Достоевский собирался писать большой роман под названием «Мечтатель». Тема эта всю жизнь волновала писателя. Образ мечтателя в «Белых ночах» автобиографичен: за ним сам Достоевский.

Неудовлетворенность действительностью сближает молодого Достоевского и его героя-мечтателя. Писатель готов повторить вслед за простодушной Настенькой в «Белых ночах»: «Зачем мы все не так, как бы братья с братьями?» Но слова эти свидетельствовали об увлечении писателя в это время утопическим социализмом. Начинается самая трагическая эпоха в жизни Достоевского...

Ранним утром 22 декабря 1849 года к оберкомендантскому дому Петропавловской крепости в Петербурге подъехало множество карет и стянулись отряды конной

жандармерии. На крепостной двор выводили узников и поодиночке рассаживали в кареты, причем рядом с каждым заключенным садился солдат. Кареты выехали из крепости, пересекли Неву и направились к Семеновскому плацу, к казармам лейб-гвардии Семеновского полка (сейчас это *территория между улицей Марата и Загородным проспектом*).

На казнь везли государственных преступников, участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Их арест весной 1849 года произвел настоящий фурор в столичном обществе. Правда, слухи ходили самые различные и самые фантастические. Одни, например, передавали, что тайная полиция открыла заговор против самодержавия, другие говорили, что в кружке проповедовали социализм, политические свободы и освобождение крестьян.

На Семеновском плацу узников вывели из карет и здесь, перед эшафотом, Достоевский впервые увидел после долгих месяцев одиночного заключения в Петропавловской крепости своих товарищей по кружку...

Но как мечтатель Достоевский оказался среди заговорщиков? Участие Достоевского в революционных кружках было абсолютно закономерным, и тот Достоевский, каким он был в конце 1840-х годов, непременно должен был рано или поздно оказаться среди петрашевцев.

В 1873 году в «Дневнике писателя» Достоевский дал точное определение своей романтической юности: «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райски-нравственном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы

еще задолго до парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей».

Романтическое «мечтательство», шиллеровский идеализм, французский утопический социализм, Жорж Санд и Бальзак и раннее пробуждение под их влиянием общественных интересов, протест против социальной несправедливости в ранних произведениях — «Бедных людях», «Двойнике», «Слабом сердце», «Господине Прохарчине», «Хозяйке», знакомство через Белинского с новейшими социалистическими и коммунистическими теориями и, наконец, попытка вместе с братьями Бекетовыми сделать опыт общественной равноправной «ассоциации» — вот важнейшие штрихи духовной петербургской биографии молодого Достоевского, подготовившие его к участию в кружке петрашевцев.

Но и сравнение Достоевским в «Дневнике писателя» зародившегося социализма с христианством не было случайным. Наоборот, социальным утопизм, системы Сен-Симона, Фурье, Прудона молодому поколению 1840-х годов, беспокойному и ищущему, казались осуществлением на земле христианских заветов, евангельской правды, а у самого Достоевского вера в наступление золотого века, мечта о всемирном братстве, когда все будут «как братья с братьями», говоря словами Настеньки в «Белых ночах», во многом также зиждились на именах Виктора Гюго, Жорж Санд, Бальзака. Он считал их произведения новым христианским искусством, призванным обновить мир и осчастливить человечество, и это новое искусство соединялось в сознании молодого писателя с утопическим социализмом.

Идея всемирного братства людей, золотого века, всеобщего счастья — самая дорогая мечта писателя с юношеских лет и до конца его дней...

7 апреля 1849 года петрашевцы торжественным обедом в складчину отмечали день рождения французского

философа-утописта Шарля Фурье (1772–1837). Служащий департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел титулярный советник Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821–1866) собрал группу интеллигентов, мечтающих об общественных преобразованиях в России. Молодой чиновник Дмитрий Ахшарумов, глядя на большой портрет Фурье, специально выписанный из Парижа для этого дня, произнес застольную речь.

«Мы... празднуем грядущее искупление всего человечества — сегодня, именно сегодня — в день рождения Фурье, — восторженно говорил он, — празднуем день его рожденья, чтим его память; *его*, потому что он указал нам путь, по которому идти... Всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, в жизнь веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах — вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий...» (Дело петрашевцев. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 112).

Ни Ахшарумов, ни выступавшие также с застольными речами М. В. Петрашевский, А. В. Ханьков, И. М. Дебу не подозревали даже, что приставленный к петрашевцам полицейский агент донесет об их очередной встрече, а сам торжественный обед и речи в честь французского мыслителя будут скоро поставлены им в вину как одно из преступлений, караемых смертной казнью.

Достоевский впервые увидел Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского весной 1846 года в кондитерской Вольфа и Беранже у Полицейского моста (ныне дом № 18 по Невскому проспекту). Достоевский зашел туда вместе с поэтом А. Н. Плещеевым, чтобы посмотреть свежие газеты. «Я видел, что Плещеев остановился го-

ворить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского, — вспоминал Федор Михайлович. — Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поравнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея Вашей будущей повести, позвольте спросить?» Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство. Мне показался он очень оригинальным человеком... я заметил его начитанность, знания. Пошел я к нему в первый раз уже около поста сорок седьмого года».

Достоевский сначала берет в библиотеке Петрашевского книги социалистов-утопистов, а потом становится частым посетителем «пятниц» в его деревянном двухэтажном доме по Садовой улице в районе старой Коломны, на Покровской площади (ныне площадь Тургенева, сейчас здесь каменные дома под номерами 111 и 112 по Садовой улице): «Домик был деревянным, маленьким, типичным домиком старой Коломны; наверху крыши шел резной конек, резьба была и под окнами; на улицу выходило крылечко с покосившимися от времени ступеньками, лестница в два марша вела во второй этаж; ступеньки и дрожали и скрипели, и вызывали невольную боязнь — да выдержит ли лестница тяжесть поднимающегося по ней? Только в особенных случаях, по вечерам лестница освещалась вонючим ночником, в котором коптело и чадило конопляное масло» (*Столянский П. Н. Революционный Петербург*. СПб., 1922. С. 10—11).

Сначала на собраниях бывало около двадцати человек, а к моменту ареста членов кружка их число доходило до 50. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, причем вход на «пятницы» был свободный. «Ко мне всякий мой знакомый водил кого хотел», — признавался Петрашевский следственной комиссии. Это в конечном счете и сгубило петрашевцев, так как на собрания к ним свободно ходил агент полиции.

И все же посетители «пятниц» в основной своей массе не были случайными людьми. Буташевич-Петрашевский приглашал к себе, как потом запишет следственная комиссия, «преимущественно из воспитателей, молодых литераторов и студентов... чтобы потрясти умы социальными книгами, разговорами и речами», причем цель, поставленная Буташевичем-Петрашевским, состояла в том, чтобы «мало-помалу нанести удар правительству и настоящему порядку вещей».

Если вначале «пятницы» были посвящены главным образом литературным спорам, или знакомству с западноевропейскими общественно-экономическими теориями социалистов-утопистов, или отвлеченным дискуссиям о социалистических учениях, то вскоре в доме Петрашевского стали обсуждаться самые насущные и актуальные общественно-политические проблемы, все чаще и чаще стали высказываться мечты о якобы справедливом общественном строе, освобождении человеческой личности от деспотизма и произвола.

Д. Ахшарумов в своих мемуарах «Записки петрашевца» (М.: Л., 1930) рассказывает, что «пятницы» представляли собой интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, петербургских новостях, — в общем, говорилось обо всем, причем громко и без всякого стеснения. Вот так и получилось, что о собраниях петрашевцев по пятницам знал практически весь Петербург.

Однако петрашевцы не были единодушны в своих политических взглядах. Среди них были и сторонники революционного пути решения вопросов общественного развития России, а именно организации тайного общества, создания тайной типографии, ведения революционной пропаганды среди солдат, подготовки крестьянских восстаний, и сторонники либерально-демократических реформ. Но те и другие полностью сходились в том, что

необходимо немедленно уничтожить крепостное право, провести реформы, которые дали бы свободу слова, печати, гласный суд и т. д. «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, — говорил Петрашевский, — надо же приговор наш исполнить» (Дело петрашевцев. М.; Л., 1937. Т. I. С. 518).

Многих петрашевцев, и прежде всего и главным образом Достоевского, интересует также христианско-социалистический характер утопии Фурье, и нравственный подход к общественным, социалистическим вопросам остался у писателя на всю жизнь. И когда в его последнем романе «Братья Карамазовы» Иван Карамазов рассуждает, о чем же могут говорить «русские мальчики», когда они «поймали минутку»: «О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время», — то Достоевский вспомнил здесь разговоры о Боге и социализме, которые вели «русские мальчики» 1840-х годов — петрашевцы.

Так, например, петрашевец К. И. Тимковский «взялся в одну из... пятниц... доказать путем чисто научным божественность Иисуса Христа, необходимость пришествия Его в мир на дело спасения» (Дело петрашевцев. М.; Л., 1941. Т. II. С. 420), петрашевец А. И. Европеус заявил на следствии, что «характер теории Фурье есть религиозный» (Петрашевцы. М.; Л., 1928. Т. III. С. 172), петрашевец К. М. Дебу показал, что «теория Фурье... поддерживает религиозные чувства» (Петрашевцы. М.; Л., 1928. Т. III. С. 100). У поэта-петрашевца А. Н. Плещеева были такие стихотворные строки: «И предстает

вдали, как призрак, предо мною распятый на кресте Великий Назорей». Наконец, в той же речи на обеде в честь Фурье 7 апреля 1849 года Д. Ахшарумов сказал очень близкие Достоевскому слова: «Мы... должны... реставрировать образ Божий человека во всем его величии и красоте» (Дело петрашевцев. М.; Л., 1951. Т. III. С. 113).

Но Достоевский не остановился на христианском социализме. В «Дневнике писателя» в 1873 году он рассказывает о том, как Белинский «бросился обращать его в свою веру»: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма... Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма он верил до безумия и без всякой рефлексии: тут был один лишь восторг. Но как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить эту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества...»

На смену утопическому социализму, понимаемому многими петрашевцами, в том числе и Достоевским, как христианский социализм, шел атеистический материализм. В середине 1840-х годов Белинский, под влиянием Фейербаха, отрекается от Гегеля, самозабвенно увлекается естествознанием и точными науками и становится атеистом. В 1845 году он пишет А. И. Герцену: «В словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 250). Белинский восстает на Бога из любви к человечеству и отказывается верить в создателя, творца этого несовершенного мира. Тридцать лет спустя в последнем романе Достоевского Иван Карамазов повторит эти аргументы Белинского против Бога.

Влияние Белинского было настолько велико, критик имел такой непререкаемый авторитет среди российской



молодежи, каждое его слово воспринималось с таким откровением и имело такой колоссальный общественный резонанс, что его собственный переход к атеистическому материализму предопределил и чудовищную по своим последствиям эволюцию русского социализма в этом направлении.

Правда, как вспоминает Достоевский об этих важнейших годах в его духовной биографии, «тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христа он [Белинский], как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. В непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием...»

Однажды, как пишет дальше Достоевский, Белинский сказал ему: «Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел».

И, обращаясь ко второму гостю и указывая на Достоевского, Белинский продолжал: «Мне даже умиительно смотреть на него: каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стусевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества». (Не вспомнил ли Достоевский эти слова Белин-

ского, работая двадцать лет спустя над романом «Идиот», герой которого, князь Мышкин — «князь Христос», как писатель называет его в черновиках, — появился в Петербурге в то время, о котором говорил Белинский.)

Эти удивительные по своей исповедальной искренности воспоминания Достоевский заканчивает поразительным признанием: «В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невлюбил; но я страстно принял тогда все его учение».

Значит, Достоевский сам признается, что «страстно принял» атеистическое учение Белинского, хотя, очевидно, где-то в глубине души «сияющая личность самого Христа» с ним всегда оставалась. В том же «Дневнике писателя» за 1873 год писатель полнее раскрывает смысл атеистического учения критика и еще раз подтверждает влияние этого учения: «Все эти убеждения о безнравственности религии, семейства; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству и пр., и пр. — все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия».

Признавшись в том, что Белинский обратил его в свою веру, писатель делает из этого обращения страшный и на первый взгляд довольно загадочный вывод: «Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности».

Революционера-уголовника Сергея Геннадьевича Нечаева, собиравшегося вместе со своими последователями-

нечаевцами опутать всю Россию сетью тайных ячеек, возмутить массы, поднять кровавый бунт и все до основания разрушить, Достоевский заклеил в 1872 году в романе «Бесы» в образе Петра Верховенского. Но тогда что же означает это страшное и загадочное признание автором возможности «сделаться... нечаевцем» в «дни... юности» «в случае, если бы так обернулось дело»?

Признание это связано с деятельностью Достоевского в кружке петрашевцев, и смысл его открылся только после смерти писателя...

Многие из узников так изменились за время заключения в Петропавловской крепости, что с трудом узнавали друг друга, встретившись на эшафоте на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года. На площади, в самом центре, перед земляным валом, был сооружен деревянный помост в форме квадрата, обнесенный по карнизу невысоким забором. Это был эшафот. Перед ним, выстроившись в каре, стояли войска, а на некотором расстоянии от него торчали вкопанные в землю три деревянные столба. На валу, несмотря на ранний час, собралась довольно большая толпа.

Подошел чиновник, и началась перекличка. Он по списку называл фамилии, и первым в ряду был поставлен Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли. Достоевский стоял во второй тройке.

Когда перекличка закончилась, появился священник с крестом и Евангелием и повел преступников перед войсками. Шагая по рыхлому снегу и переговариваясь: «Для чего столбы у эшафота?» — «Привязывать будут, военный суд — казнь расстрелянием», — петрашевцы взошли по узенькой лестнице на эшафот, и их расставили по краям: по одну сторону 10 человек, по другую — 11. Позади каждого стоял жандарм.

На середину эшафота вышел чиновник в мундире и быстро начал объявлять приговор. Становясь напротив

того петрашевца, чью фамилию он называл, чиновник излагал вину каждого в отдельности и заканчивал приговор неизменно словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием».

На осужденных надели предсмертное одеяние — белые балахоны с капюшонами. Петрашевец Ахшарумов оставил подробное описание этой жуткой сцены:

«Взошел на эшафот священник — тот же самый, который нас вел, — с Евангелием и крестом... Он обратился к нам с следующими словами: “Братья! Пред смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди...”

Никто из нас не отозвался на призыв священника — мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призвал к исповеди. Тогда один из нас — Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желаний исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту.

Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками... Потом отдано было приказание “колпаки надвинуть на глаза”, после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших.

Раздалась команда: "Клац" ["На прицел"] — и вслед за тем группа солдат — их было человек шестнадцать, — стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 229–230).

Достоевский был во второй тройке, и жить ему оставалось не более минуты. Он вспомнил в эту последнюю минуту брата Михаила, уже давно жившего в Петербурге, и только сейчас, на эшафоте, ожидая смертной казни, понял, как он его любит, успел обнять и проститься с Плещеевым и Дуровым, — они были рядом. Но чувствовал ли тогда Достоевский свою вину? Ведь это же с именем Дурова была связана «тайная» деятельность Достоевского среди петрашевцев, о чем следственная комиссия почти и не подозревала...

«Я поддерживал знакомство с ним [Петрашевским], — писал арестованный Достоевский в "объяснении" следственной комиссии, — ровно настолько, насколько того требовала учтивость, то есть посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже... В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, я был у него не более восьми раз... Впрочем, я всегда уважал Петрашевского, как человека честного и благородного».

Достоевский пытается доказать, что ничего преступного в его поведении не было: «В сущности, я еще не знаю доселе, в чем обвиняют меня. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил *вольнодумно* и что, наконец, прочел вслух литературную статью: "Переписку Белинского с Гоголем"».

«Вольнодумство», по Достоевскому, сводилось к желанию добра своему отечеству, и здесь он как будто оправдался, а вот чтение знаменитого письма Белинского, где критик называл русский народ «глубоко атеистическим народом» и заявлял, что России нужны «не про-

поведи», «не молитвы», а «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства», — было уже весьма серьезным обвинением.

Шпион П. Д. Антонелли доносил: «В собрании 15 апреля [1849 г.] Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским, и в особенности письмо Белинского к Гоголю... Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласогло и Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах» (*Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 117*).

Достоевский пытается запутать следствие, держится мужественно, а главное, за все время следствия он не выдал никого из своих товарищей.

Ни одним словом Достоевский не упомянул о существовании среди петрашевцев более узкого, но и более радикального кружка Сергея Федоровича Дурова (1816–1869). Но неожиданно следственная комиссия сама узнала о существовании кружка Дурова. И Достоевский виртуозно пытается притупить бдительность следственной комиссии, так как ему инкриминировалось и участие в революционной ячейке, и стремление иметь свою литографию (типография ему не ставилась в вину): «На вечерах у Дурова я бывал. Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей весны. Нас сблизило сходство мыслей и вкусов; оба они, Дуров и особенно Пальм, произвели на меня самое приятное впечатление. Не имея большого круга знакомых, я дорожил этим новым знакомством и не хотел терять его. Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный. Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще... Скоро наши сходки обратились в литературные вечера, к которым примешивалась

и музыка». А когда однажды Филиппов предложил литографировать сочинения кружка, минуя цензуру, то это вызвало гнев и возмущение всех членов кружка, и Достоевский убедил всех отказаться от плана Филиппова, а «после того собрались всего только один раз», так как «по болезни Пальма вечера совсем прекратились».

Только после смерти писателя выяснилось, что кружок Дурова был далеко не таким безобидным и уж во всяком случае не «чисто артистическим и литературным», каким пытался представить его следственной комиссии Достоевский. Кружок Дурова был образован наиболее радикальными посетителями пятниц Петрашевского, недовольными умеренностью большинства, стоявшими не за медленную пропаганду, а за революционную тактику и освобождение крестьян «хотя бы путем восстания».

Для того, чтобы подготовить народ к восстанию, дуровцы — Спешнев, Филиппов, Мордвинов, Милютин, Момбелли, Григорьев, Достоевский — решили завести тайную типографию и выбрать комитет для непосредственного руководства из пяти членов, причем для соблюдения тайны «должно включить в одном из параграфов приема угрозу наказания смертью за измену; угроза будет еще более скреплять тайну, обеспечивая ее».

Знакомые слова, весьма напоминающие дисциплину и в пятерке Петра Верховенского в «Бесах», и в пятерке его прототипа Нечаева. Но весь смысл поразительных по откровенности слов Достоевского из «Дневника писателя» за 1873 год о том, что он мог бы сделаться нечаевцем во дни своей юности, стал полностью понятен после его смерти, когда поэт А. Н. Майков решил рассказать об этом поэту А. А. Голенищеву-Кутузову и историку литературы П. А. Висковатову. Оказывается, в январе 1849 года Достоевский пришел на квартиру к Майкову в дом Аничкова и сказал, что ему поручено

сделать Майкову следующее предложение, о чем Майков писал П. А. Висковатову: «Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун, у него не выйдет ничего путного, а что люди поделнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, П. Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе и Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. [в записи А. А. Голенищева-Кутузова: “с целью произвести переворот в России”. — С. Б.]. Я доказывал легкомыслие, беспокойность такого дела, и что они идут на явную гибель... И помню я — Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягая все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество и пр. ... “Итак — нет?” — заключил он. — “Нет, нет и нет”. Утром, после чая, уходя: “Не нужно говорить об этом — ни слова”. — “Само собой”. Впоследствии я узнал, что типографический ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М-ва [Мордвинова. — С. Б.], которого я, кажется, и не знал; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе комиссии и по уводе домашние его сумели, не повредив печатей, снять дверь с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена. Обо всем этом деле комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех, избегших ареста, только я один и знал»



(Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. М.; Пг., 1922. [Кн. 1]. С. 268—270).

Однако центральной фигурой дуровского кружка был не Достоевский, а Николай Александрович Спешнев (1821—1882), сыгравший большую роль в творческой жизни писателя, да и лично имевший на него какое-то таинственное влияние. Вообще Спешнев для всех петрашевцев оставался загадкой. Еще до петрашевцев, за границей, он думал о создании тайного общества (в бумагах Спешнева, захваченных при его аресте, сохранился составленный им черновой проект обязательной подписки для вступления в «Русское тайное общество»).

По показаниям Момбелли, «Спешнев объявлял себя коммунистом, но вообще мнений своих не любил высказывать, держа себя как-то таинственно, что в особенности не нравилось Петрашевскому. Тот часто жаловался на скрытность его и говорил, что он всегда хочет казаться не тем, что есть».

Разные слухи ходили о его личной жизни: говорили, что он увез за границу чужую жену, которая покинула двух детей, а за границей отравилась от ревности, а Спешнев, действительно, пользовался большим успехом у женщин.

Петрашевцы оставались в совершенном недоумении относительно его манеры держать себя. Немногословный, он всегда держался особняком, и если предпринимались попытки втянуть его в разговор, то он как бы снисходил до него. Петрашевцы невольно ощущали некую дистанцию, которую Спешнев не старался разрушать.

Таким он и остался в памяти современников: холодным, неприступным, загадочным, даже несколько таинственным. (Правда, эта таинственность несколько померкла на следствии по делу петрашевцев, где Спешнев вел себя не лучшим образом.) К этому лично у Достоевского присоединяется ощущение огромной подчиняю-

шей силы его, особенно когда Достоевский бывал в собственном двухэтажном доме Спешнева на Кирочной улице (сейчас дом № 14). Не без внутреннего сопротивления Достоевский все больше и больше поддается его влиянию, в какой-то момент, по свидетельству С. Яновского, даже вообразив Спешнева «своим Мефистофелем» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 172).

Общение с таинственным красавцем, долгое время жившим за границей, с загадочным романтическим прошлым, вдохновителем тайного революционного общества, проповедником атеизма, с холодным и скрытным человеком, наружность которого «никогда не изменяет выражения», вдохновило Достоевского через двадцать три года на создание образа «главного беса» в «Бесах» — Николая Ставрогина (и имя у них одинаковое)...

21 апреля 1849 года шеф жандармов граф А. Ф. Орлов представил царю подробную записку о деле петрашевцев и получил письменную резолюцию Николая I: «Я все прочел; дело важное, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь... С Богом! Да будет воля Его!» (Былое, 1906, № 2. С. 247).

Конечно, Достоевский даже и не подозревал о предстоящем аресте. «Он любил музыку, вследствие чего при всякой возможности посещал итальянскую оперу, — рассказывал доктор С. Д. Яновский, — а по временам, когда у Майковых устраивались по воскресеньям танцы, он не только любил смотреть на танцующих, но и сам охотно танцевал. Из опер особенное предпочтение он отдавал “Вильгельму Теллю”, в котором трио с Тамберликом приводило его в восторг, с наслаждением слушал “Дон Жуана” Моцарта, в котором роль Церлины ему нравилась всего более, и восхищался “Нормой”, сначала

с Джулиею Борзи, а потом с Гризи; когда же в Петербурге была представлена опера Мейербера "Гугеноты", то Федор Михайлович положительно от нее был в восторге» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 170).

Летом 1848 года Достоевский с братом Михаилом жил в Парголово, они часто бывали вместе с А. Н. Плещеевым у снимавшего там дачу Петрашевского. Достоевский очень любил обеды в кругу своих друзей на Малой Морской в «Hôtel de France». «Обед заказывался всегда Федором Михайловичем и стоил рубль с персоны, — вспоминал С. Д. Яновский. — Из напитков допускались: пред обедом рюмка, величиною с наперсток, водки... и по два бокала шампанского за обедом, да чай... после обеда. Федор Михайлович в то время водки не пил, шампанского ему наливали четверть бокала, и он прихлебывал его по одному глоточку после спичей, которые любил говорить и говорил с увлечением. Чаепитие же продолжалось до поздней поры и прекращалось с уходом из гостиницы. Обеды эти Федор Михайлович очень любил; он на них вел душевные беседы, и они составляли для него действительно праздник. Вот как он сам объяснял мне причину его любви к этим сходкам: "Весело на душе становится, когда видишь, что бедный пролетарий (пролетарием он называл каждого живущего поденным заработком, а не рентой, или иным каким-нибудь постоянным доходом, например, службой) сидит себе в хорошей комнате, ест хороший обед и запивает даже шипучкою, и притом настоящею". По окончании этого праздничного обеда Федор Михайлович с каким-то особенным удовольствием подходил ко всем, жал у каждого руку и приговаривал: "А ведь обед ничего, хорош, рыба под соусом была даже очень и очень вкусная"» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 160–161).

В альбоме дочери своего старого знакомого А. П. Милюкова Достоевский, вернувшись через десять лет после каторги и ссылки, записал рассказ о своем аресте:

«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой [в дом Шиля на углу Вознесенского и Малой Морской. — С. Б.] часу в четвертом от Григорьева [тот жил на Гороховой улице. — С. Б.], лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий и симпатический голос: «Вставайте!» Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое [цвет мундиров жандармов Отдельного корпуса. — С. Б.], с подполковничьими эполетами. «Что случилось?» — спросил я, привстав с кровати. «По повелению...» Смотрю: действительно, «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля... «Эга, да это вот что!» — подумал я. «Позвольте ж мне...» — начал было я. «Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с», — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было... Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с

какою-то тупою торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сели солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту, у Летнего сада [здесь находилось III Отделение. — С. Б.]. Там было много ходьбы и народа. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал... Бесперывно входили голубые господа с разными жертвами.

“Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” — сказал мне кто-то на ухо. 23 апреля был действительно Юрьев день. Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем г<осподина> Антонелли написано было карандашом: “агент по найденному делу”. “Так это Антонелли!”

Нас разместили по разным углам в ожидании окончательного решения, куда кого девать...» (Первые русские социалисты: Воспоминания участников кружков петрашевцев в Петербурге. Л., 1984. С. 150–154).

Отсюда петрашевцев направили в *Петропавловскую крепость*, Достоевского вместе с другими пятнадцатью осужденными — в темный, глухой, каменный мешок страшного *Алексеевского рavelина* крепости, в его «Секретный дом». Алексеевский рavelин (сейчас не сохранился), заложенный при Анне Иоанновне, получил название в честь деда императрицы Алексея Михайловича, в 1797 году внутри Алексеевского рavelина был построен «Секретный дом».

Полная изоляция от мира, даже передача книг вначале не была разрешена. Некоторые из петрашевцев не выдержали (например, сошел с ума В. П. Катенев), а Достоевский через двадцать пять лет рассказывал своему молодому другу, критику и историческому романисту Всеволоду Соловьеву: «Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не

выдержу и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал “Маленького героя” — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки?» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. II. С. 199).

Находясь в заключении в Петропавловской крепости (причем следственная комиссия отнесла писателя к числу «наиболее опасных» преступников), не зная, что его ждет — смерть или каторга, Достоевский создает одно из самых светлых своих произведений — «Маленького героя». Это повесть о нежной и впечатлительной душе подростка, о его полудетской, полувзрослой преданности и любви, о пробуждении сознания у юного существа (Достоевского продолжает волновать тема его предыдущего, неоконченного из-за ареста произведения — романа «Нечка Незванова»). В повести, написанной в тюрьме, мы находим то, что почти отсутствует в других произведениях Достоевского: небо, солнце, свет. «Маленький герой» — последнее докаторжное художественное слово писателя, прощание его со своей романтической молодостью, с романтическим Петербургом.

Поразительная творческая самоотдача Достоевского в каменном мешке Петропавловской крепости (он признавался, что «выдумал» там «три повести и два романа»), его неуемная жажда чтения (когда разрешили получать книги, брат присылает ему Шекспира, Библию, сочинения святого Димитрия Ростовского, «Сказания русского народа» Сахарова, — знаменателен интерес Достоевского к религиозной литературе после бездуховного атеизма Белинского: через тридцать лет на stile жития Зосимы в «Братьях Карамазовых» отразится чтение в Алексеевском равелине сочинений святого Димитрия Ростовского), его работоспособность — все это держалось на несокрушимой жизненной силе Достоевского (он писал из крепости: «жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь...»), на такой гигантской

«жажде жизни», которая и помогла ему выдержать страшную сцену смертной казни, когда жить ему оставалось не больше минуты...

Следствие по делу петрашевцев закончилось. Достоевский с честью выдержал все поединки с членом следственной комиссии, генерал-адъютантом Я. И. Ростовцевым, который охарактеризовал писателя: «Умный, независимый, хитрый, упрямый» (*Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 86*), а дочь писателя, Любовь Федоровна Достоевская, считала, что ее отец вспомнил о своем следователе, создавая образ Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании» (*Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 55*).

17 декабря 1849 года генерал-аудиториат — высший военный суд приговорил к расстрелу 21 петрашевца, в том числе и Достоевского. Правда, генерал-аудитор ходатайствовал о смягчении наказания, и Николай I решил помиловать всех петрашевцев. Николай начинал свое царствование с казни декабристов, но там был действительно настоящий бунт, здесь же пока только слова, да и не хотелось Николаю завершать свое царствование тоже казнями.

Окончательный приговор генерал-аудитора по делу писателя гласил: «Отставного поручика Достоевского за... участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против Православной Церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства, посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на восемь лет». Николай I наложил резолюцию: «На четыре года, а потом рядовым» (*Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 180*).

Но, помиловав приговоренных к смерти петрашевцев, царь, однако, выразил пожелание, чтобы до самой последней минуты заговорщики были уверены, что их расстреляют, и только после совершения обряда смертной казни следовало объявить о помиловании. Николай полагал, что петрашевцы должны до конца прочувствовать весь обряд казни, чтобы осознать свою вину. В секретных документах предусматривались все подробности церемонии, причем Николай I лично интересовался всеми деталями: размером эшафота, эскортом карет, мундиром казнимых и т. д. Несколько раз менялась инструкция, пока, наконец, 22 декабря 1849 года не состоялась эта жуткая инсценировка смертной казни.

Не все петрашевцы выдержали эту церемонию (Григорьев сошел с ума). С петрашевцев сняли белые балахоны. На эшафот поднялись двое палачей. Они поставили на колени осужденных и у каждого над головой сломали шпагу. Затем каждый из осужденных получил арестантскую шапку, овчинный тулуп и сапоги, а на середину эшафота бросили груду кандалов. Двое кузнецов надевали на ноги осужденным тяжелые железные кольца и заклепывали их.

В тот же день, буквально через несколько часов после эшафота, Достоевский, только что видевший перед собой смерть, писал из Петропавловской крепости брату Михаилу: «...Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я осознал это... Да, правда! та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они



изъявят меня, правда! Но во мне осталось сердце, и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!..

Знай, что я не уныл; помни, что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой, — это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!..

Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое».

Достоевский начинает уже ощущать высшую ценность жизни, о которой так много будут потом говорить герои его послекаторжных произведений. Эшафот явился решающим событием в духовной биографии писателя. После обряда смертной казни жизнь Достоевского «переломилась», с прошлым было покончено, началось «перерождение в новую форму».

Через двадцать лет писатель сумел переплавить свои впечатления от пережитого 22 декабря 1849 года в художественное творчество. В романе «Идиот» князь Мышкин рассказывает о последних минутах приговоренного к смертной казни: «...Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать; ему все хотелось представить себе как можно

скорее и ярче, что вот, как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты уже будет "ничто", кто-то или что-то, так кто же? Где же? Все это он думал в те две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними...»

Петрашевец Ф. Львов вспоминает, что Достоевский сказал перед казнью Спешневу: «*Nous serons avec le Christ*» («Мы будем с Христом»), а Спешнев ответил с усмешкой: «*Un peu roussié*» («Горстью праха») (Лит. наследство. М., 1956. Т. 63. Вып. 3. С. 188).

От Спешнева другого ответа никто и не ожидал, но каким же образом атеист Достоевский, страстно принявший, по его же признанию, все учение Белинского, перед самой смертью вдруг вспомнил Христа и заговорил о бессмертии души человеческой, воскресении? Может быть, действительно, несмотря на все принятие атеизма, «сияющая личность самого Христа» в Достоевском осталась неприкосновенной, или под влиянием чтения в крепости Библии и творений святого Димитрия Ростовского в нем перед лицом ожидаемой смерти началось, говоря его же словами, «перерождение в новую форму», то есть перерождение убеждений?

И то, и другое очевидно. Но это было лишь начало, первые ростки, первые робкие, еще не вполне осознанные шаги духовного перерождения. В «Дневнике писателя» за 1873 год он сам говорит об этом: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния». Настоящее перерождение, поворот его духовной биографии происходит на каторге.

24 декабря 1849 года, за несколько часов до отправки на каторгу, в комендантском доме Петропавловской

крепости петрашевцы Достоевский и Дуров получили разрешение встретиться с Михаилом Достоевским и А. П. Милюковым. Через тридцать два года Милюков вспоминал об этом свидании:

«...Дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки... Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках... Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что он не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз. На вопросы о том, каково было содержание в крепости, Достоевский и Дуров с особенной теплотой отозвались о коменданте, который постоянно заботился о них и облегчал, чем только мог, их положение. Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшила их, и, конечно, в это время они не предчувствовали, как она отзовется на их здоровье...

Смотря на прощанье братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.

— Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь, — и в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня... Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, — я даже не сомневаюсь, что увидимся... А вы пишите, да, когда обживусь — книг присылайте, я напишу каких; ведь читать можно будет... А выйду из

каторги — писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, — будет о чем писать...

Печально перезванивали колокольчики на крепостных стенах, когда вошел плац-майор и сказал, что нам время расстаться. В последний раз обнялись мы и пожали друг другу руки... потом вышли и остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные... Выехали двое ямских саней, и на каждый сидел арестант с жандармом. “Прощайте!” — крикнули мы. “До свидания! До свидания!” — отвечали нам» (Русская старина, 1881. № 3. С. 706–707).

Через пять лет после этого прощального свидания с братом Михаилом Достоевский в письме к нему из Омска от 22 февраля 1854 года описал свой путь по Петербургу, на каторгу: «Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой! Только что ты оставил меня, нас повели троих, Дурова, Ястржембского и меня заковывать... Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на четырех санях, фельдфебель впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце, и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживил меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то, в сущности, был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности...»

По дороге на каторгу в Омск, в Тобольске произошло незабываемое событие, сыгравшее, наряду с эшафотом, важнейшую роль в духовной биографии Достоевского. Жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина добились

(«умолили», по словам Достоевского) тайного свидания с петрашевцами на квартире зрителя пересыльной тюрьмы. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский вспоминал: «Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге».

Рассказывая в «Дневнике писателя», как он принял атеистическое учение Белинского и «может... мог бы... во дни... юности» стать нечаевцем, писатель задавался вопросом, как это могло произойти: «Я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства... Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было чем-то торжественным».

Однако детская вера была хрупкой, и молодой Достоевский оказался бессилён перед атеистическим учением Белинского, и оно «захватило его сердце». Новая встреча с Христом произошла на каторге, когда писатель читал одну книгу — Евангелие. Непосредственное же приобщение к страданиям русского народа на каторге ускорило процесс перерождения убеждений Достоевского.

Четыре года каторжного «страдания невыразимого, бесконечного» явились поворотным пунктом в духовной биографии писателя. В страшный миг на эшафоте, когда жить ему остается не больше минуты, в нем начинает умирать «старый человек». Постепенно рождается «новый человек», начинается «перерождение убеждений».

Однако не тяжелый каторжный быт, не ужасы каторги наиболее сильно потрясли Федора Михайловича. Больше всего его поразил тот факт, что острожники с ненавистью встретили их — дворян — за их атеизм, за их безверие, за бунт, за стремление свергнуть царя. Они

же, напротив, верили в Бога, любили царя и осуждали всякий бунт как барскую затею.

Постепенно расшатывалась старая «вера», незаметно выросло новое мировоззрение. В «Дневнике писателя» Достоевский признается: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений... История перерождения убеждений, — разве может быть во всей области литературы какая-нибудь история более полная захватывающего и всепоглощающего интереса? История перерождения убеждений, — ведь это и прежде всего история их рождения. Убеждения вторично рождаются в человеке, на его глазах, в том возрасте, когда у него достаточно опыта и проницательности, чтобы сознательно следить за этим глубоким таинством своей души».

Перерождение убеждений началось с беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью. «Помню, что все это время, — писал впоследствии Достоевский о каторге, — несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одиноким душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилося тогда мое сердце! Я думал, я решал, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде... Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе... Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых. Экая славная минута!»

В первом же письме, написанном после каторги Н. Д. Фонвизиной, Достоевский рассказывает ей, в ка-

ком направлении шло перерождение его убеждений: «...Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».

Отныне и навсегда «сияющая личность» Христа заняла главное место в новом мирозерцании Достоевского. В 1874 году он говорил своему молодому другу Всеволоду Соловьеву о значении каторги для его духовного развития: «...Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... Я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 199–200).

Из революционера и атеиста рождается монархист и верующий человек. Этому содействовало в первую очередь чтение Евангелия, которое учит прежде всего и главным образом смирению. Достоевский понял всю спасительную силу лозунга: православие, самодержавие и народность, осознал, что смысл жизни — в бессмертии души человеческой. Смерть и воскресение Христа, Бог как величайшая нравственная категория и бунт, насильственное переустройство мира как самое страшное зло, ибо любая революция меняет только декорации — бедные становятся богатыми, богатые — бедными, суть неизменна, всегда присутствует социальное неравенство, это — такой же закон природы, как существование времен года, смена дня и ночи. Но сколько безвинной крови

проливается в результате любой революции, кровавая гильотина — следствие и неизбежность любой революции — вот что осознал писатель на каторге.

Христианская вера была Достоевским всесторонне выстрадана. После каторги и ссылки религиозная тема становится центральной темой творчества писателя. В 1870 году он писал своему другу, поэту А. Н. Майкову: «Главный вопрос..., которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие».

Эпилог «Преступления и наказания» имеет отношение к духовному пути самого Достоевского. Эволюция Раскольников от «безбожника» (однажды каторжники «все разом напали на него с остервенением: “Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо!” Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника») к вере — это эволюция и самого Достоевского на каторге.

15 февраля 1854 года писатель навсегда покинул Омский острог. Срок каторги истек, дальше полагалась служба рядовым в ссылке, и Достоевский был по этапу доставлен в Семипалатинск, рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон.

После смерти Николая I и восшествия на престол Александра II появилась надежда на смягчение участи бывших петрашевцев. 20 ноября 1855 года Достоевского произвели в унтер-офицеры. Это так окрылило писателя, что он решил жениться на вдове чиновника А. И. Исаева Марии Дмитриевне Исаевой. В апреле 1857 года Достоевскому было возвращено дворянство — «полное прощение вины моей», как он считал. (Это была общая политика амнистии, проводимая новым императором по отношению к политическим заключенным и ссылным прежнего царствования.)

Но Достоевский хочет уйти в отставку: совмещать военную службу и литературный труд невозможно, а



литература — его судьба, его жизнь. Отставка дает ему надежду скорее вернуться в Петербург. Благодаря хлопотам семипалатинского друга, барона А. Е. Врангеля, который в феврале 1856 года вернулся в Петербург после службы прокурором в Семипалатинске, прошение Достоевского о возвращении из ссылки и разрешении печататься под своим именем передал царю герой Крымской войны Э. И. Тотлебен, старший брат товарища Достоевского по Инженерному училищу А. И. Тотлебена, жившего в 1841 году вместе с Достоевским в Петербурге на Караванной улице.

В марте 1859 года Достоевскому было разрешено оставить военную службу по болезни с «награждением следующим чином» подпоручика, с правом жить в Твери и «воспрещением въезда в Петербургскую и Московскую губернии».

2 июля 1859 года Достоевский вместе с пасынком Пашей Исаевым и М. Д. Исаевой выехали из Семипалатинска в Тверь. В августе (около 19-го) 1859 года они прибыли в Тверь. Но писатель страстно рвется в Петербург. Неожиданно пришла помощь от тверского губернатора П. Т. Баранова и особенно от его жены графини Анны Алексеевны (урожденной Васильчиковой), с которой Достоевского познакомил еще в молодости ее двоюродный брат В. А. Соллогуб.

Пользуясь большими связями при царском дворе, П. Т. Баранов пересылает прошение писателя на Высочайшее имя своему родственнику графу В. Ф. Адлербергу для личной передачи Александру II. Одновременно Достоевский пишет письма А. Е. Врангелю, Э. И. Тотлебену, шефу жандармов В. А. Долгорукому.

Наконец, разрешение жить в столице было получено, и в декабре (после 16-го) 1859 года, ровно через десять лет, Достоевский вернулся в Петербург, город, с которым у него были связаны самые важные события в жизни:

«самая восхитительная минута», когда он стал писателем, участие в атеистическом и революционном кружке петрашевцев и жуткие мгновения, пережитые на эшафоте.

Но после принудительной каторги и солдатчины для монархиста и христианина Достоевского неизбежно должна была начаться «живая жизнь».

Сразу же по приезде в Петербург Достоевский с семьей поселяется в угловом двухэтажном каменном доме № 5 купца Н. А. Палибина в *Третьей роте Измайловского полка* (сейчас это участок реконструированного дома № 5 по 3-й Красноармейской улице), где он прожил по сентябрь 1861 года.

Бывший каторжник и петрашвец пользуется большим успехом на публичных чтениях и студенческих вечерах. Чтение Достоевским «Записок из Мертвого дома» еще больше укрепляет его ореол мученика-жертвы царизма в глазах радикально настроенной молодежи 1860-х годов.

21 ноября 1860 года в Петербурге, в зале Пассажа, состоялся вечер Литературного фонда (общественной организации, призванной помогать нуждающимся писателям) в пользу воскресных школ. Объявление о нем «Санкт-Петербургские ведомости» поместили 9 ноября, назвав всех участников предстоящих чтений — В. Бенедиктова, Я. Полонского, А. Майкова, А. Писемского, Ф. Достоевского и Т. Шевченко. Этот литературный вечер — единственное документальное свидетельство того факта, что встретились Ф. Достоевский и украинский поэт. Но для петербургской публики, собравшейся тогда в зале Пассажа, имена и судьбы художников имели если не одинаковый, то очень близкий нравственный смысл и звучание.

Первые выступления писателей на вечерах Литературного фонда были большим культурным событием, одним из проявлений всеобщего пробуждения после без-

молвия николаевского царствования. Поэтому они привлекли такое внимание современников и оставили значительный след в мемуаристике.

Авторы многочисленных воспоминаний единодушно подчеркивают тот восторженный прием, который оказала публика, собравшаяся в Пассаже, Тарасу Шевченко, чем беспредельно растрогала поэта. Достоевскому, вспоминает Л. Ф. Пантелеев, «тоже была сделана самая трогательная овация». И добавляет: «Литературная слава его была еще в зародыше, но в нем чтили недавнего страдальца» (*Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М.; Л., 1934. С. 157–158*). О той же общественной подоплеке шумного успеха Достоевского на вечере писал и П. Д. Боборыкин: «Тогда публика, особенно молодежь, еще смотрела на него только как на бывшего каторжанина, на экс-политического преступника... Тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером» (*Боборыкин П. Д. За полвека: Воспоминания. М., 1965. С. 281*).

С этого времени начинаются блистательные выступления Достоевского на литературных вечерах, к концу его жизни превратившиеся в события огромной культурной и общественной значимости.

Широкую известность в Петербурге получили вечер 2 марта 1862 года в зале домовладелицы М. Ф. Руадзе на набережной Мойки, вблизи Полицейского моста (ныне дом № 61), где Достоевский читал отрывок из «Записок из Мертвого дома», и любительский спектакль «Ревизор» в пользу Литературного фонда в зале Руадзе 14 апреля 1860 года, в котором Достоевский исполнил роль почтмейстера Шпекина.

Поэт П. И. Вейнберг, сыгравший роль Хлестакова, вспоминал: «Достоевский — которого петербургская публика узнала уже много позже тоже как отличного чтеца — обнаружил и хорошее сценическое дарование. Я думаю, что никто из знавших Федора Михайловича в пос-

ледние годы его жизни не может себе представить его — комиком, притом комиком тонким, умеющим вызывать чисто гоголевский смех; а между тем это было действительно так, и Достоевский-Шпекин был за немногими не важными исключениями безукоризнен...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. I. С. 332).

Новые творческие и личные знакомства завязываются благодаря изданию братьями Достоевскими журнала «Время». Идея издания ежемесячного периодического органа возникла у Михаила Михайловича Достоевского еще в 1858 году, возвращение в Петербург Федора Михайловича ускорило реализацию этой идеи. Весь 1860 год был посвящен подготовке. Однако при всей своей журнальной суете писатель находил время для работы над «Записками из Мертвого дома» и «Униженными и оскорбленными», которые он начал в доме Н. А. Палибина в Третьей роте Измайловского полка.

К этому же году относится недолгое увлечение Достоевского умной и красивой актрисой Александрой Ивановной Шуберт. Друг молодости писателя, страстный почитатель его таланта Степан Дмитриевич Яновский женился на А. И. Шуберт, однако их семейное счастье было недолговечным, и актриса уезжает от мужа в Москву. Достоевский выступает в роли друга-утешителя, пытается примирить враждующие стороны. «Я так уверен в себе, что не влюблен в вас», — писал он актрисе, и, действительно, их дружба носила романтический и эмоциональный характер, а свою роль утешителя Достоевский передал Ивану Петровичу в «Униженных и оскорбленных», утешающему Наташу и Алешу.

В сентябре 1860 года писатель составил и разослал объявление о выходе нового журнала «Время». Эта краткая программа вошла в его большую статью, представляющую собой манифест «почвенничества», как назвал

писатель основное направление журнала «Время». «Реформа Петра Великого нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом, — писал Достоевский в своей декларации, предопределяя в будущем и отрицательное отношение к Петербургу, как главному детищу Петра. — После реформы был между ними и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя... Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал».

Манифест кончается вдохновенным пророчеством: «Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий; что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях, что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое применение и дальнейшее развитие в русской народности».

Достоевский хочет создать своим журналом «Время» новое общественное течение — «почвенничество», занимающее среднее место между западничеством и славянофильством. Своему пониманию русской идеи как примирения всех европейских идей, а русского идеала как общечеловеческого идеала Достоевский остался верен до конца жизни. Революции писатель противопоставляет мирное объединение с «почвой», то есть с народом. Достоевский верил, что русский народ, благодаря сохранившемуся в нем христианскому идеалу, «всепримиримости» и «всечеловечности», способен усваивать результаты европейской цивилизации, избегая вражды сословий, свойственной Западу. Достоевский страстно

и искренно считал историческим предназначением русского народа всеобщую реализацию этого идеала.

Но журнал «Время» привлекал читателей прежде всего своим литературным содержанием. Официальным редактором состоял Михаил Михайлович Достоевский, сам же писатель заведовал художественным и критическим отделом. В первой же книжке «Времени» печатался роман «Униженные и оскорбленные», затем последовали «Записки из Мертвого дома», произведения Островского, Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Достоевскому удалось привлечь к сотрудничеству двух талантливых молодых критиков Аполлона Григорьева и Николая Страхова, которые и образовали группу «почвенников» в журнале.

Н. Н. Страхов в своих воспоминаниях нарисовал портрет Достоевского эпохи «Времени»: «Он носил тогда одни усы и, несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, т. е. простонародные черты лица» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 271). Педагог Н. Ф. Бунаков, ставший сотрудником «Времени» в 1861 году, оставил описание атмосферы самого журнала: «Очень приветливо и сердечно приняли меня Достоевские, Михаил Михайлович, издатель и редактор журнала «Время», в котором был напечатан мой рассказ «Село на юру» и для которого я привез с собой новую большую повесть «Город и деревня» (напечатано в том же 1861 году), и брат его Федор Михайлович, только что возвратившийся из ссылки... Кусков горячился. Грузный Разин возражал отрывочно и с менторской важностью. Благодушный Н. Н. Страхов держался неопределенной середины. Нервный Федор Михайлович Достоевский, бегая по комнате мелкими шажками, некоторое время не вмешивался в разговор, потом вдруг заговорил, пришептывая, — и все примолкли; это, очевидно, был пророк кружка, перед которым

все преклонялись» (Бунаков Н. Ф. Записки. 1837–1905. СПб., 1909. С. 49–50).

Сотрудничество радикальных кругов в журнале «Время» оказалось недолгим. Достоевский сначала умерял полемический пыл Н. Н. Страхова и других сотрудников «Времени» против «Современника» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, но скоро и сам включился в ожесточенную и многолетнюю журнальную и идейную полемику с «нигилистами». Надежды Достоевского на трогательное примирение в «почвенничестве» интеллигенции с народом окончательно рухнули во время студенческих волнений 1861 года, когда был закрыт Петербургский университет, а студентов сажали в Петропавловскую крепость, причем уличные толпы устраивали им овации. За десять лет, что Достоевский не был в Петербурге, пропаганда атеизма и революции сделала огромные, зловещие успехи.

Редакция журнала «Время», а позже и второго журнала братьев Достоевских — «Эпоха», помещалась в квартире Михаила Достоевского, на углу Малой Мещанской и Екатерининского канала, в доме А. А. Астафьевой (теперь дом № 1 по Казначейской улице). В сентябре 1861 года в этом доме, сохранившемся и поныне, на втором этаже поселяется Федор Михайлович. Проживая здесь по август 1863 года, писатель закончил в этом доме «Записки из Мертвого дома». Любопытно, что в этом же районе жили и другие сотрудники «Времени»: Страхов (на Большой Мещанской — ныне Казанская улица) и Аполлон Григорьев (на Вознесенском проспекте). Достоевский мог вспомнить темные ниши на своей лестнице, когда писал роман «Идиот». В одной из ниш петербургского дома прячется Рогожин, когда хочет убить князя Мышкина.

В последних числах мая или в самом начале июня 1862 года, как пишет Н. Г. Чернышевский в мемуарной заметке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» (1888),

«через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок» (то есть после 28–30 мая), к нему на Большую Московскую улицу, в дом № 6 пришел Достоевский с просьбой осудить организаторов грандиозных петербургских пожаров, которых Чернышевский «близко знал» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 319).

Обстановка в Петербурге была в то время весьма тревожной. Опустошительные пожары, начавшиеся 16 мая 1862 года и продолжавшиеся две недели, совпали с появлением (18 мая) прокламации «Молодая Россия», призывавшей к беспощадному, решительному, до основания, разрушению социального и политического строя России, истреблению господствующего класса («императорской партии») и царской фамилии. Ходили слухи и, вероятно, не без оснований, о причастности к поджогам революционной студенческой молодежи.

Все эти события, вероятно, и были предметом беседы Достоевского и Чернышевского, как о том свидетельствуют их воспоминания, хотя они и расходятся относительно повода посещения: Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, в главе «Нечто личное», называет таким поводом появление прокламации «Молодая Россия», а Чернышевский в более поздних воспоминаниях — петербургские пожары.

Но и в тех, и в других мемуарах современников предстает удивительно непосредственный, искренний и несколько наивный Достоевский, горячо любящий Россию и обеспокоенный ее судьбой.

Полемика с «Современником» была прервана на время арестом Чернышевского. Но Достоевский продолжал ее в своих художественных произведениях, и прежде всего в «Записках из подполья». Напряженная журнальная работа и все расширяющийся круг знакомых (среди них, кроме непосредственных сотрудников «Времени»,



композиторы А. Н. Серов, молодой Чайковский, П. П. Сокальский, профессор-философ М. И. Владиславлев, профессор-богослов А. Л. Катанский, писатель Г. П. Данилевский и многие другие, стремившиеся познакомиться с бывшим каторжанином) не заслонили для Достоевского главного в его жизни — творчества. «Нахожусь вполне в лихорадочном положении, — сообщает он А. Шуберт в 1860 году о работе над «Униженными и оскорбленными». — Всею причиной мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя литературная карьера». Роман печатался в первой половине 1861 года в журнале «Время» и в том же году вышел отдельным изданием.

В 1861–1862 годах в журнале «Время» были напечатаны «Записки из Мертвого дома» Достоевского — единственное, пожалуй, в мировой литературе художественное произведение, в котором писатель сумел полностью отразить свою биографию.

После «Записок из Мертвого дома» неизбежно должна была последовать повесть «Записки из подполья»; после ужаса принудительного общения на каторге писатель создает гимн свободе человека, после принудительного коллективизма Достоевский воспекает индивидуальное достоинство и свободу каждого человека.

Но «Записки из подполья» давались писателю нелегко. Умирает его первая жена Мария Дмитриевна, а брат Михаил, чувствуя, что дела их журнала «Эпоха» (он выходил после «Времени») идут неважно, торопит Достоевского, считая, что его новое произведение сможет придать вес «Эпохе» и укрепить пошатнувшееся положение издания. Писатель работает над повестью с мукой и отчаянием.

Первая часть «Записок из подполья» увидела свет в первом номере «Эпохи» за 1864 год. Вторая часть повести создавалась с еще большим трудом. «Мучения мои вся-

ческие теперь так тяжелы, — жалуется Достоевский брату, — что я и упоминать не хочу о них. Жена умирает буквально. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне... Писать же работа не механическая, и, однако ж, я пишу и пишу... Иногда мечтается мне, что будет дрянь, но, однако ж, я пишу с жаром; не знаю, что выйдет... Вот что еще: боюсь, что смерть жены будет скоро, а тут необходимо будет перерыв в работе. Если б не было этого перерыва, то, конечно, кончил бы».

Так в тревоге и отчаянии создавалось одно из самых загадочных и гениальных творений Достоевского.

Главное для человека — «живая жизнь», именно в ней коренится свободный акт человека. Достоевский вспоминает это выражение из трагедии Шиллера «Мессинская невеста» (1803), которого так блистательно переводил его брат Михаил.

Отныне это выражение «живая жизнь», ставшее для Достоевского символом свободной человеческой воли и достоинства человека как свободного в своем волеизъявлении существа, пройдет через все последующее творчество писателя. Но живой жизнью была и сама биография писателя в это время.

За два года работы в журнале «Время» Достоевский, по собственному признанию, написал до ста печатных листов. Записная книжка 1862—1863 годов наглядно свидетельствует, какой неимоверной ценой давалось это огромное напряжение: «Припадки падучей: 1 апреля — сильный; 1 августа — слабый; 7 ноября — средний; 7 января — сильный; 2 марта — средний».

Но не меньшего напряжения требовала и личная жизнь. Мария Дмитриевна не выдержала холодного и гнилого климата столицы и вынуждена была вернуться в Тверь. С этого момента их совместная жизнь нарушилась, они лишь изредка имеют подобие общего дома. а

чаще всего проживают на разных квартирах, в разных городах. 7 июня 1862 года, когда Достоевский впервые уезжает за границу, он едет один. Мария Дмитриевна находит предлог, чтобы остаться в Петербурге: нужно помочь сыну в подготовке к гимназическому экзамену (Паша Исаев оказался неуспевающим учеником). Но это был только предлог, возможно, для соблюдения приличий. У Достоевского была его собственная жизнь, к которой Мария Дмитриевна не имела никакого отношения. Она чахла и слабела. Он встречался с людьми, издавал и редактировал журналы «Время» и «Эпоха», а главное, писал.

За границу летом 1862 года Достоевский ехал с явным чувством радости и свободы. Однако в Европе его ждало полное разочарование — «страна святых чудес», о которой он грезил с молодости, оказалась кладбищем. Вся великая христианская культура была в прошлом — наступила эпоха буржуазно-мещанского капиталистического «рая», «благополучия», самодовольства. Страстный протест против такого рая, калечащего души, — вот основной пафос «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского, посвященных его заграничному путешествию. Именно во время этой поездки он начал играть в рулетку, и эта новая страсть поглотила его целиком. Никто не мог понять эту страсть писателя, и только его вторая жена Анна Григорьевна смогла разгадать ее.

После возвращения, в сентябре 1862 года, Достоевский нашел Марию Дмитриевну в очень плохом состоянии. С этого момента он трогательно заботится о ней, стараясь всячески облегчить ее страдания. Зимой она почти не выходила из своей комнаты и лежала по целым месяцам. Весной 1863 года ей стало так плохо, что врачи опасались за ее жизнь, и ей только чудом удалось выжить. При первой же возможности Достоевский отвез ее во Владимир, где климат был гораздо мягче. В одном из писем он так описывал невзгоды свои в это время:

«Болезнь жены (чахотка), расставание мое с нею (потому), что она, пережив весну (т. е. не умерев в Петербурге), оставила Петербург на лето, а может быть, и долее, причем я сам ее сопровождал из Петербурга, в котором она не могла более переносить климата».

Марию Дмитриевну Достоевский увидел только в октябре — и тут же принял решение везти ее в Москву: поселиться с ней в Петербурге было невозможно, а оставлять во Владимире тоже, по-видимому, было нельзя. Мария Дмитриевна была настолько измучена своей болезнью и вообще находилась в таком плохом состоянии, что даже переезд в близкую Москву представлялся затруднительным, почти опасным. «Однако по некоторым крайним обстоятельствам другие причины так настоятельны, — пишет Достоевский сестре своей жены, — что оставаться во Владимире никак нельзя».

Достоевский считал своим долгом облегчить жене последние месяцы ее жизни, а сделать это было, конечно, гораздо легче в Москве, чем в незнакомом провинциальном городе.

В начале ноября 1863 года супруги обосновались в Москве. Достоевский почти все дни и ночи проводил за письменным столом: у него возникает замысел «Игрока» и намечаются статьи для журнала «Эпоха». Но работалось тяжело. Мария Дмитриевна доживала последние дни. Она скончалась в Москве 15 апреля 1864 года. «Она столько выстрадала, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней». Эти слова из письма Достоевского были обращены к брату Михаилу, которого Мария Дмитриевна всегда считала своим «тайным врагом», а он, в свою очередь, тоже не любил ее и был уверен, что она загубила жизнь его гениального брата.

Образ Марии Дмитриевны можно узнать во многих произведениях Федора Михайловича: Наташа в «Униженных и оскорбленных», супруга Мармеладова в «Пре-

ступлении и наказании», в какой-то мере Настасья Филипповна в «Идиоте» и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Все эти лихорадочные, бледные и порывистые женщины напоминают о первой большой любви писателя — Марии Дмитриевне Исаевой.

Через год после смерти жены Достоевский писал своему семипалатинскому другу А. Е. Врангелю — единственному свидетелю их любви: «О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже, без меры, но мы не жили с ней счастливо... Мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру), — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу».

Возможно, Мария Дмитриевна быстро поняла, что она обречена, как чахоточная больная, и это сознание накладывало отпечаток на ее отношения с близкими. Если же говорить о Достоевском, то можно с уверенностью предположить, что писатель очень переживал, что брак с Марией Дмитриевной оказался бездетным. Может быть, Достоевский терзался мыслью, что когда-то в Семипалатинске Мария Дмитриевна предпочла ему учителя Вергунова, не поверив в унтер-офицера Достоевского, хорошо сознающего свое писательское призвание. Мария Дмитриевна, в свою очередь, вероятно не смогла забыть тот страшный припадок, случившийся у Достоевского почти сразу после венчания.

В том же письме от 31 марта 1865 года к Александру Егоровичу Врангелю Достоевский сообщал: «Существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла... Помяните ее хорошим добрым воспоминанием... Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно

чувствовал, что я хороноу с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уже год, а чувство все то же, не уменьшается».

Это признание тем более поразительно, что в последние годы жизни Марии Дмитриевны Достоевский любил другую женщину...

После одного из литературных чтений в Петербурге к писателю подошла стройная, молодая, очень женственная девушка, с большими серо-голубыми глазами, с красивыми чертами умного, волевого лица, с гордо закинутой головой, прекрасными рыжеватыми косами. Ее звали Аполлиария Прокофьевна Сулова. Отцом ее был крепостной крестьянин Прокофий Сулов, который еще до отмены крепостного права откупился у своего помещика и поселился в Петербурге, чтобы иметь возможность дать своим двум дочерям высшее образование. Старшая Аполлиария слушает в Петербургском университете лекции знаменитых профессоров, а младшая — Надежда — через несколько лет прославит свое имя как замечательный медик.

К моменту знакомства с писателем Аполлиарии Суловой был двадцать один год. Дочь писателя утверждает, что она написала осенью 1861 года Достоевскому «объяснение в любви» (*Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 86*). И хотя такое письмо не сохранилось, можно предположить, что Достоевский, действительно, получил его. Такое признание было в духе эпохи, в духе самой Аполлиарии — сделать первый шаг. Во всяком случае Достоевский пошел навстречу этому горячему молодому чувству, ответил ей, и они встретились. Писатель страстно влюбился в свою молодую сотрудницу — в сентябре 1861 года в журнале братьев Достоевских «Время» появился первый рассказ Аполлиарии Суловой «Покуда». Несовершен-

ный в художественном отношении, он привлек внимание редактора Федора Достоевского своей чистотой и по-детски наивной верой в возрождение освобожденной от «духовного крепостничества» женщины. (Спустя несколько лет аналогичная ситуация повторится с рассказом А. В. Корвин-Круковской «Сон» и последовавшей за публикацией этого рассказа встречей с ней Достоевского.)

Роман Достоевского с Сусловой развивался бурно. Аполлинару была активной сторонницей женской эмансипации, понимаемой в духе времени как раскрепощенность от любых уз, семейных, моральных, общественных и прочих, такой взгляд отвечал сути ее личности. Она не желала считаться с теми нормами и приличиями, которые считала пережитком и предрассудком. Отсюда ее готовность пойти на любой подвиг, тот самый максимализм, который, по мнению Достоевского, являлся исконной чертой русского характера. Максимализм этот проявлялся во всем, в том числе и в отношении к окружающим, прежде всего к избраннику сердца — писателю Достоевскому.

В то же время подобное пренебрежение всяческим условностями и максимализм породили в ней чисто женский эгоизм, безмерную гордость и необузданное самолюбие. Вполне вероятно, именно гордость сверх меры и своенравие, доходившие до эгоцентризма, и разрушили в конце концов любовь Аполлинару к Достоевскому.

Возможно, она ждала романтической любви, а встретила настоящую страсть немолодого мужчины (она не понимала, что для Достоевского любовь и страсть всегда были неразрывны), который к тому же подчинил их встречи своим литературным делам, семье и прочим обстоятельствам своей достаточно тяжелой и непростой жизни.

Он уверял, что больше не живет с женой, а сам постоянно о ней думал и принимал все меры предосторожности, чтобы не нарушать ее покоя. Она говорила,

что всю себя ему отдала, ни о чем не спрашивая и ни на что не рассчитывая, а он клялся, что любит, но не собиравшись расходиться с женой. (Она не понимала, что как бы ни любил ее Достоевский, не бросил бы тающую на глазах Марию Дмитриевну. Характерно, что через двадцать лет на вопрос, почему она в конце концов разошлась с Достоевским, Сулова ответила: «Потому что он не хотел развестись со своей женой, чахоточной. "так как она умирает"» (*Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 154.*))

Кризис в их отношениях наступил, очевидно, весной 1863 года, когда Аполлиария поехала за границу. 26 августа 1863 года Достоевский приезжает в Париж и полный радости от предстоящей встречи с Аполлиарией идет к ней. Но его ждет тяжелый удар. Аполлиария изменила ему в Париже с испанским студентом Сальвадором, молодым красавцем с «гордым и самоуверенно дерзким лицом». Тот вскоре ее бросает, для него это — лишь мимолетное развлечение. Повторяется ситуация первой большой любви Достоевского, когда Мария Дмитриевна в какой-то момент перед их свадьбой предпочла ему молодого и красивого учителя Вергунова. Снова претворяется в жизнь сюжет «Униженных и оскорбленных», и Достоевский, как и герой этого романа Иван Петрович, утешающий Наташу, уже становится другом и братом Аполлиарии и по-братски успокаивает и утешает ее, пытаясь уладить ее сердечные дела.

Из Парижа Достоевский и Аполлиария уезжают в Баден-Баден, и их заграничное путешествие предваряет драматическую ситуацию «Игрока». Об их новых отношениях, когда Аполлиария ведет любовную дуэль рассчитанно и коварно и ее любовь постепенно превращается в ненависть, можно судить по ее дневнику: *Сулова А. П. Годы близости с Достоевским: Дневник — повесть — письма. М., 1928.*



Но даже если допустить эмоционально преувеличенный характер ее дневниковых записей, мы не сможем проникнуть в последнюю тайну этой любви—ненависти, как не можем до конца понять тайну несчастного брака Достоевского и Марии Дмитриевны. Мы можем только попытаться.

Их вражда могла питаться и несомненно питалась глубокими идейными расхождениями между верующим монархистом Достоевским, каким он вернулся после каторги, и страстной нигилисткой Суловой, неистово отрицавшей весь «старый мир» и даже готовой примкнуть к антиправительственному террору.

Обратим внимание на то, что «антидостоевские» дневниковые записи сделаны Суловой в то время, когда Достоевский продолжал ее страстно любить, о чем она прекрасно знала. Мало того, эти записи сделаны после 15 апреля 1864 года, когда умерла Мария Дмитриевна и Достоевский уже делал Аполлинару предложение стать его женой: иначе он и не мыслил себе отношений с любимой женщиной. Он простил ей Сальвадора и готов был простить кого угодно, так как любил ее.

Но на неоднократные предложения стать его женой Сулова каждый раз отвечала отказом. Аполлинару нравилось мучить его, ибо она знала, «какой он великодушный, благородный! какой [у него] ум! какое сердце!», как записала она в том же дневнике о Достоевском (*Сулова А. П. Годы близости с Достоевским... М., 1928. С. 48*).

Думается, в том, что любовь превратилась в ненависть, виновата прежде всего и главным образом Аполлинурия. В натуре ее сидел изначально какой-то бесмучительства, и она это отлично сознавала, когда, например, писала в дневнике: «Мне кажется, я никого никогда не люблю» (*Сулова А. П. Годы близости с Достоевским... М., 1928. С. 57*). У нее с самого начала

было двойственное отношение к Достоевскому, и искреннее чувство к нему сочеталось всегда с такой же искренней жестокостью и деспотизмом.

А быть может, эти дневниковые «антидостоевские» записи в сентябре и декабре 1864 года объясняются тем, что Достоевский, прекрасно видя ее в беспощадном свете правды (это, естественно, не мешало ему страстно любить ее), имел неосторожность выложить ей всю эту беспощадную правду.

Во всяком случае, из письма в 1865 году Достоевского к сестре Аполлинии Надежде Прокофьевне Сусловой, в котором он очень откровенно исповедуется, видно, что он действительно «осмелился» сказать своей возлюбленной правду о ней: «Аполлиния — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей *всего*, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостойн был любви ее, жалуется и упрекает меня непрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: “Ты немного опоздал приехать”, т. е. что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она прислала мне в гостиницу с грубой фразой: “ты немножко опоздал приехать”... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви.

Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет [себя] от всех обязанностей, тот никогда не найдет счастья.

Может быть, письмо мое к ней, на которое она жалуется, написано раздражительно. Но оно не грубо.

Она в нем считает грубостью то, что я осмелился говорить ей наперекор, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала всегда свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней вовсе нет человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор. Зачем она меня мучает? Не люби, но и не мучай».

Последний раз Аполлинару и Достоевский виделись весной 1866 года. Любовь их пришла к концу, хотя переписка еще продолжалась почти год, и каждый раз письма Сусловой приводили Достоевского в волнение. Но писатель оказался пророком: Полина Сулова, действительно, «вечно была несчастна» и никогда не нашла себе «друга» и «счастья».

Сулова оставила значительный след в творчестве Достоевского. От нее берут свое начало образы «инфернальных» женщин писателя (Настасья Филипповна в «Идиоте», Грушенька в «Братьях Карамазовых», Лиза в «Бесах» и т. д.), а историю своей «роковой» любви Достоевский поведал в романе «Игрок».

Исследуя историю второй большой любви писателя, не следует забывать слова самого Достоевского, в передаче А. Е. Врангеля, сказанные им, скорее всего, о своем несчастном браке с Марией Дмитриевной (Врангель не знал о любви писателя к Сусловой), но имеющие явно отношение и к Аполлинару, тем более что слова эти относятся к 1865 году: «Будем всегда благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина» (*Врангель А. Е. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири 1854–1856 гг.* СПб., 1912. С. 216).

Любовь к Сусловой не мешала напряженной работе в журнале «Время». В 1863 году вспыхивает польское восстание. В апрельской книге «Времени» Н. Н. Страхов печатает статью «Роковой вопрос», в которой доказывает,

что бороться с поляками внешними силами недостаточно: победа над ними должна быть морально оправдана. И хотя статья была вполне патриотической и благопристойной, но ее тема оказалась недозволенной, и журнал «Время» был закрыт.

Наступает трагический для Достоевского 1864 год. С большим опозданием приходит разрешение на издание нового журнала «Эпоха». Однако подписка срывается, так как объявление о новом периодическом органе появляется в петербургской печати только 31 января 1864 года, а сам январский номер выходит только в марте, причем приводит братьев Достоевских в отчаяние своим ужасным внешним видом. Но главное, нет наличных денег — нечем платить типографии, сотрудникам, авторам: приходится все делать в кредит. Напрягая последние силы, в каком-то лихорадочном возбуждении, Федор Михайлович и Михаил Михайлович продолжают выпускать «Эпоху».

Вернувшись из Москвы после похорон Марии Дмитриевны, Достоевский поселяется на той же *Малой Мещанской*, в угловом доме Евреинова (ныне *Казначейская*, 9).

К смерти жены Достоевский был готов, как и к тому, что ему еще много лет придется поднимать и содержать пасынка Пашу Исаева, который не выражал никакого желания ни учиться, ни трудиться.

Но впереди Достоевского поджидал новый страшный и на этот раз совсем неожиданный удар: 10 июля 1864 года в 7 часов утра в Павловске под Петербургом, у себя на даче, скорострительно скончался Михаил Михайлович Достоевский — духовно самый близкий писателю человек из всей большой их семьи, неоднократно поддерживавший его материально и морально, единственный среди братьев и сестер Достоевских, безоговорочно обожавший и боготворивший своего гениального брата. (Отныне

Павловск, где Достоевский часто бывал у брата, будет овеян в его петербургских романах и, главным образом, в «Идиоте» какой-то элегической грустью и тоской.)

После смерти брата остается его большая семья, и Достоевский берет на себя обязательства помогать его вдове и детям до тех пор, пока они не смогут обеспечить себя сами. Достоевский решает продолжать «Эпоху», работая с нечеловеческой энергией. 1 ноября 1864 года критик А. П. Милюков сообщал писателю Г. П. Данилевскому: «...Много воды утекло с того времени, как мы виделись с вами. Вот и М. М. Достоевский отправился в Елисейские. Это был такой неожиданный удар для его семьи и приятелей. Болезнь его началась разливом желчи и при других обстоятельствах кончилась бы, конечно, благополучно. Но разные беспокойства, особенно со стороны цензуры, которые сильно тревожили его, дурно действовали на ход болезни — отравленная желчь бросилась на мозг, и он, пролежав три дня в беспамятстве, умер. “Эпоха”, как вы знаете, продолжает издаваться его семейством, т. е. собственно Федор Михайлович издает ее под номинальной редакцией Порецкого (это один из старых знакомых и сотрудник по отделу внутренних известий)... Федор Михайлович был при больном постоянно... Вот какой год выпало на семью: весной умерла жена Федора Михайловича, потом у Михаила Михайловича дочь, а летом и сам он. Вы спрашиваете: кто будет главным двигателем “Эпохи”? Конечно, Федор Михайлович, с прежними сотрудниками...» (РНБ, ф. 236, ед. хр. 104). Достоевский работает с отчаянной энергией, выпуская по две книжки журнала в месяц. Но вдруг новый удар: умирает ближайший сотрудник и единомышленник писателя, прекрасный русский критик и поэт Аполлон Григорьев. Несмотря на все старания Достоевского, уровень «Эпохи» резко падает, и в июне 1865 года этот журнал прекратил свое существование.

После закрытия выясняется, что у брата накопилась огромная по тем временам сумма долга кредиторам — тридцать три тысячи рублей (за бумагу, типографию, переплет и т. п.). Достоевский берет на себя обязательство рассчитаться с этими долгами. И это поразительно, если учесть, что кроме литературного творчества у него не было других источников дохода: значит, он верил в свои творческие возможности, еще не реализованные, в свою «кошачью живучесть». В марте 1865 года Федор Михайлович писал А. Е. Врангелю: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась надвое... О, друг мой, я охотно бы пошел опять на каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро... А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть!»

После смерти жены и брата Достоевский чувствует себя бесконечно одиноким, ищет любви, делает попытку жениться, мечтает о семье, детях. Увлечение в конце 1864 — начале 1865 года близкой подругой сотрудника своих журналов П. Горского Марфой Браун не было продолжительным и не оставило никакого следа в духовной биографии Достоевского.

Гораздо более значительным и плодотворным для творческой жизни писателя было другое увлечение. Летом 1864 года, как редактор «Эпохи», Федор Михайлович получил из имения Палибино Витебской губернии от некой Анны Васильевны Корвин-Круковской (1843—1887) рассказ «Сон» с сопроводительным письмом автора. Ее отец, генерал-лейтенант Василий Васильевич Корвин-Круковский (1800—1875), выйдя в отставку, поселился в своего родовом имении Палибино. У него родились две дочери — Анна и Софья, будущий выдающийся математик Софья Ковалевская (1850—1891).

Несколько экзальтированная, мечтательная и романтическая Анна, восторгавшаяся произведениями Достоевского и горько сожалевшая о его трагической судьбе, решила стать писательницей и тайком от всех своих домашних послала свой первый рассказ редактору «Эпохи». В этом рассказе речь шла о молодой девушке, которой светские предрассудки помешали полюбить нищего студента. Но вот ей снится вещий сон, помогающий осознать свои подлинные чувства. Она прозревает, но поздно: студент уже умер, а вскоре умирает и она сама. Особыми художественными достоинствами рассказ не отличался, а местами был просто слаб, но в нем была искренность и непосредственность, а приложенное письмо дышало такой чистотой и свежестью, что Достоевский решил напечатать рассказ в журнале и сразу же ответил автору.

Однажды сестры остались вдвоем в палибинском доме и Анюта сказала Софье: «Послушай, если ты обещаешь, что никому никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет» (*Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 91*). И Анюта вытащила из своего заветного ящичка конверт с красной печатью журнала «Эпоха». На листе крупным почерком было написано: «Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо Ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присланного Вами рассказа.

Признаюсь Вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам свои литературные опыты на оценку. В Вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но по мере того, как я читал, страх мой рассеялся и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искрен-

ности и теплоты чувства, которыми проникнут Ваш рассказ <...> Рассказ Ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же номере моего журнала <...> Преданный Вам Федор Достоевский».

После смерти жены и брата, изнемогая под гнетом обрушившихся на него материальных невзгод, Достоевский чувствовал бесконечное одиночество, все как-то вокруг него стало холодно и пустынно — и вдруг, как луч света, письмо и рассказ от чистой и романтической девушки из далекого Палибино.

В ближайшем номере «Эпохи» рассказ «Сон» был напечатан. Между редактором и автором завязалась тайная переписка через палибинскую экономку и петербургскую подругу Анны Васильевны, дочь петербургского дворцового коменданта А. М. Евреинову. Переписка велась тайно, чтобы не вызвать гнев отца — генерала, для которого женщины-писательницы, по словам его младшей дочери, были олицетворением всякой мерзости, он считал каждую из них способной на все дурное.

Катастрофа разразилась совсем неожиданно, когда генералу случайно попало на глаза письмо со штемпелем журнала на имя палибинской экономки, в котором был приложен гонорар за рассказ «Сон». Мысль о том, что его родная дочь может переписываться с незнакомым мужчиной, старше ее в два раза, бывшим каторжником, да еще получать от него деньги, показалась старому царскому генералу настолько чудовищной и позорной, что ему стало дурно.

В доме произошел грандиозный скандал. Однако в конце концов этот типичный для русских дворянских семейств 1860-х годов конфликт между отцами и детьми завершился победой детей. Генерал согласился выслушать рассказ в чтении дочери, не нашел в нем ничего предосудительного и, растрогавшись, сменил гнев на милость. Отец разрешил Анюте переписываться с Досто-



евским, правда, просил показывать ему письма. Но самая большая радость — отец позволил дочери познакомиться лично с писателем во время ближайшей поездки в столицу. Сам генерал не мог отлучиться из имения и поэтому предупредил жену: «Помни, что на тебе будет лежать ответственность. Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным» (*Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 99*).

Когда в конце февраля 1865 года Аня и Софья вместе с матерью оказались в Петербурге, в доме своих тетушек, на Васильевском острове, Аня сразу же пригласила Достоевского в гости. Однако первое свидание оказалось неудачным. И мать, и тетушки поняли буквально наказ генерала ни на минуту не оставлять дочерей наедине с бывшим каторжником и весь вечер просидели в одной с ними комнате. К тому же они первый раз в жизни видели писателя и смотрели на него, как на редкого зверя.

А Достоевского это страшно раздражало и злило, и, как это часто бывало в подобных случаях, он отвечал односложно, с преднамеренной грубостью и вел себя не как светский человек. Спустя пять дней он неожиданно пришел снова на Васильевский остров. Ни матери, ни тетушек не оказалось дома, он почувствовал себя совсем раскованно, шутил, смеялся, много рассказывал и совершенно очаровал обеих сестер, а пятнадцатилетняя Софья даже влюбилась в него. Для нее он был прежде всего великим страдальцем — бывшим каторжником и ссыльным.

Так воспринимала Достоевского радикально настроенная петербургская молодежь 1860-х годов, особенно после одного эпизода, имевшего место примерно за год до встречи писателя с сестрами Корвин-Круковскими.

В это время Достоевский часто бывал в доме одной из будущих пионерок женского медицинского образования в России Надежды Прокофьевны Суслевой (1843–1918). Сохранились воспоминания об одном горячем споре в этом доме между Достоевским и радикальными студентами-медиками тех лет. «Достоевский говорил о будущем русского народа, — пишет мемуарист, — о том, что ему нужно, о его исконных чертах души, развивал те идеи, которые позже выразил в своих творениях. Славянофильская окраска идей Достоевского, с религиозно-мистическим настроением, тогда уже вполне определившимся, — не удовлетворяла его собеседников, “положительно” мыслящих в духе материализма. Один из студентов, особенно азартный оппонент — в упор задал Достоевскому вопрос в такой резкой и прямолинейной формулировке: “Да кто вам дал право так говорить от имени русского народа и за весь народ?!” Достоевский быстрым, неожиданным движением открыл часть ноги и кратко ответил изумленной публике, указывая на следы каторжных оков: “Вот мое право!”» (*Перетц В. Н.* Из воспоминаний: Достоевский // *Однодневная газета Русского библиолог. об-ва.* Пг., 1921. С. 9–10).

Сестер Корвин-Круковских поразила с первых же встреч пронзительная откровенность Достоевского. Он рассказал им о своей казни на Семеновском плацу, когда, ожидая расстрела, увидел, что солнце вышло из-за туч, и смотрел неотрывно на эти яркие лучи, думая, что через пять минут сольется с ними.

Рассказал сестрам о своей болезни — эпилепсии, которая, по его словам, началась в ссылке, в Семипалатинске, в пасхальную ночь, когда он, страшно возбудившись, спорил со своим товарищем-атеистом о Боге: есть Бог или нет Его?

Рассказывая, он не замечал, с каким обожанием и восторженной любовью подростка смотрит на него млад-

шая сестра Соня (Софья Ковалевская осталась верна своей детской влюбленности, навсегда сохранив к писателю чувство глубокого поклонения и величайшей признательности). Достоевский обращался только к старшей сестре Ане, покоренный красотой этой высокой и стройной девушки, с прекрасным цветом лица, глубокими зелеными глазами и шелковистыми белокурыми волосами.

Он был так покорен, так очарован ее молодостью и чистотой, что это свое очарование принял за любовь и уверил в своей любви не только себя, но и ее тоже. (Возможно, здесь сыграл свою роль принцип контраста, светотени: после всего, что Достоевский пережил в отношениях со своей первой женой Марией Дмитриевной и особенно в страстном романе с Полиной Суловой, Анна Корвин-Круковская представлялась ему полной противоположностью.)

Однажды вечером, когда писатель и Анна остались вдвоем, он сказал ей о своих чувствах и просил стать его женой. По свидетельству Софьи Ковалевской, Анна Васильевна сразу же после предложения говорила сестре: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем думать. А я этого не могу, я сама хочу жить» (Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 120).

Какие пророческие слова, будто прямо адресованные второй жене писателя Анне Григорьевне! Именно ей на вопрос, почему не состоялась его свадьба с А. В. Корвин-Круковской, Достоевский ответил: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она — чрезвычайно умна, развита, литературно образована и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли по-

этому наш брак мог быть счастливым... От всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива!» (*Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 89).

Через несколько лет Анна Васильевна вышла замуж за француза-революционера Шарля-Виктора Жаклара. Во второй половине 1870-х годов, когда Анна Васильевна вместе с мужем оказалась в Петербурге, она часто навещала семью Достоевского, а тот, в свою очередь, любил захаживать к ней. При этом они никогда не испытывали чувства ревности по отношению друг к другу. И это говорит о том, что их весенний роман марта—апреля 1865 года, начавшийся с публикации рассказа «Сон» в журнала «Эпоха», не отличался ни глубиной, ни страстью, а был просто литературной дружбой, хотя и довольно продолжительной и повлиявшей на творчество писателя. Так, некоторые черты психологического и нравственного облика А. В. Корвин-Круковской можно узнать в Аглае в «Идиоте», Ахмаковой в «Подростке» и Катерине Ивановне в «Братьях Карамазовых».

Через полтора года после первой встречи с Анной Васильевной Достоевский писал ей, что познакомился с удивительной девушкой, которая согласилась выйти за него замуж. Этой девушкой была двадцатилетняя стенографистка Анна Григорьевна Сниткина.

Но этому знакомству предшествовала работа Достоевского над своим величайшим созданием — романом «Преступление и наказание».

«Преступление и наказание», задуманное первоначально в форме исповеди Раскольниковова, вытекает из духовного опыта каторги, где Достоевский впервые столкнулся с «сильными личностями», стоящими вне морального закона. «Вынашивание» замысла продолжалось шесть лет. За эти шесть лет Достоевский написал «Униженных и оскорбленных», «Записки из Мертвого дома»

и «Записки из подполья». Главные темы этих произведений — тема бунта и тема героя-индивидуалиста — синтезировались затем в «Преступлении и наказании».

8 июня 1865 года, прося денег у А. А. Краевского, Достоевский предлагал ему для «Отечественных записок» свою новую работу: «Роман мой называется "Пьяненькие" и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но и представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч.»

11 июня Краевский ответил Достоевскому отказом — ввиду отсутствия у редакции денег и наличия большого запаса беллетристики. 2 июля 1865 года, испытывая тяжелую нужду, Федор Михайлович вынужден был заключить кабальный договор с петербургским издателем Федором Тимофеевичем Стелловским. За те же три тысячи рублей, которые Краевский отказался заплатить, Достоевский продал Стелловскому право на издание полного собрания сочинений в трех томах да еще обязался написать для него новый роман объемом не менее десяти листов к 1 ноября 1866 года. А если бы писатель не представил роман к этому сроку, то терял бы на 9 лет права на все свои литературные произведения в пользу Стелловского.

Этот кабальный договор позволил Достоевскому выплатить самые неотложные долги и бежать в конце июля 1865 года со 175 рублями за границу от кредиторов и долговой тюрьмы. Он хочет спокойно поработать над своим первым гениальным произведением.

Оставив «Пьяненьких», Достоевский в Висбадене задумал повесть, замысел которой явился зерном будущего «Преступления и наказания». В сентябре 1865 года Достоевский решил предложить новую повесть московскому журналу «Русский вестник» и в письме к издателю этого журнала М. Н. Каткову Достоевский излагает

подробную программу своего произведения, его главную идею.

Достоевский продолжает усиленно работать над планом новой повести в Висбадене, затем на пароходе, возвращаясь в Петербург из Копенгагена, где он гостил неделю у своего семипалатинского друга Врангеля. В Петербурге повесть незаметно перерастает в большой роман, и Достоевский решает пожертвовать всем уже написанным и начать все сначала. Главы нового труда в середине декабря 1865 года Достоевский отправил в «Русский вестник». Первая часть «Преступления и наказания» уже появилась в январском номере журнала за 1866 год, однако полностью роман еще не был завершен. Работа над дальнейшим текстом продолжалась весь 1866 год.

Успех первых книжек «Русского вестника» с «Преступлением и наказанием» обрадовал и окрылил Достоевского. 29 апреля 1866 года он пишет своему другу, священнику И. Л. Янышеву: «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтоб кончить его хорошо».

Весной 1866 года Достоевский, как он писал 9 мая Врангелю, собирался уехать в Дрезден и «засесть там на 3 месяца и кончить роман, чтоб никто не мешал». Но многочисленные притязания кредиторов не дали возможности «сбежать» за границу, и лето 1866 года Достоевский проводит в подмосковном селе Люблине, у своей сестры Веры Михайловны Ивановой.

Однако в Люблине Достоевский оказался вынужденным одновременно с «Преступлением и наказанием» думать над другим романом, обещанным издателю Стелловскому. Писатель решается на невероятный, фантастический план, который излагает в письме к А. В. Корвин-Круковской от 17 июня 1866 года: «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца

30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку. Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, что до сих пор мне вот такие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей... Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я *постоянно* пишу, Тургенев умер бы от одной мысли. Но если б вы знали, до какой степени тяжело портить мысль, которая в вас рождалась, приводила вас в энтузиазм, про которую вы сами знаете, что она хороша, и быть принужденным портить, и сознательно!»

Достоевский совершил писательский подвиг: он «сделал небывалую и эксцентрическую вещь», правда, не в четыре, а в шесть месяцев. В Люблине был составлен план «Игрока» — романа для Стелловского — и продолжалась работа над «Преступлением и наказанием» для «Русского вестника» Каткова. Однако, возвратившись в Петербург, Достоевский совсем забыл об обязательстве Стелловскому: за месяц до истечения срока контракта ни одной строчки «Игрока» еще не было написано. Писатель весь во власти своего гениального романа, который почти весь 1866 год печатался в «Русском вестнике».

Роман «Преступление и наказание» произвел большое впечатление на современников. Но радость Достоевского была омрачена невыполненным обязательством перед Стелловским...

Хороший знакомый писателя, педагог и литератор Александр Петрович Милюков вспоминает, что зашел к Достоевскому 1 октября 1866 года, когда до срока сдачи нового романа Стелловскому оставался ровно месяц, а он еще не был начат.

Милюков предложил каждому из их приятелей дать возможность написать по главе с тем, чтобы Достоевский

соединил потом эти главы, но Федор Михайлович наотрез отказался от такого плана.

Тогда Милюков предложил взять стенографа. «Это другое дело, — согласился Достоевский, — я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно... Спасибо вам, необходимо это сделать, хоть и не знаю, сумею ли. Но где стенографиста взять? Есть у вас знакомый?» (Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 231).

Милюков слышал про стенографические курсы П. М. Ольхина и решил обратиться к нему за помощью...

В ясное, по-петербургски холодное утро 4 октября 1866 года скромно одетая девушка подошла к дому купца Алонкина на углу Малой Мещанской улицы и Столярного переулка. Накануне, во время занятий на курсах стенографии, преподаватель Павел Матвеевич Ольхин предложил ей срочную работу у литератора Достоевского.

Достоевский проживал в этом доме купца Алонкина на углу *Малой Мещанской* и *Столярного переулка* (ныне *Казначейская улица, дом 7*, здание перестроено, сейчас здесь установлена мемориальная доска) с августа 1864 по январь 1867 года.

В конце 1864 года в этом доме Достоевского навещает начинающая писательница и переводчица Аделаида Гавриловна Шиле (1842–1919). Она пришла к Достоевскому в тот день, когда у него начался припадок эпилепсии. «Как сейчас помню, в 10 ч. утра (как он мне назначил), я вошла в небольшую комнату, — вспоминает А. Г. Шиле, — рядом с кабинетом Федора Михайловича и застала его сидевшим перед ломберным столом, спиной к дверям, барабанившим пальцами по столу и тихо напевавшим французский романс: “Et rose, elle a vécu, Ce que vivent les roses, L’espace d’un matin” [И роза, она прожила, сколько живут розы, — одно лишь утро (франц.)].



Он так был углублен в свои мечты о чем-то, что не слышал моих шагов. Я подошла к нему, он был страшно бледен и, видимо, не узнал меня, хотя смотрел на меня в упор какими-то странными глазами... Не прошло и десяти минут, как с Федором Михайловичем начался припадок эпилепсии. Лицо его совершенно исказилось, он бился головой о кресло, на котором сидел, изо рта показалась пена и раздался такой хрип, что я испытывала ужас. Но отойти от него не решилась, из боязни, чтобы с ним не случилось чего-нибудь горшшего...» (Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 173).

Пожалуй, ни с кем из своих многочисленных домовладельцев Достоевский не был так близок, как с потомственным почетным гражданином, торговцем чаем Иваном Максимовичем Алонкиным (умер в 1875 году). Может быть потому, что его дом был самый счастливый в творческой и личной жизни писателя: здесь создан первый из пяти гениальных романов — «Преступление и наказание», здесь он обрел наконец-то личное счастье. И снова это угловой дом, и снова Малая Мещанская, уже в третий раз. Достоевский как бы готовится к «Преступлению и наказанию», все действие которого происходит в этом районе. Балкон писателя выходит и на Малую Мещанскую, и на Столярный переулок. С этого балкона можно было видеть, как Раскольников идет на преступление.

Вторая жена писателя А. Г. Достоевская вспоминает, что выгоды квартиры в доме Алонкина заключались в том, что «хозяин дома, богатый купец Алонкин, очень почитал Федора Михайловича, как "великого трудолюбца", как он про него выражался. — "Я к заутрене иду, а у него в кабинете огонь светится, — значит, трудится", — говаривал он, — и никогда не беспокоил напоминанием о квартирной плате, зная, что, когда будут

деньги, Федор Михайлович сам их принесет. И Федор Михайлович любил беседовать с почтенным стариком. С его внешности, по моему мнению, Федором Михайловичем нарисован купец Самсонов, покровитель Грушеньки в «Братьях Карамазовых» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 106).

Алонкин упомянут в подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию»: «К роману: сыскать и выпустить в роман русского купца (Бабушкина) Алонкина, фабриканта, чтоб он потом место Разумихину в 3000 дал». Известно одно письмо Достоевского к Алонкину от 13 апреля 1867 года и два письма Алонкина к Достоевскому от 31 марта 1865 года и 19 марта 1874 года...

Получив от П. М. Ольхина адрес Достоевского, стенографистка плохо спала всю ночь. Конечно, она страшно радовалась и была бесконечно счастлива, что будет работать у своего любимого писателя. А с другой стороны, ее пугало, что завтра придется разговаривать с таким ученым и умным человеком: а вдруг он заговорит с ней о литературе, о своих произведениях, спросит ее мнение о них?

Впоследствии она признавалась, что ни с чем нельзя было сравнить то волнение, которое она испытывала, идя к своему кумиру. Надо сказать, что все писатели представлялись стенографистке какими-то неземными, высшими существами, а автор «Преступления и наказания» и подавно. Натура ее всегда требовала поклонения чему-то высшему, и еще до 4 октября 1866 года таким высоким и святым для нее стал Достоевский. За несколько месяцев до смерти она призналась, что любила Достоевского еще до встречи с ним (Ковригина З. С. Последние месяцы жизни А. Г. Достоевской // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Л., 1924. Сб. 2. С. 584)...

Стенографистку звали Неточка (Анна Григорьевна) Сниткина. Ей только что исполнилось двадцать лет. Это

была невысокая худощавая девушка с овальным лицом и очень хорошими, пронзательными и глубокими серыми глазами. Подруги хвалили ее открытый лоб, чуть-чуть выступающий волевой подбородок, пепельные волосы. Ее отец, недавно умерший мелкий чиновник Григорий Иванович Сниткин, большой почитатель таланта Достоевского, сумел и дочери привить любовь к его творчеству. Мать, Анна Николаевна Сниткина — обрусевшая шведка финского происхождения, от которой Анна Григорьевна, вероятно, унаследовала решительность, целеустремленность и собранность. Анна Григорьевна жила у матери на Костромской улице у Смольного.

Поднявшись по невзрачной лестнице на второй этаж, девушка позвонила в квартиру № 13 (сейчас во дворе, направо, квартира № 11). Дверь открыла пожилая служанка в драдедамовом платке. «Не в этот ли самый “семейный драдедамовый платок” куталась Соня Мармеладова», — невольно подумала стенографистка (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 49–50*).

Достоевский жил вместе со своим пасынком Пашей Исаевым и преданной прислугой Федосьей. Обстановка была скромной, даже бедной. В скудно меблированном (диван, зеркало и письменный стол) кабинете висел портрет сухощавой дамы в черном платье: Марии Дмитриевны Исаевой.

Странным показался скромной стенографистке знаменитый хозяин петербургской квартиры номер 13 на углу Малой Мещанской и Столярного. Измученное, болезненное лицо, светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы, щедро напомаженные, и что особенно ее поразило — совершенно разные глаза (она не знала, что во время приступа эпилепсии Достоевский, падая, наткнулся на острый предмет и сильно поранил правый глаз).

В 1883 году Анна Григорьевна вспоминала о первой встрече с Федором Михайловичем: «Ни один человек в

мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович в первое наше свидание. Я видела перед собою человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу; человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда. Мне было бесконечно жаль его» (*Достоевская А. Г. Первая встреча // Неделя, 1971, № 38*).

Стенографистку направили помогать писателю в особо трагический момент его жизни: через двадцать шесть дней истекал срок сдачи нового романа «Игрок» издателю Федору Тимофеевичу Стелловскому. Хитрый издатель, постоянно подстерегавший русских писателей и музыкантов в особо тяжелые минуты их жизни (так он «подловил» А. Ф. Писемского, В. В. Крестовского и всего за 25 рублей купил права на издание сочинений М. И. Глинки), был уверен, что Достоевский не сдаст роман к 1 ноября. Он прекрасно был осведомлен, что Достоевский больной человек, что припадки эпилепсии, случавшиеся раз или два в месяц, выбивали писателя из колеи (очередной припадок был за день до прихода стенографистки — вот почему он показался ей нервным и рассеянным), не давая ему возможности нормально работать. Но все же главную ставку расчетливый издатель делал не на болезнь Федора Михайловича и не на долговые обязательства, хотя они были тяжелы. Прежде чем подписать с писателем контракт, Стелловский успел через своих агентов выяснить, что тот уже работает над романом «Преступление и наказание» для «Русского вестника», а писать одновременно другой роман, да еще объемом в 10 печатных листов, дело вряд ли возможное.

Всю вторую половину 1865 года и первые девять месяцев 1866 года Достоевский усиленно работал над «Преступлением и наказанием». Эта работа настолько

захватила его (он сознавал, что рождающееся произведение нечто качественно иное, находящееся на более высокой ступени по сравнению с ранее созданным), что невольно порой он забывал о втором романе и не мог переключиться на него.

В тот день, когда молоденькая стенографистка Нечка Сниткина пришла помогать ему, «Игрок» существовал лишь в черновых набросках и планах, вся надежда была только на нее. «Преступление и наказание» было временно отложено (Достоевский предупредил редакцию «Русского вестника», что весь октябрь будет работать над другим романом), и началась ожесточенная борьба писателя и его юной помощницы с издателем-хищником. Тяжелое впечатление, оставшееся у Анны Григорьевны от первой встречи с Достоевским, рассеялось, когда она пришла к нему во второй раз, вечером. Он вдруг разговорился и увлекся воспоминаниями, как с ним часто бывало, если он имел дело с искренними и благодарными слушателями. И тогда собеседников писателя, особенно тех, кто видел его первый раз в жизни, поражали его пронзительная откровенность и доверчивость. Так было и на этот раз. Девушка была удивлена и потрясена его рассказом о казни петрашевцев на Семеновском плацу.

Стенографистка сначала не поняла причину доверчивости и откровенности недавно еще столь скрытного и угрюмого человека. Но ее недоумение длилось недолго. Скоро ей удалось разгадать причину его доверчивости и откровенности. Она почувствовала, что он бесконечно добрый и замечательный человек, но страшно одинокий и очень нуждается в душевном тепле и участии, так как жизнь оборачивалась к нему до сих пор теневой стороной.

С 4 октября 1866 года они ежедневно работали по несколько часов. Он писал по ночам, а днем диктовал ей написанное. Вечером у себя дома Анна Григорьевна разбирала и переписывала начисто стенограмму, а на

другой день Достоевский окончательно исправлял приготовленные ею листы. Оба были предельно напряжены. Вскоре выяснилось, что работа идет успешно: «Игрок» мог поспеть к сроку. Неточка Сниткина не жалела ни времени, ни сил, чтобы помочь писателю. Ее страшно возмутил его рассказ о грабительском контракте со Стелловским, и она решила во что бы то ни стало спасти его от разорения.

Писатель и стенографистка так привыкли друг к другу за время совместной работы, что оба искренно огорчились, когда роман стал подходить к концу. Достоевский не хотел расставаться с Неточкой, и не только потому, что она была отличной стенографисткой. Он почувствовал в Анне Григорьевне доброе сердце. В одном из писем этого времени он сообщает: «Стенографистка моя, Анна Григорьевна, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно...»

29 октября 1866 года Достоевский продиктовал Анне Григорьевне заключительные строки «Игрока». За двадцать шесть дней был создан роман в десять печатных листов — случай невиданный в мировой литературе! Он прекрасно понимал, что без помощи Анны Григорьевны не смог бы осуществить подобное: ведь это она убедила его продлить стенографические сеансы и ночи напролет переписывала застенографированное. Но Неточка Сниткина спасла его и вторично. Оказывается, 30 октября, когда писатель повез рукопись романа в контору Стелловскому, вручить ее он не смог. Узнав, что Достоевский работает со стенографисткой и может успеть сдать роман в срок, Стелловский намеренно уехал из Петербурга, а служащие его конторы отказались взять рукопись у писателя. По совету Анны Григорьевны (она попросила мать выяснить у знакомого адвоката правовую сторону

вопроса) Достоевский буквально за несколько часов до истечения назначенного срока передал рукопись «Игрока» для издателя через пристава полицейской части, где проживал Стелловский (на Большой Морской), получив расписку.

Расстаться с такой девушкой Федору Михайловичу очень не хотелось, и он предложил ей после недельного отдыха продолжить с ним работу над последней частью и эпилогом «Преступления и наказания», да еще напросился к ней в гости.

А потом все было так, как только и могло быть с Достоевским: он приехал к ней в гости на Костромскую улицу к Смольному 3 ноября 1866 года не в семь часов, как было условлено, а в половине девятого; извозчик его, оказывается, полтора часа искал улицу, где она жила, хотя найти ее было совсем просто.

А затем 6 ноября писатель вторично, на этот раз неожиданно, приезжает к своей стенографистке. А она, оказывается, должна ехать в гости к крестной матери. Он предлагает ее подвезти и на крутом повороте пытается поддержать за талию, но Неточка не позволяет это сделать, уверяя, что не упадет. Достоевский, обиженный, желает ей вывалиться из саней. И тут Неточка так искренно хохочет, что мир восстановлен. Девушка обещает прийти к нему через день договориться о совместной работе.

8 ноября 1866 года Неточка Сниткина снова пришла в хорошо знакомую ей квартиру № 13 в доме купца Алонкина. Писатель явно обрадовался ее приходу, но был то весел, то грустен, то странно возбужден и выглядел моложе своих лет. Она не понимала причину этого странного возбуждения.

Стенографистка уже давно нравилась Достоевскому. Ему импонировали ее чувство долга, аккуратность, трудолюбие, а главное, ее доброта. Эта двадцатилетняя де-

вушка искренно заботится о нем: о его здоровье, питании, одежде, отдыхе, быте, великолепно знает его произведения, преклоняется перед его талантом, верит в его высокое писательское предназначение и помогает в самом важном для него — его творчестве.

Кажется, все было за то, чтобы сделать стенографистке предложение. Он понимал, что она будет преданной женой и прекрасной матерью семейства (когда он ездил к ней домой и познакомился с ее матерью, то увидел, в какой хорошей нравственной атмосфере она росла), а он так хотел иметь семью. Совсем недавно с щемящей грустью писал он Александру Егоровичу Врангелю: «...Вы, по крайней мере, счастливы в семействе, а мне отказала судьба в этом великом и единственном человеческом счастье».

Он чувствовал, что проникается к Анне Григорьевне хорошо знакомым ему волнующим чувством любви, но многое его и смущало, прежде всего большая разница в годах. Он ведь сам недавно в «Дядюшкином сне» высмеял ухаживания старого князя за юной девушкой, а уж смешным он быть не хотел, да и в памяти еще были живы отказы и Аполлинарии, и Анны Васильевны Корвин-Круковской, не говоря уже о том, что и Мария Дмитриевна, и Аполлинария предпочли ему в самую страстную минуту его любви более молодых соперников.

И тогда Достоевский решил прибегнуть к самому необычному способу объяснения в любви. Анна Григорьевна приготовилась услышать условия работы над окончанием «Преступления и наказания», а Достоевский неожиданно стал ей рассказывать о своих снах, которым всегда придавал большое значение и называл их вещими, и вдруг заявил, что в эти дни задумал написать новый роман.

И последовала блестящая импровизация, столь же блестящая, как в период работы над «Игроком». Главный



герой нового романа — пожилой и больной художник, много переживший, потерявший родных и близких. Достоевский так подробно рассказывал о жизни этого художника, что Анна Григорьевна быстро догадалась, о ком идет речь. Но когда писатель сказал, что в новом романе этот пожилой и больной художник встречает молодую девушку Аню, Анна Григорьевна подумала, что он имеет в виду Анну Васильевну Корвин-Круковскую. Достоевский сам поведал ей о недавнем своем увлечении этой незаурядной девушкой, да к тому же недавно он получил от нее письмо.

В этот момент Анна Григорьевна совсем забыла, что носит это же имя. И тут Федор Михайлович спросил ее, считает ли она психологически достоверным, если эта молодая девушка, невзирая на разницу в возрасте и в характерах, полюбит старого и больного человека. Не будет ли это страшной жертвой с ее стороны? Под впечатлением от замысла нового романа Анна Григорьевна начала восторженно доказывать, что это вполне возможно, если у героини доброе сердце. И тогда, конечно, никакой жертвы с ее стороны не будет, а болезней и бедности не надо бояться, ведь любят же не за внешность и богатство. И если Аня его полюбит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться в своей любви ей никогда не придется!

Через полвека Анна Григорьевна вспоминала:

«Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.

— И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

— Поставьте себя на минуту на ее место, — сказал он дрожащим голосом. — Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор, и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 79).

И она сдержала свое обещание.

Почему Достоевский объяснился в любви таким оригинальным способом? Он был на двадцать пять лет старше своей невесты. Бывший каторжник, находящийся под негласным надзором полиции, профессиональный литератор, то есть человек, материальное положение которого всегда было неустойчивым, обремененный огромными долгами и бесконечными обязательствами перед многочисленной родней, наконец, больной человек. И все же, как бы ни весомы были все эти причины, не они в конечном итоге оказались решающими, заставившими Достоевского прибегнуть к подобному признанию в любви.

Главное заключалось в другом. Федор Михайлович прекрасно понимал, что это для него, может быть, последняя возможность иметь семью, иметь детей, осуществив свою самую заветную, пока не достижимую мечту. И если бы Анна Григорьевна отказала ему, это было бы крушением всех надежд и тяжелым ударом по его самолюбию, как тонко почувствовала его будущая жена. Поэтому он и предпочел прямому признанию столь завуалированное. И лишь убедившись, что она его любит, он открылся ей.

«При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, — рассказывал он впоследствии, — хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась... Разница в

летах ужасная..., но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет».

Первое письмо Достоевского к своей юной невесте кончалось словами: «Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий. Ты мое будущее все — и надежда, и вера, и счастье, и блаженство».

Хотя предложение Достоевского явилось для Анны Григорьевны неожиданностью, внутренне она была к нему готова. Позднее, когда ее спрашивали, как она все-таки решилась на брак с человеком старше ее на двадцать пять лет, бывшим каторжником, вдовцом, кругом в долгах, она отвечала: «Я же была девушкой шестидесятих годов».

И все же надо было действительно обладать незаурядным характером и мужеством, чтобы выдержать ту борьбу за свой предстоящий брак, какую выдержала Анна Григорьевна. Особенно активно и даже яростно выступили против этого брака пасынок Достоевского Паша Исаев и вдова брата писателя Эмилия Федоровна со своими детьми. Они опасались, что женитьба писателя может положить конец их материальному благополучию. Анна Григорьевна решила, что нужно как можно скорее обвенчаться. Однако их свадьба откладывалась — и только из-за отсутствия денег.

Вся надежда была на редакцию «Русского вестника» и на редактора — издателя этого журнала Михаила Никифоровича Каткова. Достоевский поехал в Москву просить у него аванс в счет будущего своего романа «Идиот», который также предполагалось публиковать в «Русском вестнике». Достоевский знал, конечно, что «Преступление и наказание», печатавшееся весь 1866 год в этом журнале, произвело колоссальное впечатление на современников. Так, его старый друг поэт Аполлон Николаевич Майков, прочтя лишь первую часть романа, сказал: «Это

нечто удивительное!» (Кони А. Ф. Собр. соч. М., 1968. Т. 6. С. 450), а молодой судебный деятель Анатолий Федорович Кони испытал «чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью» (Там же. С. 431).

Катков согласился выдать аванс для свадьбы в две тысячи рублей. Вероятно, его просто обезоружила откровенность Федора Михайловича. Он прямо сказал, что новый роман у него не только еще не готов, не начат, но даже вообще еще не до конца продуман и не ясен ему самому. Но деньги ему нужны на свадьбу, он задумал жениться, и счастье его зависит теперь только от него, Михаила Никифоровича.

Два письма из Москвы жениха невесте дышат беспредельной верой в нее и в их будущее счастье: «Поздравляю с Новым годом и с *новым счастьем*. Помолись об нашем деле, ангел мой... Буду работать изо всех сил... *Твой* весь, твой верный, вернейший и неизменный. А в тебя верю и уповаю как во все мое будущее. Знаешь, вдали от счастья больше ценишь его... Бесценный и вечный друг Аня... Наша судьба решилась, деньги есть, и мы обвенчаемся как можно скорее... Как я тебя люблю — как я бесконечно тебя люблю и тем счастлив... С этакой-то женой да быть несчастливым — да разве это возможно! Люби меня, Аня; бесконечно буду любить».

Незадолго до женитьбы Достоевский нашел более просторную квартиру в угловом доме Ширмера на *Вознесенском проспекте* (ныне *Вознесенский, 29*) и прожил здесь с женой с февраля по апрель 1867 года. И, может быть, неслучайно эта квартира находилась прямо против церкви Вознесения, ибо брак свой с Анной Григорьевной Достоевский считал воскресением, вознесением в новую для него жизнь. Анна Григорьевна вспоминает: «Вход был внутри двора, а окна квартиры выходили на Возне-

сенский переулок. Квартира была во втором этаже и состояла из пяти больших комнат: гостиной, кабинета, столовой, спальни и комнаты для Павла Александровича. Пришлось выждать, пока отделают квартиру, затем перевезти вещи Федора Михайловича, мою обстановку и пр. и пр. Когда все было готово, мы назначили свадьбу на среду пред масленой, 15 февраля, и разослали приглашения друзьям и знакомым» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 106*).

Есть глубокий смысл в том, что венчание в Троицко-Измайловском соборе на Измайловском проспекте Достоевский назначил именно на 15 февраля 1867 года. Дату 15 февраля он запомнил на всю жизнь: 15 февраля 1854 года он навсегда покинул Омский острог. «Свобода, новая жизнь, воскресение, из мертвых... Экая славная минута!» Анна Григорьевна — это новая жизнь, это — воскресение в новую жизнь, это — «будущее все — и надежда, и вера, и счастье, и блаженство».

Анна Григорьевна дала Федору Михайловичу первым ступить на ковер перед священником во время венчания, ибо по русскому народному поверию считалось, что тот, кто это сделает первым, будет главенствовать в семье. Да и как она могла ему не покориться, если он стал ее Богом, единственным смыслом ее существования.

Однако счастье молодоженов было недолгим. Родственники Федора Михайловича, с утра до вечера находившиеся в их квартире, делали все, чтобы омрачить их радость. С горечью Анна Григорьевна видела, что редкая душевная близость, возникшая между ней и Достоевским, когда он диктовал ей «Игрока», постепенно пропадала. И виной тому были многочисленные родственники, ни на минуту не оставлявшие молодых в покое. И тогда Анна Григорьевна почувствовала: настал момент, когда ее брак с Достоевским находится под угрозой. И она сделала все от нее зависящее, чтобы переменить обста-

новку, уехать за границу, подальше от домашних неурядиц, от всех вымогателей и кредиторов (писателю постоянно грозила долговая тюрьма). Такой решительный шаг с ее стороны тем более удивителен, что была она тогда, по собственному признанию, совершенным ребенком.

Однако проект совместной поездки за границу был встречен в штыки родственниками. Они потребовали, если поездка состоится, оставить им деньги на несколько месяцев вперед. Если учесть также требования кредиторов по журналу «Эпоха», то приходилось признать тот факт, что никакая поездка невозможна, ибо от последнего аванса от «Русского вестника» у них не только ничего не осталось, но и не хватало четырехсот рублей на нужды родственников и претензии кредиторов.

Анна Григорьевна была в полном отчаянии, но длилось оно недолго. Неожиданно для родственников, друзей и знакомых она продемонстрировала такую силу характера, что поразила и всех окружающих, и своего мужа прежде всего. Он никак не мог себе представить, что его Аня способна на такой шаг.

Анна Григорьевна интуитивно почувствовала, что речь идет не просто о спасении их брака, речь идет о спасении его творческого гения. И ради этого она была готова всем пожертвовать. Она решает заложить все свое приданое (медаль, серебро, вещи), и на эти деньги 14 апреля 1867 года молодожены уезжают за границу.

Анна Григорьевна и Федор Михайлович собирались провести в Европе три месяца, а вернулись через четыре с лишним года. Скитание молодоженов по Европе началось с Дрездена. Но медовый месяц Достоевского неожиданно оканчивается катастрофой: писателя вновь, как и во времена Полины Сусловой, затягивает безжалостная рулетка.

Но Анна Григорьевна в отличие от Сусловой поняла, что игра для Достоевского была не только средством бегства от обыденной жизни, но и средством вдохновения: после проигрыша Федор Михайлович особенно интенсивно творил, испытывая небывалый прилив творческой энергии. И разгадав в свои двадцать лет «тайну» рулеточной лихорадки своего мужа, понимая, что эта его страсть обрекает семью на нищету, даже дочь не на что крестить, она не только не перечит, не упрекает, а сама предлагает ему поехать играть.

И как Сонечка Мармеладова в конечном итоге побеждает своим смирением и кротостью Раскольников, так и Анна Григорьевна, не противясь страсти мужа, сумела навсегда победить ее. Федор Михайлович прекрасно понимал, что прежде всего Анне Григорьевне он обязан своим освобождением от власти рулетки, ее великодушному терпению, всепрощению, мужеству и благородству. «Всю жизнь вспоминать буду и каждый раз тебя, ангела моего, благословлять, — писал Достоевский Анне Григорьевне. — Нет, уже теперь твой, твой нераздельно, весь твой. А до сих пор *наполовину* этой проклятой фантазии принадлежал».

Но эта «проклятая фантазия» действительно давала писателю творческие импульсы. В письме из Вап-Сахон, извещая жену об очередном проигрыше, Федор Михайлович благодарит это несчастье, так как оно невольно натолкнуло его на одну «превосходную мысль»: новое произведение.

Так рождался роман «Идиот». Потрясения, связанные с игрой, и сознание надвигающейся нищеты не мешали полнокровной духовной работе писателя: «Идиот» рождался в муках, но муках плодотворных. Роман начал печататься еще во время пребывания Достоевского за границей в «Русском вестнике».

Все переживания, связанные со страстью Достоевского к рулетке, способствовали сближению супругов, и в письмах последующих лет писатель будет повторять, что чувствует себя «приклеенным» к семье и не в состоянии переносить даже короткую разлуку. Однако окончательное их «срастание» произошло после страшного горя: в мае 1868 года в Женеве, после простуды, скончался в трехмесячном возрасте первый ребенок Достоевских — дочь Соня.

14 сентября 1869 года в Дрездене у Достоевского и Анны Григорьевны родилась вторая дочь Любовь. «С появлением ребенка на свет счастье снова засияло в нашей семье, — свидетельствует А. Г. Достоевская. — Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, носил на руках, убаюкивал...» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 188*).

Гнусное и подлое убийство под Москвой 21 ноября 1869 года слушателя Петровской земледельческой академии, члена тайного общества «Народная расправа» И. Иванова, совершенное организатором «Народной расправы» С. Г. Нечаевым при участии членов ее — П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева, вдохновило Достоевского на писание «романа-памфлета» «Бесы», где он раз и навсегда заклеил бесов-революционеров всех мастей с их попыткой насильственно кровавого переустройства мира.

Итак, предчувствие не обмануло Анну Григорьевну, когда она бежала с мужем за границу. За четыре года в Европе раскрылись лучшие стороны их характера и взаимная привязанность переросла в сильное и крепкое чувство, и это благодаря тому, что они на долгое время остались только вдвоем.

Но было и еще одно важное обстоятельство, сроднившее их за время вынужденного пребывания в Европе, — это жгучая тоска по России. И Анна Григорьевна,



и Достоевский одинаково страстно мечтали о родине. Оба поняли, что русский человек, а тем более русский писатель не может существовать вне России. «Без родины страдание, ей-Богу! — писал Достоевский Майкову из Женевы. — ...А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна». Они давно собирались вернуться, но мешали разные причины: рождение детей, полное безденежье, рулетка, боязнь кредиторов в России. Но когда Достоевский начал говорить о «гибели своего таланта» вдали от родины, Анна Григорьевна решила, что надо немедленно возвращаться в Петербург. И как когда-то она сделала все, что было в ее силах, чтобы бежать за границу, так теперь она сделала все, чтобы вернуться.

8 июля 1871 года Достоевские возвратились в Петербург. Два дня они прожили в Коммерческой гостинице на *Большой Конюшенной* (ныне *Большая Конюшенная*, 23, здание перестроено), а затем снова поселяются в тех же местах, где обрели личное счастье, — в меблированных комнатах на *Екатерингофском проспекте* (ныне *проспект Римского-Корсакова*, дом № 3, надстроена мансарда). Здесь у Достоевских 16 июля 1871 года родился сын Федор.

Однако в материальном отношении жизнь в России оказалась нелегкой. Анна Григорьевна очень надеялась уплатить часть неотложных долгов брата Федора Михайловича, продав дом, предназначенный ей матерью в приданое. Но оказалось, что пока она жила за границей, какие-то жуликоватые и темные личности, пользуясь отсутствием домовладелицы, продали дом с аукциона. Мебель и вещи, оставленные на хранение друзьям и знакомым, тоже пропали за четыре года — поэтому Анна Григорьевна и Федор Михайлович вынуждены были ютиться в меблированных комнатах, приобрести собственную мебель им было не по карману.

Кредиторы, узнав о возвращении писателя, налетели сразу же на него. Положение было отчаянное: как и четыре года назад, Достоевскому грозила долговая тюрьма — «Тарасов дом» — в доме купца Тарасова в Первой роте Измайловского полка содержались лица, лишенные свободы за долги. Впереди не предвиделось никаких источников дохода, кроме остатка гонорара за публикацию в «Русском вестнике» романа «Бесы», начатого еще за границей и продолженного в России.

В этот драматический момент Анне Григорьевне вновь пришлось собрать всю свою волю и решительность для спасения своего гениального мужа. Она самоотверженно приняла на себя все переговоры с кредиторами, все финансовые дела. К каким только ухищрениям не прибегала она, чтобы вовремя заплатить те или иные долги Михаила Михайловича, да к тому же всячески стараясь скрыть это от Федора Михайловича, давая ему возможность спокойно заниматься литературным трудом.

Это было не просто. И хотя 9 июня 1872 года Достоевский писал Анне Григорьевне из Старой Руссы в Петербург: «Принцип же мой ты знаешь насчет квартиры: хоть подороже, но только пусть комфортно и спокойно, ибо в такой *больше наработаешь*», но все же пока это было лишь благое пожелание, так как три последующие квартиры Достоевского: *Серпуховская улица, 15*, дом Архангельской (Достоевский прожил здесь с середины августа 1871 года по сентябрь 1872 года, дом не сохранился, сейчас это участок между домами 13 и 17), *Вторая рота Измайловского полка*, дом Мевеса, флигель во дворе (здесь был закончен роман «Бесы», писатель проживал в этом доме с сентября 1872 года до середины зимы 1873 года, ныне *2-я Красноармейская, 11*, флигель не сохранился) и угол *Лиговской улицы и Гусева переулка*, дом Сливчанского (с зимы 1873 года до мая 1874 года, сейчас *Лиговский проспект, 25*, дом сохранился,

даже балкон Достоевского, здесь он работал над «Дневником писателя» и романом «Подросток»), не свидетельствовали о комфортной и спокойной обстановке. Но все же материальное положение писателя благодаря Анне Григорьевне медленно, но постепенно улучшается, и он навсегда покидает бедный и разночинный район Сенной площади и находит квартиры в более престижных районах.

О том, какой была обстановка в этих квартирах, свидетельствует, например, дом Моисея Петровича Сливчанского (1820—1906) на Лиговской улице, о котором Анна Григорьевна пишет: «Выбор квартиры был очень неудачен: комнаты были небольшие и неудобно расположенные, но так как мы переехали среди зимы, то пришлось примириться со многими неудобствами. Одно из них было — беспокойный характер хозяина нашего дома. Это был старичок очень своеобразный, с разными причудами, которые причиняли и Федору Михайловичу, и мне большие огорчения» (*Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 253).

19 августа 1873 года Достоевский писал Анне Григорьевне: «Серьезнейшее дело теперь — это наша квартира. Нельзя оставаться, Аня, говорю не горячась, с рассудком. Я пересказывал дело Анне Николаевне [Сниткиной — матери А. Г. Достоевской. — С. Б.], и она говорит, что *нельзя* оставаться. Сливчанский — это какой-то помешанный (я серьезно это думаю). Он нам в декабре скажет: *съезжайте, безо всякой причины*, и выгонит нас на улицы. У Александры [прислуга Достоевских. — С. Б.] паспорту срок вышел. Паспорт ее он сам видел и знает, что она не бродяга. Она переслала паспорт в Кронштадт градскому главе и деньги для высылки нового и получила почтовую расписку, что паспорт принят. Но из Кронштадта вот уже 2 недели ни слуху, ни духу. И вот Сливчанский пристаёт к ней и грозит прогнать из дому. Сегодня встре-

тил ее и говорит: “Я твоему барину такое письмо напишу, что увидит!” Каково же это с жильцами поступать, коли гнать от них прислугу из пустяков, за которые уж он ни за что отвечать не может...»

«В моем представлении, — вспоминал знаменитый композитор И. Стравинский, семья которого в 1870-е годы дружила с семьей писателя, — Достоевский олицетворял собой художника, неизменно нуждающегося в деньгах. Так говорила о нем моя мать...» (*Стравинский Игорь*. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. Л., 1971. С. 32). Отчаянная нужда заставила Достоевского искать устойчивый заработок. В конце 1872 года писатель предлагает князю Владимиру Петровичу Мещерскому (1839–1914) редактировать его журнал-газету «Гражданин». Мещерский, который познакомился с Достоевским осенью 1871 года на одном из литературных вечеров, жил рядом с Невским проспектом, на Николаевской улице (ныне улица Марата, 9), а редакция «Гражданина» помещалась в его квартире, а с 1873 года — в квартире секретаря редакции В. Ф. Пуцковича на Невском проспекте, в доме № 77, в квартире 8. Печатался «Гражданин» в типографии А. И. Траншеля на углу Невского и Владимирской улицы (сейчас дом № 47 по Невскому).

После ухода прежнего редактора «Гражданина», известного публициста Г. К. Градовского, положение этого периодического издания стало критическим. «И в эту трудную минуту, когда мы говорили об этом вопросе, никогда не забуду, — пишет князь Мещерский, — с каким добродушным и в то же время вдохновенным лицом Ф. М. Достоевский обратился ко мне и говорит мне: “Хотите, я пойду в редакторы?” В первый миг мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Достоевский решился на это из сочувствия к цели издания. Но этого мало,

решимость Достоевского имела свою духовную красоту. Достоевский был, невзирая на то, что он был Достоевский, — беден; он знал, что мои личные и издательские средства ограничены, и потому сказал мне, что он желает для себя только самого нужного гонорара, как средства к жизни, сам назначил 3000 р. в год и построчную плату...» (*Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1898. Ч. 2 (1865–1881). С. 175*).

Однако Мещерский все же преувеличивает, когда указывает, что Достоевский «решился» стать редактором «Гражданина» «из сочувствия к цели издания», то есть одобряя направление этого крайне консервативного органа. Конечно, и в своем отрицании революционного пути преобразования России Достоевский во многом сходился с князем Мещерским, но все же консерватизм писателя отличался от взглядов владельца «Гражданина»: этот консерватизм был шире и гуманнее консерватизма Мещерского.

И Достоевский быстро понял, что совершил ошибку, согласившись стать редактором «Гражданина». Дело было не только в физической «кабале», хотя Достоевскому приходилось отдавать журналу-газете значительную часть своего времени, да к тому же еще править бездарные сочинения самого князя, претендовавшего на роль идейного руководителя своего детища. Не смутил Достоевского даже арест за незнание им редакторских обязанностей, когда он напечатал статью Мещерского «Киргизские депутаты в С.-Петербурге», в которой приводились слова Александра II, обращенные к депутатам. Достоевский не знал, что цитирование высочайших особ допускается лишь с разрешения министра императорского двора. 11 июня 1873 года Петербургский окружной суд, помещавшийся на Литейном проспекте, 4, приговорил писателя к 25 рублям штрафа и двум суткам ареста.

Сам по себе этот не очень приятный факт имел, однако, и положительные последствия. Достоевский познакомился с председателем окружного суда Анатолием Федоровичем Кони (1844–1927), позже приобретшим широкую известность в связи с делом Веры Засулич, обвиненной в покушении на убийство петербургского градоначальника генерала Трепова. Между Достоевским и Кони завязались прочные дружеские отношения. Кони помог отнести арест писателя на более удобное для того время — вторую половину марта 1874 года.

Судя по воспоминаниям Анны Григорьевны, околоточный явился за ее мужем 21 марта 1874 года. Местом заключения назначили гауптвахту на *Сенной площади* (здание сохранилось), на той самой площади, где целовал землю Раскольников.

Краткосрочный арест писателя дал ему возможность получить передышку, отойти от хлопот и забот чуждого его писательскому духу редактирования «Гражданина». В камере Достоевский жадно перечитывал роман Виктора Гюго «Отверженные». Гауптвахта позволила ему, как он говорил, «возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения». Достоевский уже был весь во власти своего нового романа «Подросток», и ему важно было перечитать «Отверженных»: оба романа посвящены одной теме — воспитанию человека.

В апреле 1874 года Достоевский навестил А. Ф. Кони, который жил тогда на Фурштатской, в доме Кононова (ныне дом № 33), а затем ответный визит Достоевскому в дом Сливчанского на Лиговском проспекте нанес Кони.

Но продолжавшаяся работа в «Гражданине» совершенно изматывала Достоевского и не давала возможности начать романа «Подросток». 26 февраля 1873 года писатель откровенно признается в письме к историку М. П. Погодину: «...Роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю,

каждый день прибавляю новые черты к записанному плану и тут же вижу, что все время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше, и прихожу в раскаянье и отчаянье... Решительно думается мне иногда, что я сделал большое сумасбродство, взявшись за «Гражданина». Работавшая корректором в типографии Траншеля, где печатался «Гражданин», Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская) дает портрет Достоевского того времени: «Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был чувством и мыслью» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 189).

Одухотворенность поражала всех, кто видел впервые Достоевского. Молодой критик Всеволод Соловьев (брат философа Владимира Соловьева), посетивший писателя первый раз в самом начале 1873 года в доме Мевеса во Второй роте Измайловского полка, отмечает также убогость обстановки кабинета Достоевского: «Я прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете. Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в которой жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо, у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг... старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим, репсом, бро-

сился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде... Затем несколько жестких стульев, еще стол — и больше ничего. Но, конечно, все это я рассмотрел потом, а тогда ровно ничего не заметил — я увидел только сутуловатую фигуру, сидевшую перед столом, быстро обернувшуюся при моем входе и вставшую мне навстречу.

Перед мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с негустой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 188–189).

Работа в «Гражданине» угнетает Достоевского все больше, к тому же отношения с князем Мещерским обостряются. «Сегодня утром, — пишет Достоевский жене 20 июля 1873 года, — разом получил от князя телеграмму и два письма насчет помещения его статьи. Письмо его мне показалось крайне грубым. Сегодня же отвечаю ему так резко, что оставит вперед охоту читать наставления».

Последним толчком к окончательному отказу Достоевского от редакторства послужил резкий спор между ним и издателем в ноябре 1873 года. Мещерский хочет напечатать в «Гражданине» свою статью, в которой он рекомендует царскому правительству организовать студенческие общежития для надзора за студентами. В письме к издателю Достоевский выражает свой решительный протест: «Семь строк о надзоре или, как вы выражаетесь, о *труде* надзора правительства, я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора и сверх того дети. Губить себя я не намерен. Кроме того, ваша



мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце».

Консерватизм Достоевского всегда имел ту нравственную черту, за которую он никогда не переходил, в отличие от того же князя Мещерского или, например, будущего обер-прокурора Синода умнейшего К. П. Победоносцева, с которым писатель познакомился у князя Мещерского. Так, Достоевский расценивал сам акт освобождения крестьян как «великий» и «пророческий момент русской жизни», а для Победоносцева и Мещерского «эпоха реформ», начавшаяся с отмены крепостного права, несла в себе разложение русских государственных и общественных устоев.

С начала 1874 года Достоевский не помещает в «Гражданине» ни одной строчки под своим именем, а 19 марта 1874 года отказывается от должности редактора ввиду болезни.

Однако, соглашаясь стать редактором «Гражданина», Достоевский думал не только о постоянном заработке. Он давно мечтал о новой форме общения с читателем, о живой и непосредственной форме философско-литературной публицистики. Так возник в «Гражданине» особый отдел под названием «Дневник писателя» — явление уникальное в русской и мировой литературе.

Пожалуй, не было животрепещущих и насущных вопросов и проблем, не нашедших то или иное отражение в «Дневнике писателя», который с 1876 года Достоевский начал выпускать в виде отдельного ежемесячного издания. Но «Дневник писателя» — это не только публицистика. В нем есть и несколько небольших художественных произведений, поразительных по глубине и по форме изложения и петербургских по содержанию. Это маленький фантастический рассказ «Бобок», в котором Достоевский предостерегает: бездуховный петербургский мир заживо разлагается, и самое страшное — не тление

тел, а гниение душ; повесть «Кроткая», где Петербург оказывается соучастником ее самоубийства, как и преступления Раскольникова в «Преступлении и наказании»; рассказ «Мальчик у Христа на елке», утверждающий веру в бессмертие человеческой души.

Весной 1872 года Достоевский продолжает работать в доме Архангельской на Серпуховской улице, 15 над романом «Бесы». Но работа продвигается с большим трудом в атмосфере материальных лишений и борьбы с кредиторами. Жизнь в столице была довольно дорога. Особенно дороги были петербургские квартиры. Чтобы сэкономить, писатель решил (по совету профессора М. И. Владиславлева — мужа племянницы Достоевского Марии Михайловны) снять в мае 1872 года дачу в Старой Руссе, небольшом городке под Новгородом. Старая Русса благоприятно подействовала на здоровье и творческую активность Достоевского. Можно определенно утверждать, что семейный уют и счастливый брак, радость иметь детей и любящую, преданную супругу послужили первым толчком к созданию романа «Подросток». Наблюдая за своими детьми — в духовно прочном браке их родителей, Достоевский приходит к мысли написать роман о семействе неблагополучном, «случайном». Но главным толчком к созданию «Подростка» послужила сама пореформенная Россия. Множество фактов из окружающей жизни воспринималось писателем как зловещие признаки страшной болезни, охватившей все слои общества, после того как «все в России перевернулось». «Разложение — главная видимая мысль романа», — так формулировал Достоевский свою задачу в одной из ранних записей к «Подростку», названному в этих записях «Беспорядком».

«Подросток» печатался в «Отечественных записках» Некрасова, который сам в апреле 1874 года пришел к Достоевскому на Лиговку с предложением купить его

новый роман. Достоевский согласился. После пятнадцатилетней жестокой журнальной полемики и идейной вражды друзья юности снова сближаются. Это было не идейное сближение, а память сердца. Достоевский всю жизнь помнил, что именно Некрасов приветствовал его литературное рождение.

Тридцать лет назад Некрасов провел бессонную ночь над первым романом Достоевского «Бедные люди». Сейчас ситуация повторилась: Некрасов всю ночь читает «Подростка». 9 февраля 1875 года Федор Михайлович пишет жене: «...Некрасов пришел, чтобы выразить свой восторг по прочтению конца первой части. “Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе... И какая, батюшка, у вас свежесть!.. Такой свежести в наши лета уже не бывает, и нет ни у одного писателя”».

В 1877 году Достоевский неоднократно навещает умирающего Некрасова в его квартире на Литейном проспекте, 36. В «Дневнике писателя» воспоминания Достоевского о последней беседе так же значительны, как и сокровенное описание их первой встречи в петербургскую белую ночь 1845 года: «И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит о тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам было тогда по двадцати с немногим лет...»

Узнав о смерти Некрасова, Достоевский пошел поклониться ему, а вернувшись, перечел почти все его поэтическое наследие: «В эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет занимал места в моей жизни!»

30 декабря 1877 года Достоевский произносит замечательную речь на могиле Некрасова на Новодевичьем

кладбище, воздавая должное великому поэту, который навсегда останется в сердце народа, ибо «в любви к народу он находил нечто незыблемое; какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило».

Достоевский жил в это время (с середины сентября 1875 года) в доме А. П. Струбинского, на *Греческом проспекте*, на углу *Пятой Рождественской улицы* (ныне *Греческий проспект*, 6). В этом доме, где писатель прожил до мая 1878 года, он заканчивает «Подростка», работает над «Дневником писателя» и начинает «Братья Карамазовы».

Метранпаж типографии князя В. В. Оболенского, где печатался в 1876–1877 годах «Дневник писателя», Михаил Александрович Александров (1844–1902), близко знавший в это время Достоевского, оставил подробное описание квартиры писателя на Греческом и его кабинета: «Жил в то время Федор Михайлович на Греческом проспекте, в доме, стоящем между греческой церковью и Прудками. Дом этот был такой же старый, как и тот, в котором он жил перед тем на Лиговке <...> Квартира его находилась в третьем этаже и очень походила расположением приемных комнат на прежнюю; даже окнами эти комнаты выходили в одну и ту же сторону, именно на восток... Замечу кстати, что и следующая квартира Федора Михайловича была в старом же доме. Одно время меня занимал вопрос, отчего это Федор Михайлович предпочитает старые дома новым, представляющим гораздо более удобства и опрятности, и пришел к следующему заключению: Федору Михайловичу нужна была настолько объемистая квартира, что наем таковой в новом, комфортабельном доме не согласовался с его средствами... Он жил чисто литературным трудом *исключительно*, а существовать на заработок от такого труда, даже при таком колоссальном таланте и непомерном трудолюбии, каковыми отличался Федор Михайлович, у

нас на Руси если иногда и можно, то пока лишь довольно скромно.

Кроме обычных кухни и прихожей, число комнат <...> было не менее пяти, а именно: зала, служившая вместе и гостинойю, маленькая столовая, такой же маленький кабинет, детская, всегда по возможности отдаленная от кабинета, и, наконец, комната Анны Григорьевны. Обстановка всех комнат была очень скромная; мебель в зале-гостиной была относительно новая, но так называемая рыночная; в остальных комнатах она была еще проще и притом старше.

Особенною простотою отличался кабинет Федора Михайловича. В нем и намека не было на современное шаблонное устройство кабинетов, глядя на которые обыкновенно нельзя определить — человеку какой профессии принадлежит данный кабинет...

Кабинет Федора Михайловича в описываемое мною время (1876 г.) была просто его *комната*, студия, келия... В этой комнате он проводил большую часть времени своего пребывания дома, принимал коротко знакомых ему людей, работал и спал в ней. Площадь комнаты имела около трех квадратных сажен. В ней стояли: небольшой турецкий диван, обтянутый клеенкою, служивший Федору Михайловичу вместе и кроватью; два простых стола, какие можно видеть в казенных присутственных местах, из коих один, поменьше, весь был занят книгами, журналами и газетами, лежавшими в порядке по всему столу; на другом, большем, находились чернильница с пером, записная книжка, довольно толстая, в формате четвертки писчей бумаги, в которую Федор Михайлович записывал отдельные мысли и факты для своих будущих сочинений, пачка почтовой бумаги малого формата, ящик с табаком да коробка с гильзами и ватю — более на этом столе ничего не было, — все остальное необходимое для письма находилось в *столе*,

то есть в низеньком выдвижном ящике, помещавшемся, по старинному обычаю, под верхнюю доскою стола. На стене над этим столом висел фотографический портрет Федора Михайловича; перед столом стояло кресло, старое же, как и остальная мебель, без мягкого сиденья. В углу стоял небольшой шкаф с книгами. На окнах висели простые гладкие шторы... Вот и все убранство кабинета Федора Михайловича во время издания "Дневника писателя", кроме небольшого количества книг, ничего в нем, как видите, не было такого, что принято считать располагающим к кабинетным размышлениям и занятиям.

Не знаю кому как, но мне только что описанный мною кабинет Федора Михайловича внушал большое уважение к себе, и я полагаю, что эта строгая, почти бедная, простота его обстановки отражала собою характер своего хозяина вернее и лучше, нежели та, которая похожа на обстановки всех кабинетов вообще. И я очень жалею, что не могу живописно воспроизвести этот характеристичный кабинет знаменитого писателя» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 241–243).

После публикации в 1875 году в «Отечественных записках» «Подростка» Достоевский снова решил издавать с 1876 года «Дневник писателя». Важнейшим толчком к этому решению явился так называемый Восточный вопрос. Войну за освобождение Болгарии Достоевский называл самой честной, самой гуманной и самой справедливой. И это не противоречило евангельской заповеди «не убий», проповедником которой стал Достоевский. Насилие писатель признает нравственным и необходимым, когда речь идет о том, чтобы разрушить порядок вещей, при котором совершается оно над человеческой личностью, ее свободой и достоинством. Только в этом случае человек, защищающий свою жизнь и свободу

и жизнь ему подобных, имеет право и обязан поднять оружие.

Во второй половине 1870-х годов Достоевский получает множество писем от знакомых и незнакомых людей, сходится с целым рядом лиц, даже противоположных взглядов, выполняет различные просьбы. «Последнее время я близко сошлась с Достоевским, — писала И. Сурикову 16 февраля 1877 года бывшая сподвижница Джузеппе Гарибальди Александра Николаевна Пешкова-Толиверова (1842–1918), — я люблю его искренность, я люблю его как психолога... Во многом я с ним не согласна... но я люблю его сильно» (Цит.: *Толстяков А. «Мысль и труд» синьоры Александры // В мире книг, 1974, № 12. С. 86*).

В октябре 1876 года в Петербургском окружном суде слушалось дело мачехи Екатерины Корниловой, которая, будучи беременной, выбросила из окна свою шестилетнюю падчерицу. Ребенок чудом остался жив и невредим. Достоевский писал об этом в октябрьском номере «Дневника писателя» за 1876 год в главе «Простое, но мудреное дело».

Суд приговорил Корнилову к двум годам и восьми месяцам каторжных работ, а затем на вечное поселение в Сибирь. Однако Достоевского интересует психологический подтекст этого преступления, он пытается понять причины этого «простого, но мудреного дела». Прочтя в газетах отчет о суде над Корниловой, писатель навестил ее в тюрьме и пришел к выводу, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Достоевский выступил в «Дневнике писателя» в защиту, и в результате Корнилову оправдали.

Чиновник К. Маслянный служил в том ведомстве, от которого зависела просьба о помиловании. Прочтя статью «Простое, но мудреное дело», Маслянный решил представить дополнительные аргументы для оправдания Корниловой и написал письмо Достоевскому с просьбой

о встрече. «Через несколько дней я отдал ему визит, — вспоминал он через год после смерти писателя, — и тут только мы с ним впервые познакомились. Он принял меня так трогательно радушно, как бы родного или старинного приятеля. Он повел меня в свой маленький, сильно заваленный книгами кабинет, выходивший окнами на Греческий проспект, где он говорил мне очень много, несмотря на чрезвычайное утомление от болезни, заставлявшее часто прерывать речь для того, чтобы “перевести дух”» (*Маслянников К.* Эпизод из жизни Ф. Достоевского // Новое время, 1882, 13 (25) октября).

Это была эмфизема легких, быстро прогрессирующая болезнь, приобретенная писателем на каторге и ускорившая его смерть. Но Достоевский пытается бороться со своей болезнью. Четыре раза — в 1874, 1875, 1876 и 1879 годах Достоевский лечился на немецком курорте Бад-Эмс. Однако болезнь продолжала развиваться. К тому же нездоровье усугубилось одним страшным происшествием.

Достоевский шел к себе домой в Кузнечный переулок (с октября 1878 года по день смерти 28 января (9 февраля) 1881 года он жил в *Кузнечном переулке, 5*, на углу Ямской улицы — ныне *Кузнечный переулок, 5* или *улица Достоевского, 2* — это последняя петербургская квартира Достоевского, здесь написаны «Братья Карамазовы» и «Дневник писателя», здесь он встретил смерть; предчувствуя, что жить ему осталось недолго, он возвращается в дом своей молодости, где жил в 1846 году, — круг замкнулся). Неожиданно он почувствовал удар по голове, какой-то пьяница ударил его сзади. Удар был настолько сильным, что писатель упал и больно ушибся. Подоспевший городской забрал в участок пьяного и попросил прийти туда и Достоевского. После составления протокола дело было передано мировому судье 13 участка Александру Ивановичу Трофимову (1818–1884).



На суде Достоевский отказался от обвинения и просил судью освободить своего обидчика от наказания. Писатель мотивировал свою просьбу тем, что обидчик действовал без заранее обдуманного намерения, а лишь под влиянием опьянения.

А. И. Трофимов в точности выполнил желание писателя и, прощаясь с Достоевским, сказал: «Я очень счастлив, что хотя по должности мирового судьи имел удовольствие беседовать с самым выдающимся корифеем русской литературы» (Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866–1914. Пг., 1916. Т. 2. С. 1461–1462).

Эпилептические припадки с годами меньше беспокоили Достоевского, а главное, он знал, что Анна Григорьевна всегда придет на помощь, и был спокоен. За все четырнадцать лет брака благодаря ее заботам он ни разу не поранился во время припадка. Все годы счастливого брака, без единой неискренней, фальшивой ноты, так привязали писателя к семье, что он совершенно не мог обходиться без жены и детей. «Обабился я дома за эти 8 лет ужасно, — пишет он Анне Григорьевне из Бад-Эмса в 1875 году, — не могу с Вами расстаться даже и на малый срок — вот до чего дошло...»

Благодаря заботам Анны Григорьевны Достоевский преодолел свою последнюю вершину — создал величайший роман мировой литературы «Братья Карамазовы». Время создания этого романа совпало с вооруженной борьбой против самодержавия. 31 марта 1878 года в Петербургском окружном суде на Литейном, 4 писатель присутствует на процессе Веры Засулич и говорит о ее выстреле в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова: «...Наказание тут неуместно и бесцельно... Напротив, присяжные должны бы сказать подсудимой: “У тебя грех на душе, ты хотела убить человека, но ты уже искупила его, — иди и не поступай так в другой раз...”» (Либрович С. Ф. На книжном посту. Пг.; М., 1916. С. 42).

5 февраля 1880 года Степан Халтурин организовал взрыв в Зимнем дворце, но царь остался жив. Писатель и журналист А. С. Суворин подробно записывает, как он 20 февраля 1880 года посетил Достоевского в его последней петербургской квартире в Кузнечном переулке: «Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостининой набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал: “А у меня только что прошел припадок. Я рад, очень рад”. И он продолжал набивать папиросы...

Разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться.

— Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину...” Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить»

(Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 328).

20 февраля 1880 года народоволец И. О. Млодецкий совершил покушение на начальника Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия М. Т. Лорис-Меликова. 22 февраля Млодецкий был казнен. Достоевский присутствовал на этой казни на Семеновском плацу, где тридцать лет назад сам стоял на эшафоте.

29 февраля 1880 года писательница С. И. Смирнова записывает в своем дневнике: «...Пришел Достоевский. Говорит, что на казни Млодецкого народ глумился и кричил... Большой эффект произвело то, что Млодецкий поцеловал крест. Со всех сторон стали говорить: "Поцеловал! Крест поцеловал"...» (Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 275).

24 февраля 1880 года вдова президента Академии художеств графиня Анастасия Ивановна Толстая пишет своей дочери Е. Ф. Юнге: «Сейчас возвратилась от Достоевского — я нашла его чем-то расстроенным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на зрителя) казнь преступника 20 [22] февраля» (Лит. наследство. М., 1973. Т. 86. С. 496).

Но время создания последнего романа — это время сближения Достоевского с людьми совсем другого круга, чем народовольцы, которых писатель отвергал как бесов, задумавших кровавый насильственный переворот.

Достоевский очень часто бывает на «вторниках» у своих старых петербургских друзей на Миллионной улице (ныне дом № 10) — старшей дочери известного архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера Елены Андреевны Штакеншнейдер, женщины с тонким художественным вкусом, ее брата, талантливого юриста Адриана Андреевича Штакеншнейдера, который консультировал писателя, когда тот описывал судебный процесс в «Бра-

тях Карамазовых». В своих воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер передает свои впечатления от встреч с Достоевским: «Удивительный то был человек. Утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили.

Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену, ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно.

Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особенно в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы.

Иногда он был даже более чем капризен, он был зол и умел оборвать и уязвить, но быть высокомерным и выказывать высокомерие не умел...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 313).

Любил бывать Достоевский на «пятницах» у своего старого друга поэта Якова Петровича Полонского (1819–1898), который жил на углу Николаевской (ныне улица Марата) и Звенигородской улиц. причем окна квартиры выходили на Семеновский плац. Достоевский встречал-

ся здесь с И. С. Тургеневым, Д. В. Григоровичем, А. Н. Плещеевым, Антоном Рубинштейном, М. Г. Савиной, И. К. Айвазовским, В. В. Верещагиным.

Однажды встретившая Достоевского на «пятницах» писательница Екатерина Павловна Леткова-Султанова (1856–1937) вспоминала: «И вдруг, в промежутке между стоявшими передо мной людьми, я увидела сероватое лицо, сероватую жидкую бороду, недоверчивый запуганный взгляд и сжатые, точно от зябкости, плечи.

“Да ведь это Достоевский!” — чуть не крикнула я и стала пробираться поближе. Да! Достоевский!.. Но совсем не тот, которого я знала по портретам с гимназической скамьи и о котором на Высших курсах Герье у нас велись такие оживленные беседы. “Тот” представлялся мне большим, ярким, с пламенным взглядом, с дерзкими речами. А этот — съежившийся, кроткий и точно виноватый. Я понимала, что передо мной Достоевский, и не верила, не верила, что это он; он — не только великий писатель, но и великий страдалец, отбывший каторгу, наградившую его на всю жизнь страшной болезнью.

Но когда я вслушалась в то, что он рассказывал, я почувствовала сразу, что, конечно, это он, переживший ужасный день 22 декабря 1849 года, когда его с другими петрашевцами поставили на эшафот, на Семеновский плац, для расстрела.

Оказалось, что Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходившему на плац, и спросил:

— Узнаете, Федор Михайлович?

Достоевский заволновался...

— Да!.. Да!.. Еще бы... Как не узнать?...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 381).

Часто бывал Достоевский и у А. С. Суворина, о чем вспоминала его жена: «Любил посещать наши воскрес-

ня и Ф<едор> М<ихайлович>, часто оставался ужинать, чтобы послушать за ужином незабвенного и незаменимого моего дорогого кума Ив. Фед. Горбунова... Особенно любил Ф<едор> М<ихайлович> слушать роль генерала Дитятин и смеялся, как ребенок <...> До сих пор помню его лицо; то он смеялся, то мрачно, серьезно, скорей проникновенно смотрел <...> Ведь он всегда смотрел особенно. Взгляд его был пронизателен, и казалось, что он все видит насквозь и читает душу...» (Перлина Н. М. Достоевский в воспоминаниях А. И. Сувориной // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 300–301).

Судя по воспоминаниям Всеволода Соловьева, Достоевский, прекрасно знавший топографию Петербурга, страшно раздражался, когда другие посетители Соловьева ее не знали. «Не помню, по поводу чего одна из приехавших [ко мне] дам, — вспоминает Всеволод Соловьев, — спросила, где такое Гутуевский остров?

— А вы давно живете в Петербурге? — вдруг мрачно выговорил Достоевский, обращаясь к ней.

— Я постоянно здесь живу, я здешняя уроженка.

— И не знаете, где Гутуевский остров!.. Прекрасно! это только у нас и возможно подобное отношение к окружающему... как это человек всю жизнь живет и не знает того места, где живет?!

Он раздражался больше и больше и кончил целым обвинительным актом...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 208).

В начале 1878 года к Достоевскому приходит воспитатель Великих князей Д. С. Арсеньев и передает ему желание царя познакомить с ним своих сыновей, на которых он мог бы оказать своими беседами благотворное нравственное влияние. Достоевский выполняет желание Александра II. Писатель прекрасно помнил, что такие же функции воспитателя исполнял при будущем императоре Александре II его любимый поэт В. А. Жуковский.

Здесь не было даже и тени намека на раболепство. Дочь писателя вспоминала об этой встрече отца с наследником в Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки: «...Очень характерно, что Достоевский <...> не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как всегда, повернувшись спиной <...> Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались, как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией. Этот император видел в своей жизни так много холопских спин!..» (*Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 181*).

В числе знакомых последних лет жизни Достоевского были, в основном, титулованные особы, но, выбирая друзей и знакомых, писатель всегда руководствовался только духовными интересами. И здесь, как и во всем, проявлялись широта и демократизм его натуры. (Достаточно вспомнить, например, встречу Достоевского с харьковской общественной деятельницей Х. Д. Алчевской в 1876 году на Мойке, в гостинице Демута.) Характерно в этом смысле поведение Достоевского в великосветском салоне графини Софьи Андреевны Толстой (1824–1892) — вдовы поэта и прозаика Алексея Константиновича Толстого. «...Почитатели Достоевского, принадлежавшие к высшим кругам петербургского общества, — вспоминает дочь писателя, — просили Толстую познакомить их с отцом. Она всегда соглашалась, но не всегда это было легко. Достоевский не был светским человеком и совсем не старался казаться любезным людям, которые ему не нравились. Встречаясь с доброжелательными людьми, чистыми и благородными душами, он бывал настолько

мил с ними, что они никогда не могли его забыть и даже через двадцать лет после его смерти повторяли слова, сказанные им Достоевским. Если же перед отцом оказывался один из снобов, которыми были полны петербургские салоны, он упорно молчал. Напрасно старалась тогда графиня Толстая прервать его молчание, искусно задавая ему вопросы; отец отвечал рассеянно “да”, “нет” и продолжал рассматривать сноба как удивительное и вредное насекомое. Подобной нетерпимостью отец нажил себе множество врагов, что его обычно мало беспокоило. Это высокомерие Достоевского находилось в поразительном противоречии с изысканной вежливостью, восхитительной любезностью, с которой отец отвечал на письма своих почитателей из провинции. Достоевский знал, что все его мысли, его советы принимались с благоговением этими сельскими врачами, учительницами народных школ и священниками из маленьких приходов, тогда как петербургских фатов он интересовал лишь потому, что был в моде...» (*Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 177*).

Дружба и встреча с С. А. Толстой — одна из самых светлых страниц последних лет жизни Достоевского. Это была незаурядная женщина, знавшая 14 языков, дружившая со многими выдающимися людьми своего времени: Гончаровым, Тургеневым, Вл. Соловьевым и др. А. Г. Достоевская вспоминает, как Толстая выполнила заветное желание Достоевского — иметь хорошую репродукцию его любимого полотна — «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Подарок Толстой был бесконечно дорог Достоевскому, он «был тронут до глубины души ее сердечным вниманием, — пишет Анна Григорьевна, — и в тот же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставляла его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умиле-



нии, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. Понятна моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести перед ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений!» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 356*).

С. А. Толстая помогала Достоевскому быть в курсе всех европейских новостей в области литературы, искусства, философской мысли, содействуя тем самым идеологической насыщенности «Братьев Карамазовых».

Среди знакомых Достоевского периода создания «Братьев Карамазовых» преобладали женщины. Они хорошо понимали его многострадальное сердце. «Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, — пишет Анна Григорьевна, — и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович с сердечной добротой входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверившиеся ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 357*).

О том, что светские знакомства Достоевского в последние годы его жизни определялись не сословным, а духовным отбором, свидетельствуют также его отношения с Анной Павловной Философовой (1837–1912) — замечательной русской женщиной, известной общественной деятельницей, женой главного военного прокурора, которую высоко ценили Толстой и Тургенев.

С Достоевским А. П. Философова сблизилась в конце 1870-х годов, очень высоко ценила его, считала своим

«нравственным духовником». Достоевский относился к Анне Павловне с большим уважением, писал о ее «прекрасном умном сердце», и его крайне тревожили слухи о возможном аресте Философовой из-за ее либеральных взглядов. Ее дочь вспоминает: «...Я очень любила, исполняя мамино поручение, что есть духу пробежать всю анфиладу комнат, с заворотом в большую полутемную переднюю нашей казенной квартиры. Лечу я однажды таким образом, а было мне уже шестнадцать лет и гимназию я кончила, и налетаю в дверях на Федора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь, и вдруг поняла, что не надо. Стоит он передо мной бледный, пот со лба вытирает и тяжело так дышит, скоро по лестнице шел: "Мама дома? Ну, слава Богу! Мне сейчас сказали, что вас обеих арестовали!"» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 326).

Однажды в квартире Анны Павловны на Миллионной улице рядом с Зимним дворцом Достоевский рассказал об одном эпизоде из своего детства, запомнившемся ему на всю жизнь: «На этот раз гостей у Анны Павловны было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе <...> Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? Одни сказали — отцеубийство, другие — убийство из-за корысти, третьи — измена любимого человека... Тогда Анна Павловна обратилась к Достоевскому, который молча, хмурый, сидел в углу. Услышав обращенный к нему вопрос, Достоевский помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг его лицо преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов, и он заговорил...

Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, говорил Досто-

евский, но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, где мой отец был врачом, рассказывал Достоевский, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Вся жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах»...» (Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 24–25).

Общение с мужем Анны Павловны, прокурором, способствовало соблюдению всех юридических тонкостей на процессе Дмитрия Карамазова, некоторые черты характера ее свекра Дмитрия Николаевича Философова припомнились писателю, когда он создавал образ Федора Павловича Карамазова, а знакомство Достоевского в 1879 году с участником русско-турецкой войны генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым (1828–1896) снова обратило его мысль к дружбе всех славянских народов.

И все же, несмотря на множество великосветских знакомых, Достоевский чувствовал бесконечное одиночество. В 1878 году писатель с горечью говорил своему молодому знакомому, критику Всеволоду Соловьеву: «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые,

может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было...» (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 209).

У него действительно нет друга, такого, каким был, например, старший брат Михаил или в молодости И. Н. Шидловский. Самый близкий ему человек — Анна Григорьевна. Но если, действительно, в эпоху создания «Братьев Карамазовых» у Достоевского кроме Анны Григорьевны нет ни одного близкого человека, то в это время в его духовную жизнь входит замечательный русский философ Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900).

Хотя знакомство Достоевского с Вл. Соловьевым состоялось в Петербурге в самом начале 1873 года, но близкое духовное общение их началось с конца 1877 года и продолжалось по осень 1878 года, когда Достоевский регулярно посещал религиозно-нравственные лекции, которые Вл. Соловьев с огромным успехом читал в Соляном городке (Фонтанка, 10) в Петербурге (10 марта 1878 года на одной из лекций единственный раз в жизни оказались вместе Толстой и Достоевский, однако, не зная друг друга, они так и не познакомились).

6 апреля 1880 года Достоевский присутствовал на защите Вл. Соловьевым докторской диссертации. Особенно поразила Достоевского близкая ему по своей сути мысль диссертанта о том, что «человечество... *знает гораздо более*, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве».

Духовное общение с Вл. Соловьевым отразилось в круге нравственных тем и образов «Братьев Карамазовых».

Достоевский, несомненно, оценил натуру Вл. Соловьева, его бескорыстие, беззаветную преданность высоким идеалам, однако излишняя отвлеченность его религиозного учения вызвала у бывшего каторжника дружескую шутку. Очевидец одной из встреч Вл. Соловьева

и Достоевского в 1878 году, литератор Д. И. Стахеев вспоминает: «Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Федор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул свое кресло к креслу, на котором сидел Соловьев, и, положив ему на плечо руку, сказал:

— Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек...

— Благодарю вас, Федор Михайлович, за похвалу...

— Погоди благодарить, погоди, — возразил Достоевский, — я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу.

— Господи! За что же?..

— А вот за то, что ты еще недостаточно хорош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин...» (*Стахеев Д. И.* Группы и портреты (Листочки воспоминаний) // Исторический вестник, 1907, № 1. С. 85).

Годы создания «Братьев Карамазовых» — это время многочисленных и блестящих выступлений Достоевского на литературных вечерах в различных концертных залах Петербурга, например, в «Пассаже», в Соляном городке, в Благородном собрании (сейчас Невский проспект, 15), в зале Кредитного общества у Александринского театра (ныне площадь Островского, 7), а также перед студенческой молодежью в учебных заведениях столицы.

Пожалуй, ни один русский писатель не выступал так часто, как Достоевский в последние годы жизни. А ведь он был болен, уже давно страдал быстро прогрессирующей эмфиземой легких, задыхался, часто кашлял, не мог высоко подниматься, не мог громко говорить. Некоторые врачи советовали ему вообще прекратить публичные выступления. А он выступал! И практически безотказно! Что это? Желание донести до молодежи (а на таких вечерах присутствовала в основном молодежь) свои заветные идеи? Ведь профессиональные критики

не понимали его произведений, а зачастую и просто глумились над ними, а молодежь — это будущее России, а что может быть для него дороже России?! Или это предчувствие близкого конца и столь же важное для него желание успеть «глаголом жечь сердца людей», продиктованное сознанием своей пророческой миссии?! Или каждая такая встреча с петербургской молодежью, каждая возможность понять, чем дышит новое поколение, возможность личного общения давала писателю больше, чем сотня прочитанных книг, позволяла проецировать это общение на создание художественных образов? Пожалуй, все вместе.

Может быть, именно поэтому все выступления Достоевского имели такой потрясающий успех. Жена великого русского физиолога И. П. Павлова Серафима Васильевна Павлова, долгое время в молодости общавшаяся с народнической молодежью и увлеченная идеей служения своему народу, в 1880 году слушала выступление Достоевского на литературно-музыкальном вечере Женских педагогических курсов, проходившем в зале Благородного собрания. «Вдруг я услышала громкий голос и, взглянув на эстраду, увидела “Пророка”, — вспоминала она. — Лицо Достоевского совершенно преобразилось, глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой... Музыка, пение на этом вечере были только прелюдией пророческой речи Достоевского. Все время твердила я: “Да, он зажег сердца людей на служение правде и истине!”» (Павлова С. В. Из воспоминаний // Новый мир, 1946. № 3. С. 116).

Это выступление так поразило Серафиму Васильевну, что она решила поехать к Достоевскому на Кузнечный переулок, 5, чтобы посоветоваться с ним о самом сокровенном. Через много-много лет, вспоминая свои «поучительные разговоры» с Достоевским, она написала:

«Как понимал он душу человеческую и проникал в темные, бессознательные глубины!» (Белов С. В. Вокруг Достоевского // Новый мир, 1985, № 1. С. 212).

А между тем мало кто знал, что публичные выступления давались Достоевскому совсем не легко: каждый раз он не только страшно волновался, но еще и считал (наивность и простота гения!), что он плохо выступает: и это несмотря на грандиозный успех! В 1937 году старейшая актриса Александринского театра в Петербурге Антонина Михайловна Дюжикова (ей было в это время 84 года) рассказывала о встрече с Достоевским в фойе для артистов в Петербургском дворянском собрании: «...Концерт. В ожидании своего выхода актриса в сильном волнении ходит по комнате. В углу на диванчике пристроился какой-то худенький человек весьма невзрачного вида. Он нервно потирает руки и внутренне как-то суетится. Наконец не выдерживает пытки ожидания, встает и подходит к Дюжиковой:

— Вы, по-видимому, сильно волнуетесь. Ну, и я тоже.

Антонина Михайловна вглядывается в нервно подергивающееся лицо — это Достоевский! Хочется чем-нибудь успокоить его:

— Да, я всегда волнуюсь перед выступлением. А вот вам, Федор Михайлович, пора бы, кажется, привыкнуть и перестать волноваться.

— Ах, нет, не говорите... Я всегда ужасно боюсь выступать перед публикой, да и читаю прескверно...

Голос у Достоевского дрожит, как у молодого, совсем неопытного актера...» (Аксенов В. Н. Дом ветеранов сцены. Л., 1937. С. 14–15).

Простоту гения отмечают и другие мемуаристы, встречавшие в этот период Достоевского. Восемнадцатилетний гимназист Анатолий Александров, ожидавший в июле 1878 года встречи с Достоевским «с большой

робостью и волнением», пишет, что «при первом же взгляде на него, при первых же звуках его голоса от волнения моего и робости моей перед ним не осталось и следа. Через пять минут мне казалось уже, что мы с ним давнишние, добрые знакомые, даже люди близкие между собой, давно уже хорошо знаем и любим друг друга, и что нам ничего другого не остается, как быть друг с другом возможно проще, искреннее и откровеннее, побольше верить друг другу и побольше любить друг друга» (*Александров А. Федор Михайлович Достоевский (Страничка из воспоминаний) // Светоч и Дневник писателя, 1913, № 1. С. 54–55*).

Однако писатель вынужден прервать работу над «Братьями Карамазовыми» и снова ехать 20 июля 1879 года в Бад-Эмс. Достоевский пишет оттуда страстные письма Анне Григорьевне. Ему 58 лет, он уверен, что умрет через год или два; он болен неизлечимой болезнью, но он влюблен, как юноша: «Здесь цветов ужасно много и продают их кучами. Но я не покупаю, некому подарить, царица моя не здесь. А кто моя царица? — Вы моя царица. Я так здесь решил, ибо, сидя здесь, влюбился в Вас так, что и не предполагаю».

Материальное положение его, исключительно благодаря Анне Григорьевне, значительно улучшилось. Она сумела его практически избавить от долгов брата, и он смог даже отдавать другие долги. Сын поэта Плещеева, с которым Достоевский был связан в молодости по кружку петрашевцев, вспоминает, что во второй половине 1870-х годов Достоевский «принес отцу [в Кузнечный переулок, где жил Плещеев, рядом с Достоевским. — С. Б.], в счет какого-то старого долга, 300 рублей, причем в приложенной к деньгам записочке писал, что “хвостик остается еще за ним”. Помнится, что в тяжелые дни жизни, как говорил мне отец, он посылал Федору Михайловичу какую-то сумму, которую тот, при изменив-



шихся обстоятельствах, смог уплачивать ему» (Белов С. В. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Нева, 1985, № 1. С. 207).

Они смогли в октябре 1878 года переехать в более дорогую, просторную и благоустроенную квартиру в доме № 5 по Кузнечному переулку. Анна Григорьевна вспоминает: «Квартира наша состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок <...> Парадный вход <...> расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом)...» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 323).

Просторным был теперь и кабинет Федора Михайловича, в котором находились дубовый диван, кресло из гнутого дерева, этажерка с портретом Анны Григорьевны, гладкий шкаф, письменный стол, заваленный бумагами и книгами, на столе — чернильный прибор, два металлических подсвечника, бронзовая пепельница, серебряный колокольчик. На стенах портреты писателя и его детей, а над диваном большая репродукция с «Сикстинской мадонны» Рафаэля.

Дочь младшего брата писателя Андрея Михайловича Достоевского Варвара Андреевна Савостьянова (1858–1935) навестила вместе с мужем Владимиром Константиновичем Савостьяновым (1853–1899) Достоевского на этой квартире. «Нас встретила Анна Григорьевна (кстати, мы никогда и никто в семье не звали ее тетей), — вспоминает Варвара Андреевна. — Как всегда жизнерадостная, любезная, говорливая. В гостиной на столе стояли сервиз для курения и лампа дрезденского фарфора. Я часто потом видела этот сервиз у них на бархатной скатерти на столе перед диваном. В углу перед образами горела лампадка. Дядя был в своем кабинете и покашливал. Потом, тихой походкой, полусгорбленный, с бледным усталым лицом, неся стакан чаю в руке (как

теперь вижу я его) пришел в гостиную, поздоровался и сел в кресло, рядом с Анной Григорьевной. Начался разговор, не помню о чем. В этот, кажется, приезд наш зашел разговор о покупке имения. Они хотели где-нибудь купить имение, и, зная, что мой муж из Тамбовской губернии, спрашивали его про цену и про возможность купить там имение. "Нам предлагает ее брат, — сказал Федор Михайлович, указывая на свою жену, — имение в Курской губ. Но какая же это Россия? Я хочу в самом центре России, чтобы были березы, а там растет дуб. А я люблю березу и чернолесье. Что может быть лучше первых клейких березовых листочков!"» (Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 215).

Достоевский и Анна Григорьевна смогли даже взять мальчика для работы в «Книжной торговле Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних)», открытой в начале 1880 года на последней квартире писателя. Спустя много лет Петр Григорьевич Кузнецов (1866–1943), ставший впоследствии известным книгопродавцом, вспоминая о своей работе у Достоевских на Кузнечном, рассказывал о скромном быте семьи писателя, о его простоте и доступности, о том, как Достоевский заботился о его читательских интересах, дав ему «Записки из Мертвого дома»: «Тебе, пожалуй, будет трудная, но прочти, что в книге написано, я сам испытал» (*Кузнецов П. Г. Служба у Достоевского // Книжная торговля, 1964, № 5. С. 40–41*).

Известный революционер-народоволец И. И. Попов, учившийся в 1879 году в Петербургском учительском институте, оставил два портрета Достоевского с интервалом в полгода. «...В 1879 году мой брат Павел перевелся из Рождественского училища во Владимирское, лежащее против той же Владимирской церкви, которую посещал Достоевский, — вспоминает И. И. Попов. — Летом, в

теплые весенние и осенние дни Достоевский любил сидеть в ограде церкви и смотреть на игры детей. Я иногда заходил в ограду и всегда раскланивался с ним. Сгорбленный, худой, лицо землистого цвета, с впалыми щеками, ввалившимися глазами, с русской бородой и длинными, прямыми волосами, среди которых пробивалась довольно сильная седина, Достоевский производил впечатление тяжело больного человека. Пальто бурого цвета сидело на нем мешком; шея была повязана шарфом. Как-то я подсел к нему на скамью. Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испек кулич и поставил на мое пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя, — обратился Достоевский к малютке...

Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду еще с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и "куличи" рассыпались. Достоевский продолжал кашлять... Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком, а Достоевский, обращаясь ко мне, сказал:

— Радостный возраст... Злобы не питают, горя не знают... Слезы сменяются смехом...» (*Попов И. И. Минувшее и пережитое. М.; Л., 1933. С. 87*).

Через полгода новая встреча: «...Поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской я снова встретил Ф. М. Достоевского вместе с Д. В. Григоровичем. Федор Михайлович

приветливо ответил на мой поклон. Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твердо, держался прямо и высоко нес свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шел сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке; ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик... Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживет Достоевского...» (Попов И. И. Минувшее и пережитое. М.; Л., 1933. С. 88).

Такая разительная перемена была связана не только с быстро прогрессирующей болезнью Достоевского, но и с изнурительной работой над последним романом. 8 ноября 1880 года, отсылая в журнал «Русский вестник» эпилог «Братьев Карамазовых», он писал редактору Н. А. Любимову: «Ну, вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута».

Таким образом, по свидетельству самого Достоевского, начало работы над одним из величайших романов мировой литературы восходит к концу 1877 года. Но три года продолжалась лишь заключительная стадия — художественное воплощение образов и идей. Вынашивал же эти образы и идеи Достоевский всю жизнь. Все пережитое, передуманное и созданное писателем находит свое место в этом сочинении.

28 июля 1879 года, когда роман уже печатался, Достоевский отметил в письме к публицисту В. Ф. Пуцковичу: «...Никогда ни на какое сочинение мое не смотрел я серьезнее, чем на это». Но работа над романом была неожиданно прервана трагическим событием в личной жизни Достоевского: 16 мая 1878 года в трехлетнем возрасте от припадка эпилепсии в доме на Греческом проспекте умирает его младший ребенок, любимый сын

Алеша. Анна Григорьевна описывает горе писателя: «Федор Михайлович пошел провожать доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени у дивана, на который мы переложили малютку, чтоб было удобнее смотреть его доктору. Я тоже стала на колени рядом с мужем, хотела его спросить, что именно сказал доктор (а он, как я узнала потом, сказал Федору Михайловичу, что уже началась агония), но он знаком запретил мне говорить... И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 321*).

Любовь Федоровна Достоевская дополняет рассказ матери о похоронах Алеши на Большеохтинском кладбище в Петербурге: «Мы все четверо сели в коляску — папа, мама, мой брат Федор и я, — и маленький гробик был поставлен между нами. Дорогой много плакали, гладили маленький белый гробик, усыпанный цветами, и вспоминали все любимые выражения дорогого малютки. После короткой службы в церкви понесли гроб на кладбище... Слезы катились по щекам отца, он поддерживал рыдающую жену. Она не могла оторвать взор от маленького гробика, медленно исчезающего под землей...» (*Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 138*).

Сильно опасаясь, что смерть Алеши фатально отразится на и без того пошатнувшемся здоровье мужа, Анна Григорьевна принимает единственно верное решение в данной ситуации: она просит философа Владимира Сергеевича Соловьева уговорить писателя поехать вместе с ним в Оптину Пустынь — монастырь под Калугой.

Интуиция, основанная на глубокой любви к своему мужу, не подвела ее и сейчас: после поездки в Оптину в июне 1878 года и встречи со старцем Амвросием — подвижником, чудотворцем-целителем Федор Михайлович вернулся утешенным и смог с необычайным вдохновением продолжить работу над «Братьями Карамазовыми».

«Братья Карамазовы» — не только синтез всего творчества Достоевского, но и завершение всей его жизни, итог его духовного пути, от атеизма в кружке петрашевцев (Иван Карамазов) до глубокой веры (Алеша), это — величайший гимн Христу и его делу («Легенда о Великом Инквизиторе»).

Еще при жизни писателя появились первые отклики на публикацию романа. «Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, про произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха», — писал Достоевский 8 декабря 1879 года.

Но лишь очень немногие поняли «заветные убеждения» писателя. Например, великий русский художник И. Н. Крамской писал после смерти Достоевского основателю знаменитой картинной галереи в Москве П. М. Третьякову: «Я не знал..., какую роль Достоевский играл в Вашем духовном мире, хотя покойный играл роль огромную в жизни каждого (я думаю), для кого жизнь есть глубокая трагедия, а не праздник. После «Карамазовых» (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси. Казалось, как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого Инквизитора» есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни

своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным остаться на том месте, где были мы вчера, носить те чувства, которыми мы питались... Достоевский действительно был нашею общественною совестью!» (Переписка И. Н. Крамского и П. М. Третьякова, 1869–1887. М., 1953. С. 277).

В Петербурге, в квартире на Кузнечном, Достоевский обдумывает, а в Старой Руссе пишет свою знаменитую речь о Пушкине, свое завещание. Несомненно, само по себе открытие памятника Пушкину в Москве в июне 1880 года было незаурядным событием в истории русской культуры. Но только речь Достоевского сделала это открытие выдающимся, грандиозным событием в истории не только русской, но и мировой культуры.

Творчество Пушкина дало возможность Достоевскому сказать: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, *всечеловеком*...»

В заключение Достоевский воскликнул: «Смирись, гордый человек!» В этом контексте писатель подчеркивал не слово «человек», а слово «гордый». Достоевский завещал миру: «Воспрянь, духовный человек, и преобрази самого себя. Только так ты преобразишь мир!»

Пушкинская речь Достоевского была его лебединой песней, его духовным завещанием, последним лучом его столь поздней славы: ему оставалось жить чуть больше семи месяцев.

Дочь писателя пишет: «...Достоевский надеялся, что сможет пройти курс лечения в сентябре, но потом отказался от поездки за границу, утомленный волнениями, связанными с его триумфом и политической борьбой. Он думал, что сможет обойтись без Эмса один год. Увы, он и не предполагал, насколько уже был подорван его

бедный организм! Его железная воля, идеал, горевший в его сердце и воодушевлявший его, ввели его в заблуждение относительно его физического здоровья, всегда слабого» (*Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 189).

Но это не совсем точно. Достоевский не заблуждался «относительно» своего «физического здоровья»: он знал, что эмфизема легких прогрессирует и может при любом напряжении организма угрожать жизни. Знала об этом и Анна Григорьевна (ей сказал об этом ее родственник, доктор М. Н. Сниткин, осмотревший по ее просьбе мужа в конце 1879 года), хотя и не предполагала столь быстрого, а потому и несколько неожиданного для нее конца.

Наступает 1881 год. Наконец-то, с помощью жены, Достоевский избавился от долгов брата по журналам «Время» и «Эпоха», которые он честно выплачивал с 1865 года. М. Н. Катков оставался еще должен за «Братьев Карамазовых» около пяти тысяч рублей. Казалось, можно отдохнуть после изнурительной трехлетней работы над «Братьями Карамазовыми».

Но разве Достоевский может отдыхать, быть пассивным наблюдателем, когда речь идет о судьбе столь дорогой для него России?! И Достоевский берется снова за выпуск «Дневника писателя», ежемесячный выпуск которого давал ему возможность оперативно и страстно откликаться на все животрепещущие и тревожные вопросы современности.

Как всегда, Достоевский полон грандиозных творческих планов: два года он решает издавать «Дневник писателя», а затем собирается продолжить «Братьев Карамазовых». В двух новых книгах романа будут фигурировать те же действующие лица, но через двадцать лет, в современную эпоху, и главным героем станет любимый Алеша.



Почти весь январь 1881 года Достоевский чувствовал себя хорошо. Припадки эпилепсии не беспокоили его уже несколько месяцев, и он решает принять участие в домашнем спектакле у С. А. Толстой в роли схимника в пьесе «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого. Кажется, ничто не предвещало беды...

О последних днях, часах и минутах жизни Достоевского в Петербурге свидетельствует Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях» и в своей записной книжке 1881 года. В ночь с 25 на 26 января 1881 года, когда писатель отодвинул тяжелую этажерку, чтобы найти вставку с пером, у него пошла кровь горлом. Кровотечение скоро приостановилось и, возможно, больше не повторилось бы, если бы не приезд на следующий день из Москвы сестры Достоевского Веры Михайловны Ивановой.

По особому распоряжению о земельном имуществе тетки писателя А. Ф. Куманиной, скончавшейся в 1871 году, Достоевский в январе 1881 года был введен во владение частью ее рязанского имения. 26 января 1881 года сестра писателя Вера Михайловна Иванова обратилась к нему с просьбой отказаться в пользу сестер от своей доли в доставшемся ему имении. По воспоминаниям дочери писателя, между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве. Достоевский не хотел отказываться от рязанского имения, зная, что у него подрастают дети. Через 35 лет Анна Григорьевна говорила писателю А. Измайлову, что, освободившись за год до смерти от долгов, Достоевский «мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками в политической жизни Родины» (*Измайлов А. У А. Г. Достоевской // Биржевые ведомости, 1916, 28 января*). Но особенно потрясло Достоевского, что об этом с ним приехала говорить его любимая сестра, у которой к тому же уже было свое имение в Даровом под Москвой.

Нервный, тяжелый и неприятный разговор с В. М. Ивановой, вызвавший у Достоевского новое, на этот раз очень сильное и долгое кровотечение, явился главной причиной, ускорившей смерть писателя.

Рано утром в день смерти Достоевский разбудил жену. «Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович полупшепотом, — я уже часа три как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 374*). Анна Григорьевна уверяет мужа, что он будет жить, но он прерывает ее: «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 375*). Это было Евангелие, подаренное Достоевскому 30 лет назад в Тобольске женами декабристов по дороге в омскую каторгу. В трудные минуты жизни Достоевский любил открыть Евангелие наугад и прочесть то, что открылось на левой странице.

Он открыл Евангелие, но прочесть уже не было сил. И Анна Григорьевна прочла (открылась третья глава от Матфея): «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Ты слышишь — “не удерживай” — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу», а затем прибавил: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 375–376*).

Достоевский позвал детей и «говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им» (*Суворин А. С. О покойном // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 416*).

Анна Григорьевна весь день ни на минуту не отходила от умирающего. Он держит ее руку в своей и шепчет: «Бедная... дорогая, с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!..» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 377).

28 января (9 февраля) 1881 года, в 8 часов 38 минут вечера, Достоевский скончался.

Смерть писателя переживалась каждым русским человеком как национальный траур и личное горе.

В 11 часов утра 31 января 1881 года начался вынос тела Достоевского из его квартиры на Кузнечном переулке, похоронная процессия двинулась к кладбищу Александро-Невской лавры. Вечером того же дня будущий знаменитый физиолог И. И. Павлов писал своей невесте: «Процессия из квартиры по Невскому прошла в Александро-Невскую лавру, где гроб будет стоять до завтра, когда произойдет погребение. Шли целых три часа. Если бы чувствовал все это покойник, остался бы доволен. Его Алеша на последних страницах "Братьев Карамазовых" из смерти Илюшечки сделал высокую нравственную минуту для десятка мальчиков. Сам он своей смертью поднял, возвысил душу всего думающего и чувствующего града Питера» (Письма Павлова к невесте // Москва, 1959, № 10. С. 176).

Похороны Достоевского превратились в историческое событие: тридцать тысяч народу провожало его гроб, 72 делегации несли венки, 15 хоров участвовало в процессии. Гроб несли Д. В. Григорович, Вл. С. Соловьев, петрашевцы А. Н. Плещеев, А. И. Пальм.

1 февраля 1881 года тело писателя предали земле на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, рядом с могилой любимого поэта Достоевского В. А. Жуковского.

Среди тех, кто произнес речь на могиле Достоевского, были А. И. Пальм и Вл. Соловьев. Так старые и новые

друзья благословили в последний путь самого страстного мечтателя о всеобщем братстве и равенстве людей.

Достоевский прожил в Петербурге 28 лет. В Петербурге состоялось его рождение как гениального писателя, в Петербурге он обрел личное счастье, в Петербурге он умер и похоронен.

«АРХИТЕКТУРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЛИНИЙ ИМЕЮТ,  
КОНЕЧНО, СВОЮ ТАЙНУ».

*ПЕТЕРБУРГСКИЕ «ЖИЛИЩА»  
ГЕРОЕВ ДОСТОЕВСКОГО*

«Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: "Дом потомственного гражданина Рогожина"»

*«Идиот»*

В «Бедных людях» Достоевский развивает излюбленную тему русской литературы 1840-х годов — тему маленького, бессильного, забитого человека, начатую Пушкиным в его «Станционном смотрителе» и достигшую вершины в знаменитой «Шинели» Гоголя. В повести «Шинель» Гоголь изображает бедного чиновника Акакия Акакиевича, тупого, забитого и бессловесного. Ценой нечеловеческих лишений он собирает деньги на покупку новой шинели. Но ее у него крадут, и он умирает от отчаяния и горя. Герой «Бедных людей» Макар Девушкин тоже бедный и жалкий чиновник, так же всю жизнь переписывает бумаги, над ним издеваются сослуживцы, его распекает начальство. Достоевский оказался внимательным читателем гоголевской повести, но вместе с тем ученик бунтует против учителя.

Лев Толстой любил повторять слова художника Карла Брюллова: «Искусство только там и начинается, где начинается "чуть-чуть"». Казалось бы, молодой Достоевский лишь «чуть-чуть» изменил Гоголя: вместо вещи (шинели) у Достоевского — живое лицо (Варенька); тупое существо, высший идеал которого — теплая шинель, Акакий Акакиевич уступает место трогательному в своей привязанности, бескорыстной любви к Вареньке Макару Алексеевичу, но в этом и заключалась простота и гениальность замысла Достоевского. Процесс пробуждения личности в маленьком человеке, глубокое проникновение во внутренний мир этого человека, так поразившее Белинского, — вот то новое, что внес Достоевский в первый свой роман. Он проследил, как униженное и оскорбленное существо начинает сознавать в себе человека и даже делает робкую попытку бунтовать против разделения людей на бедных и богатых. Встреча с Варенькой и явилась для Макара Деушкина решающим толчком к проявлению социального протеста.

Достоевского, в отличие от Гоголя, интересует не только «бедность» маленького человека, но и искаженное под влиянием нищеты сознание «забитого» человека. Достоевский анализирует бедность как особое душевное состояние человека. 1 февраля 1846 года он писал брату: «Все наши и даже Белинский наши, что я далеко ушел от Гоголя. Во мне находят новую оригинальную струю, состоящую в том, что я действую анализом, а не синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое».

Макар Деушкин читает «Шинель» и принимает все на свой счет. Он глубоко оскорблен этим «пашквилем» и жалуется на него Вареньке: «И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник».

Макар Девушкин с негодованием возвращает Вареньке «Шинель» и с восторгом отзывается о «Станционном смотрителе»: «Читаешь — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое оно уже там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно, — вот как! Нет, это натурально!»

Для Достоевского это высший приговор над «Шинелью». Начинающий писатель вступает в полемику с Гоголем по вопросу о гуманизме. Гуманизм, считает Достоевский, заключается не только, а возможно, и не столько в том, чтобы пожалеть бедного человека, а в том, чтобы наделить его голосом, сделать судьей. Достоевский не признает Акакия Акакиевича как героя, лишенного самосознания, душевного мира. Он подходит к человеку не извне — это оскорбительно, а изнутри. Не оупение героя под влиянием бедности интересует Достоевского, а его изощренное сознание. Макар Девушкин страдает не от бедности, как Акакий Акакиевич, а от сознания, что другие видят его нищету. Герой «Бедных людей» пьет чай, потому что пьют другие, он стесняется своих рваных сапог не потому, что ему неудобно в них ходить, — его больше беспокоит, что подумают другие, увидев такие сапоги.

Но физические страдания — ничто по сравнению с душевными терзаниями, на которые обрекает бедность. Девушкин переживает ее не только как социальное явление, но и анализирует как особый склад души, особое психологическое состояние человека. Нищета означает незащитность, запуганность, униженность, она лишает человека достоинства, превращает в «ветошку», бедняк замыкается в своем стыде и гордости, ожесточается сердцем, делается подозрительным и «взыскательным».

Макар Девушкин — тот же Акакий Акакиевич, но наделенный самосознанием. Слово героя о себе — вот с чего начал будущий создатель полифонического романа,

а «Бедные люди» — уже зародыш полифонии. Вот почему это роман в письмах — герой получил возможность говорить о себе. И здесь тоже полемика с Гоголем, видевшим трагизм Акакия Акакиевича в отсутствии самосознания героя, а у Макара Девушкина, наоборот, гипертрофированное сознание.

И в герое «Шинели», и в герое «Станционного смотрителя» Девушкин узнает самого себя. Но если второго он полностью принимает, то первого полностью отвергает: бедному человеку совсем не нужно сожаление и сочувствие, напротив, он боится их. В «Шинели» Акакий Акакиевич встречается с полным равнодушием и умирает. Достоевский меняет ситуацию: «их превосходительство», увидев оторванную пуговицу, дает герою 100 рублей и пожимает ему руку.

Эта сцена, которая привела в такой восторг Белинского, имеет двойной смысл. Достоевский пытается смягчить остроту социальных противоречий и в духе утопического социализма мечтает о мире и согласии между «их превосходительством» и Макаром Девушкиным. Но есть и второй, более глубокий подтекст в этой сцене. «Их превосходительство» пожалел своего подчиненного — дал ему 100 рублей. Значит, Девушкин перестал быть бедным человеком, однако положение не изменилось: сословная иерархия сохранилась, и герой остался таким же несчастным. Здесь Достоевский снова полемизирует с Гоголем: дело не в доброжелательстве или его отсутствии — общественный строй от этого не меняется.

Макар Девушкин, в отличие от Акакия Акакиевича, не только униженная, забитая, но и протестующая личность. И хотя Достоевский показывает, что такие люди, как Макар Девушкин, настолько свыклись со своим положением, что уже сами не верят в существование справедливости, все же герой «Бедных людей» — первый «бунтовщик» у Достоевского. Соединив гоголевскую тему



о бедном чиновнике с фабулой «Станционного смотрителя», Достоевский из скромной психологической истории любви Девушкина к Вареньке создал реалистическую картину общественного зла и социальной несправедливости.

Все действие первого произведения Достоевского происходит в Петербурге. И это не случайно. Достоевский полагал, что именно реформа Петра привела к резкому разделению на бедных и богатых, и Петербург стал символом этого разъединения, а Варенька и Макар Девушкин — неизбежное следствие петровской реформы. Деревянный домик на Петербургской стороне (здесь Варенька живет с родителями), Шестая линия Васильевского острова (здесь Варенька живет с матерью после смерти отца), Выборгская сторона, Гороховая улица, Фонтанка (вблизи Фонтанки живет Варенька, похоронив мать, напротив Вареньки, во дворе дома, проживает Макар Девушкин), — вот первые приметы будущего Петербурга Достоевского.

У Достоевского уже появляются излюбленные места в Петербурге — это Фонтанка. Здесь живут не только «бедные люди», здесь же, у Семеновского моста, живет в «Подростке» Васин, в доме Колотушкина, где остановился Михаил Андреевич Достоевский, когда в 1837 году привез сыновей Михаила и Федора в Петербург, здесь живет Наташа Ихменева в «Униженных и оскорбленных».

Г. Федоров справедливо замечает, что «безысходность девичьих судеб связана с местом на Фонтанке: «Варенька обречена на супружество с Быковым, растоптана честь Наташи, кончает с собой приехавшая из Москвы Оля... И с ним же бессилье “бедного чиновника” Девушкина защитить Вареньку» (Федоров Г. Достоевский. Санкт-Петербург. 1837 // Знание — сила, 1981, № 2. С. 47).

Г. Федоров указывает далее, что Шестая линия Васильевского острова, по которой идет также Нелли из

«Униженных и оскорбленных», связана с домом Нечаевых — родни Достоевского (супруг сестры матери Достоевского, здесь же жила семья деда Достоевского по материнской линии).

В «Бедных людях» уже намечается тот образ Петербурга, который потом получит самостоятельное значение в «Преступлении и наказании», в изображении социальных контрастов Петербурга впервые слышится голос будущего автора «Преступления и наказания». «Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый, — пишет Макар Деушкин Вареньке. — По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, точно номера, все так в ряд простираются. Ну вот и нанимаются эти номера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег!..»

Как будто это монолог Мармеладова из «Преступления и наказания» о его петербургском жилище, причем совпадение поразительное: «У нас чижики так и мрут. Мичман уже пятого покупает, — не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют, намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного».

Кажется, что это Мармеладов, а не Макар Деушкин поднимается к себе ежедневно по лестнице, которая была «винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякой нечистью, с грязью, с

сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной... одним словом, нехорошо».

Да и петербургский пейзаж в «Бедных людях» в качестве средства раскрытия психологии героя так напоминает пронзительно-щемящий петербургский пейзаж «Преступления и наказания», с его социальными контрастами в восприятии Раскольникова: «Вечер был такой темный, сырой... Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки; какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в копченном масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, вот какова была публика! Час-то, видно, был такой, что другой публики и быть не могло.

Судоходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня».

Уже в «Бедных людях» намечается тема двойственности Петербурга, которая потом станет превалирующей в «Преступлении и наказании», когда Раскольников любил смотреть с Николаевского моста на Исаакиевский собор, на роскошь невских дворцов: «Когда я поворотил в Гороховую, то уже смеркалось совсем и газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой, — не удавалось. Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; все так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так,

для красоты разложено — так нет же: ведь есть люди, что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица! Немецких булочников очень много живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит; как это все мостовая выносит! Пышные экипажи такие, стекла как зеркало, внутри бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты заглядывал, всё дамы сидят, такие разодетые, может быть и княжны и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания спешили».

Детские страдания рождают «ропот, либеральные мысли» у Макара Деушкина, которые потом вырастают в настоящий бунт Раскольниковова: у гроба сына чиновника Горшкова, «мальчика лет девяти», «маленькая девочка, дочка, стоит, да такая бедняжка скучная, задумчивая! А не люблю я, маточка Варенька, когда ребенок задумывается...», а нищий мальчик, так напоминающий «Мальчика у Христа на елке», «подбежал он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул он ко мне бумажку и говорит: Записка! Развернул я записку — ну что, все известное: дескать, благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите...»

В «Бедных людях» уже в зародыше тот Петербург Достоевского — «самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», — который потом окончательно оформится в послекаторжных романах писателя и прежде всего в «Преступлении и наказании».

1 февраля 1846 года выходит книжка «Отечественных записок» с «Двойником». И снова ученик бунтует против учителя, Достоевский против Гоголя, только на этот раз против «Записок сумасшедшего» (сюжет «Двойника» развивает тему «Записок») и «Носа» (мотив раздвоения Голыкина в «Двойнике» — нос, отделившийся от коллеж-

ского ассессора Ковалева, тоже становится как бы его двойником).

Титулярный советник Яков Петрович Голядкин — порождение призрачного города, самого фантастического города на свете, каким всегда казался Достоевскому Петербург. Бюрократический строй николаевской империи подавляет человеческую личность, лишает ее лица и человеческие ценности подменяет табелью о рангах. В борьбе за место под солнцем бедный человек раздваивается: сознание Голядкина-старшего порождает Голядкина-младшего, преуспевающего подлеца, которые отделяется от Голядкина-старшего и начинает вести против него интриги.

Так тема раздвоения (с одной стороны, Голядкин презирает людей, ездивших в голубых каретах, а с другой — страстно им завидует и страстно желает стать таким же) оборачивается темой самозванства — популярной темой в русской литературе 1830-х годов. Русская история всегда была богата самозванцами: Димитрий, Разин, Пугачев, Екатерина II (через мужа), Александр I (через Павла — размышления Достоевского в Михайловском замке), Николай I (занял место Константина), совсем близкий пример из европейской истории — Наполеон, объявивший себя императором, а в литературе — Хлестаков в «Ревизоре» и Поприщин в «Записках сумасшедшего», объявляющий себя испанским королем (спустя много лет писатель В. Г. Короленко, специально занимавшийся проблемой русских самозванцев, с полным основанием включил в их число и Голядкина-младшего).

Достоевский соединяет обе темы: раздвоение и самозванство. Однако, если Поприщин нашел удовлетворение в том, что он — испанский король, Голядкин-старший становится несчастен, когда у него появляется двойник, потому что Голядкин-младший интригует против Голядкина-старшего. Вот поворот Достоевским гоголевской те-

мы. Став влиятельным, самозванец угнетает тех, кто стремится уподобиться ему. Достоевский берет трагическую сторону самозванства. Самозванный двойник сразу же обнаружил желание вытеснить Голядкина-старшего из земного существования, постоянное угнетение человека может пробуждать в нем темную жажду мести, зависть к чужой подлости — вот почему Голядкин раздваивается. Здесь впервые Достоевский прозревает появление людей, которые ни с чем не считаются для достижения своей цели и которым все позволено — недаром же в «Преступлении и наказании» образ Раскольникова ассоциировался в сознании писателя с образом Наполеона.

Голядкин-младший, двойник Голядкина-старшего, появляется на Фонтанке, в холодную ноябрьскую петербургскую ночь: «На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь, когда господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки... Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрагивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю. Шел дождь и снег разом. Ни души не было ни вблизи, ни вдали, да казалось, что и быть не могло в такую пору и в такую погоду... Где-то далеко раздался пушечный выстрел. “Эка погодка, — подумал герой наш, — чу! не будет ли наводнения? Видно, вода поднялась слишком сильно”. Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего... ночной приятель его был не кто иной, как он сам — господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, — одним словом, что называется двойник его во всех отношениях...»

Семеновский мост через Фонтанку, по которому идет к себе домой в Шестилавочную улицу (ныне улица Маяковского) Голядкин-старший, Измайловский мост через Фонтанку, где находился большой дом, куда приехал с поздравлением к своему начальнику Голядкин-старший, Фонтанка, где он раздваивается. Все происходит вокруг водной стихии, раздвоение своего героя автор связывает с петровской реформой, созданием искусственного, умышленного города.

Г. Федоров справедливо отмечает, что «и кризис г. Голядкина, и перелом в его судьбе происходят на набережной, где с одной стороны сомкнутый строй домов, с другой — “черные воды”, угрожающие городу наводнением. Но почему избрана Фонтанка? <...> И эта часть Петербурга избрана Достоевским, для того чтобы выразить всю столицу, тем самым “своя” дорога героя становилась дерзновенной. Это как бы модель царской столицы со всеми основными компонентами. И дворец, и Измайловский собор — местный Исаакий (к 1845 г. купол Исаакия уже неотъемлемая деталь панорамы центральных кварталов со стороны Невы). Жилища знати и трущобы, официальные учреждения, и Гостиный двор, и часть главной магистрали — Невский. И своя Нева — Фонтанка. Имея собственное имя, она рукав Невы <...> На небольшом отрезке пространства, на набережной, у края разбушевавшейся стихии, представал острейший социальный лик столицы...» (Федоров Г. Достоевский. Год 1846 // Страницы минувшего. М., 1991. С. 387, 393–394, 390).

В «Хозяйке», на первый взгляд довольно странном произведении, сказались и юношеское увлечение Гофманом и Шиллером, и дружба с Шидловским в Инженерном училище. Образ героя «Хозяйки», историка Церкви, мечтателя Ордынова автобиографичен, но, в отличие от предыдущих произведений, писатель анализирует здесь не социальное, а психологическое порабощение

бедного человека: загадочный старик Мурин (фамилия образована от пригорода Петербурга) таинственно поработил сердце Катерины постоянным внушением ей чувства ее вины, ее греха. Главная идея этой ранней повести, которую тогда почти никто не понял, раскрылась только тридцать лет спустя, в романе «Братья Карамазовы». Великий Инквизитор говорит Христу: «Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается... Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет».

Впервые в «Хозяйке» петербургский пейзаж намечается как одна из функций человеческого сознания, что впоследствии станет доминирующим в «Преступлении и наказании»: «...Неприметно зашел он в один отдаленный от центра города конец Петербурга. Кое-как пообедав в уединенном трактире, он вышел опять бродить. Опять прошел он много улиц и площадей. За ними потянулись длинные желтые и серые заборы, стали встречаться совсем ветхие избенки вместо богатых домов и вместе с тем колоссальные здания под фабриками, уродливые, почерневшие, красные, с длинными трубами. Всюду было безлюдно и пусто; все смотрело как-то угрюмо и неприязненно...»

Но только в душе Раскольникова было также «безлюдно и пусто», «угрюмо и неприязненно», как и в Петербурге.

Фантастическим городом, так напоминающими Петербург в фельетоне Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе», предстает столица в ранней повести Достоевского «Слабое сердце», когда Аркадий — друг Васи Шумкова, проводивший его в сумасшедший дом, бродит по Петербургу:



«Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей во мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и исcurится паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе незнакомого ему ощущения...»

Образ мечтателя является одним из центральных в творчестве молодого Достоевского. Неудовлетворенность действительностью сближает молодого писателя и его героя-мечтателя в повести «Белые ночи». С одной стороны, Достоевский утверждает, что призрачная петербургская жизнь (такая же призрачная, как сам Петербург) есть грех, так как она уводит от настоящей действительности, а с другой — подчеркивает творческую

ценность этой искренней и чистой жизни, ее влияние на вдохновение художника: «Он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу».

В рассказе героя о ночных грезах слышится голос самого писателя. Вот почему «Белые ночи» написаны от первого лица, в форме исповеди, и тема мечтательства представлена в этой повести в таком волшебном поэтическом блеске, в таком очаровании молодости.

Это вдохновение художника покупается дорогой ценой, отрывом от реальности, духовным одиночеством. Мечтатель свободно парит в мире своей фантазии и не умеет ступить по земле.

«Белые ночи» — повесть об одиночестве человека, не нашедшего себя в мире, о несостоявшемся счастье. В «Белых ночах» есть тема отнятой любви и бесплодной мечты, но не это главное. Для Достоевского важен ее характер, оказывающий влияние на человеческую душу. Герою «Белых ночей» неведомы эгоистические побуждения. Он готов всем пожертвовать ради другого и стремится устроить счастье Настеньки — единственное, что может получить от жизни. Любовь Мечтателя к Настеньке озарена нежным светом петербургских белых ночей. Это чувство бескорыстно, доверчиво и так же чисто, как белая ночь. Мечтатель благоговеет перед святыней любви, душа его переполнена ею. Любовь к Настеньке спасает его от «греха» мечтательства и утоляет жажду настоящей жизни.

Но участь его печальна. Он снова одинок. Однако здесь нет безысходного трагизма. Мечтатель благословляет своего доброго гения: «Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!»

«Белые ночи» — своеобразная идиллия. Все, казалось бы, неразрешимые вопросы разрешаются легко, по договору. Это утопия о том, какими могли бы быть люди, если бы не побоялись обнажить все свои лучшие чувства. Это скорее мечта о другой, красивой жизни, чем отражение действительности. В любви Настеньки к двоим нет греховности, это — братская любовь. Достоевский изъясил героев из повседневности и поместил в утопическую среду прозрачных и призрачных белых ночей, где есть свои горести и несчастья, но где все чисто и благородно, где нет и тени зла. «О Боже! если бы я могла любить вас обоих разом! — пишет Настенька в прощальном письме. — О, если бы вы были он!.. Вы будете вечно другом, братом моим».

Счастье — это не жизненная удача, а простое, искреннее проявление жизни, пусть даже печальное или трагическое, — вот мысль Достоевского. «Влюбленная дружба» Мечтателя и Настенька, мелодия Россини, промелькнувшая минута блаженства, белые ночи — такова прозрачная и волшебная ткань это повести, такая же прозрачная и волшебная, как петербургская белая ночь. Ощущение Петербурга, как призрачного, фантастического города, пройдет через всю жизнь Достоевского — вот почему он почти не изображает центра города.

Действие «Белых ночей» происходит на Екатерининском канале (водная стихия Петербурга усиливает фантастический колорит города), ибо сюда, к Юсупову саду, забредает Мечтатель из «отдаленнейшей части Петербурга». Впервые в этой повести появляется интимный Петербург, который Мечтателю гораздо ближе, чем люди: «Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: "Здравствуйте, как ваше здоровье? И я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж..." Из них у меня есть любимцы, есть

короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: “А меня красят в желтую краску!” Злодеи! Варвары! они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком...»

В послекаторжных петербургских романах Достоевского и прежде всего в «Преступлении и наказании» Екатерининский канал становится главным местом действия этих произведений, а от Мечтателя прямая дорога к Родиону Раскольникову, ибо Достоевский рассматривает их как разновидности типа «лишнего человека», а «жилище» Мечтателя поразительно напоминает каморку Раскольникова: «Есть в Петербурге довольно странные уголки... В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, непохожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридцатом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем — (увы, Настенька) — тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого... В этих углах проживают странные люди-мечтатели».

Ведь Раскольников тоже мечтатель, он тоже любил «бродить по городу в глубокой тоске, решительно не

понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной, — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю...»

Счастье Мечтателя так же призрачно и обманчиво, как и красота белых ночей, как петербургская природа: «Есть что-то неизъяснимо-трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опустится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно делается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза, что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки?.. Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...»

Призрачный колорит белых ночей придает всей повести щемяще-грустный и нежный оттенок. Как пишет Н. П. Анциферов, «в белую ночь мгновенно озарил душу Достоевского скорбный облик Петербурга» (*Анциферов Н. П. «Непостижимый город...»* Л., 1991. С. 208).

Достоевскому всегда была близка музыка, его интересовала возможность перенесения законов построения

музыкального произведения на произведения литературного творчества. Неудивительно, что героем следующего его произведения «*Неточка Незванова*» становится музыкант. Но главное, что связывает все произведения, созданные до каторги, — это тема бедных людей.

История музыканта Ефимова, история дружбы Неточки с княжной Катей и история ее покровительницы Александры Михайловны — первый опыт большого романа, в котором Достоевский сделал попытку детально исследовать психологию бедного человека, проанализировать тончайшие движения его души и сердца.

Писатель задумал большое художественное полотно, но роман «*Неточка Незванова*» остался незаконченным и прервался на самом драматическом эпизоде ранней юности героини. Все три истории — Ефимова, Неточки и Кати и Александры Михайловны — как бы самостоятельные повести, связанные лишь Неточкой, рассказывающей их. И хотя Достоевскому не удалось достичь композиционного единства, но он, вероятно, и не ставил себе эту задачу. Для него важно было другое: проверить в этом произведении, как в своеобразной творческой лаборатории, технику и образную структуру будущих своих романов.

Так, например, в большой чахоткой и изнемогающей от непосильного труда, «мечтательнице и энтузиастке», матери Неточки уже просматривается образ Катерины Ивановны Мармеладовой, сам Мармеладов наследует многие черты музыканта Ефимова, да и сама жизнь этих бедных людей — Ефимова, его жены и Неточки — как бы переносится Достоевским в первый из пяти гениальных его романов, написанных после каторги, — «*Преступление и наказание*».

Вражда между родителями, потрясшая детское воображение Неточки, заставляет писателя задуматься над трагедией ребенка, живущего в «странном семействе». От «*Неточки Незвановой*» — прямой путь к «*Подростку*»

и «Братьям Карамазовым», от «странного семейства» к «случайному». Из «странного семейства» в «Неточке» выросли «случайные» в «Подростке» и «Братьях Карамазовых».

Сама композиция истории о музыканте Ефимове предвещает излюбленное построение Достоевским его будущих больших романов, когда за экспозицией, представляющей тщательную психологическую разработку характеров и ситуаций, всегда следует катастрофа.

От Неточки ведут свое начало кроткие женщины у Достоевского (Сонечка в «Преступлении и наказании», София Матвеевна в «Бесах», София Ивановна в «Братьях Карамазовых», «Кроткая» и др.), смиренно несущие свой крест, выпавший на их долю, и верящие в конечную победу добра. И, наоборот, княжна Катя положила начало гордым, «инфернальным» женщинам: Полина в «Игроке», Настасья Филипповна в «Идиоте», Лиза в «Бесах», Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых», и здесь уже намечена тема «страшной» силы их красоты.

От мужа Александры Михайловны, Петра Александровича намечаются духовные тираны у Достоевского: князь Валковский в «Униженных и оскорбленных», Лужин и Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Тоцкий в «Идиоте» и, наконец, Ставрогин в «Бесах», завершающий этот жуткий демонический ряд.

Арест и каторга помешали Достоевскому закончить работу над «Неточкой Незвановой», как бы завершающей докаторжный период творчества писателя, который весь прошел под знаком защиты бедного, униженного и оскорбленного человека, под знаком защиты бедного, униженного и оскорбленного Петербурга.

В «Неточке Незвановой», как и в других докаторжных произведениях Достоевского, еще нет реального Петербурга, герои еще не имеют точных петербургских адресов. Эта тенденция намечается в «Униженных и оскорбленных», но осуществится она в «Преступлении и наказа-

нии», романе, развенчивающем революционный бунт Раскольникова, зародившийся именно в Петербурге.

«Униженные и оскорбленные» — это первый петербургский роман, написанный Достоевским после каторги, явившийся как бы творческой лабораторией писателя, подготовкой к последующим пяти великим романам. Это — мелодраматический авантюрный роман, в который автор вкладывает новое психологическое и идейное содержание. Начинаясь с писателя Иван Петрович — сам Достоевский эпохи 1840-х годов. Рассказ об Иване Петровиче, о том, как он написал повесть о бедном чиновнике, имевшую большой успех, — личная исповедь писателя, его воспоминания о начале собственного литературного пути. Даже отношения между Наташей, Алексеем и Иваном Петровичем, напоминающие отношения между Варенькой, Девушкиным и студентом Покровским в «Бедных людях», между Настенькой, Мечтателем и Молодым человеком в «Белых ночах», навеяны треугольником семипалатинской ссылки: Достоевский, Мария Дмитриевна, Вергунов.

Однако настоящий герой «Униженных и оскорбленных» не Иван Петрович, а князь Валковский: его злая воля определяет судьбу остальных героев романа. Духовный опыт каторги не прошел для Достоевского бесследно: впервые в его произведениях появляется «сильный» человек, стоящий по ту сторону добра и зла, вне морального закона. Мечтательному, отвлеченному, идиллическому гуманизму 1840-х годов, проповедовавшему естественную безгрешность человека, Достоевский отныне и до конца своих дней противопоставляет религиозную истину о первородном грехе, о греховной природе человека, о добре и зле в душе каждого человека.

От Валковского идут прямые нити к Свидригайлову и Раскольникову в «Преступлении и наказании», к Петру



Верховенскому и Ставрогину в «Бесах», к Федору Павловичу и Ивану Карамазовым в «Братьях Карамазовых».

«Мрачная это была история, — пишет Достоевский о том, что случилось в «Униженных и оскорбленных», — одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно... сбываются под тяжелым петербургским небом... среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов...»

В «Униженных и оскорбленных» уже намечается отчуждаемый от бедных людей Петербург «Преступления и наказания» с «туманной перспективой улицы, освещенной слабо мерцающими в сырой мгле фонарями», с «грязными домами», с «угрюмыми, сердитыми и промокшими прохожими», с «картиной, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью, купол петербургского неба».

Впервые в «Униженных и оскорбленных» появляется точная топография Петербурга и прежде всего Вознесенский проспект, где находится в романе кондитерская Миллера и где начинается действие «Униженных и оскорбленных»: «Посетители этой кондитерской большей частью немцы. Они собираются сюда со всего Вознесенского проспекта — всё хозяева различных заведений: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, седельники — всё люди патриархальные в немецком смысле слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяин подходил к знакомым гостям и садился вместе с ними за стол, причем осушалось известное количество пунша. Собаки и маленькие дети хозяина тоже выходили иногда к посетителям, и посетители ласкали детей и собак. Все были между собою знакомы, и все взаимно уважали друг друга. И когда гости углублялись в чтение немецких газет, за дверью, в квартире хозяина, трещал августин, наигрываемый на дребезжащих фортепьянах старшей хозяйской

дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. Вальс принимался с удовольствием. Я ходил к Миллеру в первых числах каждого месяца читать русские журналы, которые у него получались».

В кондитерской Миллера на Вознесенском проспекте умирает собака Азорка, хозяином которой был старик Смит, дедушка Нелли. Сам же Смит умирает недалеко от кондитерской, в узком и темном переулке, и там же он жил «в доме Клугена». Очевидно, это Глухой переулок (ныне переулок Пирогова), где потом во дворе одного из домов Раскольников спрячет вещи, похищенные у старухи.

На Шестилавочной улице живет Маслобоев, на Вознесенском мосту Иван Петрович встречает Нелли, на Литейном, «в прекрасной квартире» живет Алеша с Наташей, а позднее на Фонтанке у Семеновского моста в доме купца Колотушкина Алеша поселяет Наташу (ныне перестроенный дом на Фонтанке, 103 — дом, в котором в 1837 году останавливался по приезде в Петербург М. А. Достоевский с сыновьями (установлено Г. Федоровым в его статье «Достоевский. Санкт-Петербург. 1837» // Знание — сила, 1981, № 2. С. 47)), у Торгового моста находилась квартира графини, куда князь Валковский водил Ивана Петровича, князь Алеша Валковский «жил у отца в Малой Морской», на Шестой линии Васильевского острова живет Нелли с матерью, а недалеко от них, на Тринадцатой линии в домике с садиком обитают старики Ихменевы, у Вознесенского моста находится Толкучий рынок, где Иван Петрович покупает платье для Нелли.

В «Униженных и оскорбленных» находим несколько пронзительно-интимных описаний Петербурга, впоследствии подобные описания станут неотъемлемой частью «Преступления и наказания». Герой «Униженных и

оскорбленных» ищет квартиру в Петербурге, такую, чтобы в ней была «хоть одна комната, но непременно большая», так как «в тесной квартире даже и мыслям тесно», и проходит по Вознесенскому проспекту: «Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли... Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!»

Герой «Записок из подполья» произносит странную, на первый взгляд, и загадочную фразу: «Слишком сознать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.)»

Но смысл этой странной фразы приоткрывается только в идейном контексте «Записок из подполья», в полемике Достоевского с революционными демократами, и прежде всего с романом Чернышевского «Что делать?», с рассуждениями его героя Лопухова о выгоде как единственной причине человеческих поступков.

Подпольный человек считает, что главное для человека не выгода, а его свободная воля, вольное и свободное хотение. Человек может захотеть, казалось бы, и самого неразумного для себя, чтоб только иметь право захотеть: это и есть самое выгодное, так как «сохраняет нам самое

главное и самое дорогое, т. е. нашу личность и нашу индивидуальность».

Мало того. В своей страстной защите каждой отдельной личности герой «Записок из подполья» доходит до парадоксального утверждения: «Свое собственное вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда, хотя бы даже до сумасшествия, — вот это все и есть самая выгодная выгода».

И последний необычайно смелый вывод: «Человеку надо одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела». Свободный акт человека коренится не в разуме, а в его воле, которая по своей природе иррациональна, в «живой жизни».

Но полностью смысл фразы о Петербурге как самом отвлеченном и умышленном городе на свете раскрылся лишь в романе «Преступление и наказание», который в какой-то мере продолжает тему «Записок из подполья». Очень рано Достоевскому открылось таинственное противоречие, заключенное в понятии человеческой свободы. Весь смысл и радость жизни для человека именно в ней, в свободе воли, в этом «своеволии». И это «своеволие», полемизирует Достоевский с Чернышевским, делает невозможным построение «хрустального дворца», будущего социалистического общества (Четвертый сон Веры Павловны).

В «Преступлении и наказании» проблема «своеволия» получает несколько иное художественное решение. Писатель вскрывает сущность «своеволия» Раскольникова: за словами Родиона Романовича о «благе человечества» (эквивалент «хрустальному дворцу») отчетливо проступает «идея Наполеона» — идея одного избранного, стоящего над человечеством и предписывающего ему свои законы.

Достоевский ставит еще один вопрос: допустимо ли нравственно построение этого «хрустального дворца»? Допустимо ли, чтобы один человек (или группа людей) взял на себя смелость, присвоил себе право стать «благодетелем человечества» со всеми вытекающими отсюда последствиями? Старуха-процентщица — символ современного зла. Допустимо ли ради счастья большинства уничтожение «ненужного» меньшинства? Раскольников, как и молодой Достоевский — атеист и революционер, отвечает на этот вопрос: возможно и должно, ведь это же «простая арифметика». Но Достоевский — православный монархист, каким он вернулся после каторги и ссылки, всем художественным содержанием романа отвечает: нет, невозможно — и последовательно опровергает доводы Раскольникова, защищающего свое «своеволие» («наполеонизм»).

Если один человек присваивает себе право физического уничтожения ненужного меньшинства ради счастья большинства, «простой арифметики» здесь не получается: помимо старухи Раскольникову приходится убить и Лизавету, ту самую униженную, ради которой и был поднят его топор.

В «Преступлении и наказании» Достоевский художественно исследует глубочайшую этическую проблему человеческого общежития — проблему примирения бесконечной ценности человеческой личности и вытекающей отсюда равноценности всех людей с реальным неравенством их, логически приводящим, по-видимому, к признанию их неравноценными.

Раскольников одновременно убивает и будущего ребенка Елизаветы и фактически убивает свою мать. Достоевский дает возможность осознать, что никакая мировая гармония не стоит ни единой слезинки ребенка! Гибель безвинных жертв любого революционного бунта не может быть оправдана.

Социальное неравенство в мире, очевидно, неизбежно, но столь же неизбежен, по-видимому, вечный соблазн добиться социального равенства, лежащий в основе любого революционного переустройства мира. («Что же, что же делать? — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня». — «Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только...» — недаром окончательно на преступление Раскольников решился после знакомства с Мармеладовым, когда ему открылась ужасающая нищета его семейства).

Но Достоевский продолжает выдвигать контраргументы против бунта Раскольникова и ему подобных. «Простой арифметики» не получилось и потому, что Раскольников опоздал прийти к старухе в точно назначенный час — 7 часов вечера — потому и появилась Лизавета. Жизнь иррациональна, она не поддается логическому исчислению (это — главная мысль «Записок из подполья», где писатель нанес первый удар по революционным демократам с их рациональным построением будущего социалистического общества). Иррациональность жизни, по Достоевскому, препятствует всем попыткам логически-насильственно ее переустроить.

Третий аргумент Достоевского против революционного бунта Раскольникова (он не изображен социалистом, но для автора это не имело значения — писатель брал общую категорию бунта как такового) направлен на проповедуемое им «разрешение крови по совести». Ведь если разрешить себе «кровь по совести», то есть *окончательно* освободиться от «принципов» и «идеалов», то неизбежно превратишься либо в Свидригайлова, которому вечность мерещится чем-то вроде деревенской бани — «закоптелой и по всем углам пауки», либо в Лужина, который тоже ни перед чем не остановится. И если Дуню, сестру Раскольникова, необходимо защищать от сластолюбивых притязаний Свидригайлова, то

ведь и Сонечку Мармеладову нужно защищать от Лужина.

Свидригайлов и Лужин — это тот же Раскольников, но окончательно «исправленный» от всяких предрассудков. Они воплощают две возможности судьбы главного героя. «Мы одного поля ягоды», — говорит Свидригайлов Раскольникову. Все они идут по одному пути, но Лужин и Свидригайлов прошли его до конца, тогда как Раскольников продолжает еще держаться за «справедливость», «высокое и прекрасное», за «Шиллера». Для Свидригайлова жизнь уже не имеет смысла, добро и зло неразличимы, жить скучно и пошло, от скуки он способен творить и добро, и зло, что именно — безразлично.

Лужинский призыв к личной наживе — неизбежное следствие лозунга Раскольникова: «сильному все позволено». Проповедь пошляком и мошенником Лужиным экономической выгоды (основой хозяйственного прогресса является личная выгода, поэтому каждый должен о ней заботиться и обогащаться, не беспокоясь о любви к людям и тому подобных романтических бреднях) воспринимается как пародия на теорию Раскольникова: это как бы обоснование права на существование той самой «вши», которую Раскольников так презирает, и притом «вши», стремящейся занять, так сказать, командное положение и посягающей таким образом на права «настоящих людей». Недаром на рассуждения Лужина: «Наука... говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано» — Раскольников замечает: «Доведите до последствия, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать».

Отрицание нравственности и допущение преступления — вот что роднит Лужина и Свидригайлова с Раскольниковым; только обоснования у них разные. Раскольников видит в жизни смысл и допускает преступления «настоящих людей», если эти преступления при-

носят пользу человечеству. Мировоззрение же Лужина и Свидригайлова (если можно говорить об их мировоззрении), это, в сущности, доведенное до абсурда мировоззрение Раскольникова, неизбежное следствие его идеи о «разрешении крови по совести». Свидригайлов преграждает Раскольникову все пути, ведущие не только к раскаянию, но даже к чисто официальной явке с повинной. И не случайно Раскольников является с повинной только после самоубийства Свидригайлова.

Четвертый аргумент Достоевского против любого революционного бунта изложен в словах Порфирия Петровича: «Действительность и натура... есть важная вещь, и ух как иногда самый прозорливейший расчет подсекают!» Натура человека, полагал Достоевский, противится любым доводам разума, если они идут вразрез с ней, то есть натура человека противится убийству. Действительно, хотя Раскольников и не испытывает раскаяния, он чувствует себя отрезанным от всех людей и даже с родной матерью не может встретиться так, как раньше, а «ведь надобно же, — как говорит Мармеладов, — чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти».

Наиболее последовательно защищает «натуру» человека Разумихин. Он принципиально отрицает всякое теоретическое разрешение моральных и социальных проблем, отвергает любое насилие над человеческой натурой: жизнь гораздо сложнее, чем это кажется теоретикам. Только работа, практическая деятельность и здоровье, непосредственное моральное чувство могут научить человека жить. Это мировоззрение Разумихина полностью отличается от взглядов теоретика Раскольникова, привыкшего думать силлогизмами. Разумихин отвергает всю надуманную теорию Раскольникова, отвергает просто потому, что преступление претит здравому человеческому смыслу, претит природе человека.



Пятый аргумент Достоевского против бунта Раскольникова является поистине пророческим. Раскольников и ему подобные, размышляет писатель, исходят из первоначально будто бы гуманной идеи, из благородного и великодушного порыва — защитить униженных и оскорбленных, бедных и страдающих (исповедь Мармеладова и письмо матери — последнее решающее звено в бунте Раскольникова). Следовательно, развивает свою мысль Достоевский, диалектика «идеи бунта» неизбежно такова, что именно постольку, поскольку Раскольников и ему подобные берут на себя такую высокую миссию — защитников униженных, страдающих, они начинают считать себя людьми необыкновенными, которым все позволено, и неизбежно кончают презрением к тем самым униженным, которых защищают. Раскольниковы неизбежно кончают Великим Инквизитором.

Вот почему человечество для Раскольникова делится на два лагеря: «избранных», «власть имеющих» и «тварь дрожащую». Поэтому для Раскольникова важно не счастье людей, а вопрос: кто он — «власть имеющий» или «тварь дрожащая»? И в этом главный аргумент Достоевского против всех идей и теорий революционного бунта — насильственного ниспровержения существующего строя.

Целью Раскольникова в конечном итоге являются «свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащей тварью и над всем муравейником!..»

Но для Сони Мармеладовой человек никогда не сможет быть «дрожащей тварью» и «вошью». Именно Сонечка прежде всего олицетворяет собой правду Достоевского. Натуру Сони можно определить одним словом — «любящая». Деятельная любовь к ближнему, способность отзываться на чужую боль (особенно глубоко проявившаяся в сцене признания Раскольникова в убийстве) делают образ Сони пронзительно христианским. Именно

с христианских позиций, а это позиция самого Достоевского, в романе и выносится приговор Раскольникову.

Для Сони все люди имеют одинаковое право на жизнь. Никто не имеет права добиваться счастья, своего или чужого, путем преступления. Грех остается грехом, кто бы и во имя чего бы его ни совершили. Нельзя ставить себе целью личное счастье. Человек может достичь истинного, не эгоистического счастья только путем страданий, смирения, самопожертвования (ср. эпилог романа: «Их воскресила любовь...»). Нужно думать не о себе, не о том, чтобы властвовать над другими, навязывая им то счастье, которое кажется идеальным тебе, а о том, чтобы жертвенно служить им.

Сонечка, тоже «преступившая» и загубившая душу свою, «человек высокого духа», одного «разряда» с Раскольников, та самая униженная и оскорбленная, осуждает его за презрение к людям и не принимает его бунта, его топора, который, как казалось Раскольникову, был поднят и ради нее, ради ее счастья. Соня по мысли Достоевского воплощает народное христианское начало, русскую народную стихию, православие: терпение и смирение, безмерную любовь к Богу и человеку. Поэтому столкновение атеиста Раскольникова и верующей Сони, мировоззрение которых противопоставлено друг другу как идеологическая основа всего романа, очень важно. Идея революционного бунта Раскольникова, полагал Достоевский, аристократическая идея, идея «избранного» — неприемлема для Сони. Только православный русский народ в лице Сони может осудить атеистический, революционный бунт Раскольникова, заставить его подчиниться такому суду и пойти на каторгу — «страдание принять».

И только подчиняясь такому суду (Достоевский прекрасно понимал, что Раскольников не примет ни его суда, ни юридического суда, ни суда совести, так как пораже-

ние для него означает лишь то, что он не Наполеон, а «тварь дрожащая»), Раскольников идет и доносит на себя, а уже на каторге, под влиянием чтения Евангелия и всепрощающей любви Сонечки, он раскаивается. В лице Раскольникова Достоевский казнит революционный бунт собственной молодости.

Наконец, последний аргумент Достоевского не связан непосредственно с романом и с бунтом его главного героя, это — аргумент писателя против любого бунта, бунта как категории. Роман «Преступление и наказание» написан Достоевским после каторги и ссылки, когда убеждения писателя приняли религиозную окраску. Достоевский ушел на каторгу революционером и атеистом, а вернулся монархистом и верующим. Поиски правды, обличение несправедливо устроенного мира, мечта о «счастье человечества» сочетаются в писателе с неверием в насильственную переделку мира. Справедливо полагая, что ни при каком устройстве общества, в том числе и социалистическом, не избежать зла, что душа человеческая всегда останется та же, что зло исходит из нее самой, Достоевский отвергает революционный путь преобразования общества (любая революция лишь меняет декорации, она не только не способна искоренить зло, но скорее приводит к обратному результату) и, ставя вопрос лишь о нравственном самоусовершенствовании человека, устремляет свои взоры к Христу.

Проблема религиозности Достоевского в «Преступлении и наказании», сущность православной этики в ее взаимоотношениях с этической концепцией писателя — это идея усовершенствования мира христианским путем. Самая трудная проблема на этом пути, точнее говоря, неразрешимая для нашего «Эвклидова» ума — это проблема мирового зла. Преодолевается она у Достоевского с помощью мистической идеи вины каждого за всех (вот почему православный Миколка берет на себя вину Рас-

кольникова). Неотмщенное безвинное страдание заставляет Раскольникова отвергнуть мир во имя оскорбленного чувства, требующего мести, но есть нечто более высокое, чем месть, — это прощение и любовь.

Спасает и воссоединяет павшего человека с Богом только любовь, считал Достоевский. «Божия правда, земной закон берет свое, и он [Раскольников. — С. Б.] кончает тем, что принужден сам на себя донести», — указывал Достоевский в письме к М. Н. Каткову, когда предлагал ему для его журнала «Русский вестник» роман «Преступление и наказание». Сила любви такова, что она может содействовать спасению даже такого нераскаявшегося грешника, как Раскольников. Религия любви и самопожертвования приобретает исключительное и решающее значение в христианстве Достоевского, в нравственной проблематике романа «Преступление и наказание».

И если Достоевский всегда сохранял в сердце человеческий образ Иисуса, преклоняясь перед его внутренней нравственной силой и красотой, то к Богочеловеку — Христу, к идее бессмертия писатель пришел после свершившейся на каторге переоценки ценностей. «...Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, — писал Достоевский. — А высшая идея на земле лишь одна, а именно — о бессмертной душе человеческой...»

Мысль о неприкосновенности любой человеческой личности играет главную роль в понимании идейного смысла романа — это закон человеческой совести. Недаром в подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию» Достоевский запишет: «Есть один закон — закон нравственный».

Идея неприкосновенности любой человеческой личности, даже старухи-процентщицы, нашла в авторе «Преступления и наказания» самого верного защитника.

И если попытаться кратко сформулировать идейный смысл романа, можно повторить библейскую заповедь «не убий». Бог дает человеку жизнь, и только Он имеет право ее отнять.

История преступления и наказания Раскольникова происходит в Петербурге. И это не случайно: самый фантастический и умышленный город на свете («Как это он сочинился у нас», — говорит Свидригайлов) порождает и самого фантастического героя. Только в мрачном и таинственном Петербурге могла зародиться «безобразная мечта» нищего студента, и Петербург не просто место действия, не просто образ — Петербург участник преступления Раскольникова. На протяжении всего романа лишь несколько кратких описаний города, напоминающих театральные ремарки, но их вполне достаточно, чтобы проникнуть в «духовный» пейзаж, чтобы почувствовать «Петербург Достоевского».

Раскольников так же двойствен, как и породивший его Петербург (с одной стороны, Сенная площадь, «отвратительный и грустный колорит картины», с другой — Нева — «великолепная панорама»), и весь роман посвящен разгадке этой двойственности Раскольникова — Петербурга. В ясный летний день Раскольников стоит на Николаевском мосту и «пристально вглядывается» в открывающуюся перед ним «действительно великолепную панораму»: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его...»

Другой пример одухотворения материи — петербургские жилища героев «Преступления и наказания». «Желтая каморка» Раскольникова, которую Достоевский сравнивает с гробом, противопоставляется комнате Сони: у Раскольникова, закрытого от мира, — тесный гроб, у

Сони, открытой миру, — «большая комната с тремя окнами»; о комнате старухи-процентщицы Раскольников замечает: «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота». Жилища героев «Преступления и наказания» не существуют самостоятельно, они — лишь одна из функций сознания героев.

Это относится и к описанию петербургской природы в романе. Мир, окружающий героя романа, всегда является составной частью его душевного настроения. В немалой степени определяет его поступки. В душе Раскольникова-убийцы так же «холодно, темно и сыро», как в Петербурге, и «дух немой и глухой» города звучит в ней как тоскливая песня одинокой шарманки. «Я люблю, — признается Раскольников, — как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица: или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...» Мокрый снег, фонари, шарманка — типичный петербургский пейзаж Достоевского.

Точно так же описание страшной грозовой ночи, предсмертной ночи Свидригайлова раскрывает нам, что творится в душе героя, когда жуткий хаос, царящий в его сознании, сливается с жутким хаосом природы.

Лето 1865 года, к которому относится действие «Преступления и наказания» (начало романа: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки...»), было действительно необычайно жарким в Петербурге, о чем дружно писали тогда все петербургские газеты: «В городе в последнее время стоят страшные жары. Проходя по улицам, буквально задыхаешься от зноя. После долгих холодов этот зной еще невыносимее» (Петербургский листок, 1865, 22 июня, № 91), «Жара невыносимая (сорок градусов

на солнце), духота, зловоние из Фонтанки, каналов» (Голос, 1865, 18 июля, № 196).

В. В. Данилов очень точно подметил, что «для Достоевского изображение жары было не только средством придать роману колорит современности, но и служило приемом, организующим образ героя в период созревания в нем преступного замысла. Поэтому о жаре до убийства в романе говорится пять раз и после убийства — два раза. Невыносимая жара должна была содействовать обострению отрицательных впечатлений Раскольникова от окружающей жизни, отталкивать от нее и укреплять его идею» (Данилов В. В. К вопросу о композиционных приемах в «Преступлении и наказании» Достоевского // Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук, 1933. № 3. С. 249–250).

Роман начинается с того, что Раскольников «вышел из своей каморки, которую он нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту». В 1907 году вдова писателя А. Г. Достоевская сделала на полях экземпляра романа «Преступление и наказание» примечания, раскрывающие некоторые из сокращенных обозначений. Оказалось, что «С-й переулок» — это тот самый Столярный переулок, в котором жил сам писатель во время создания «Преступления и наказания», «К-н мост» — Кокушкин мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова), вблизи Сенной площади (Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 56).

Однако исследователи петербургской топографии «Преступления и наказания» К. А. Кумпман и А. М. Конечный, рассматривая примечание А. Г. Достоевской как внетекстовый комментарий к роману, указывают, что сокращенному обозначению «С-й переулок» может соответствовать и Спасский переулок, и далее исследователи делают вывод: «Сложная картина нарушения реальной

топографии Петербурга создает специфический образ города в романе: с одной стороны, узнаваемый конкретный район города, с другой — город двойник, отраженный как бы в кривом зеркале, где улицы и расстояния не соответствуют реальным, а дома героев и их местонахождение подвижны и неуловимы», выявляют «тенденцию, вероятно, принципиальную для Достоевского, к деконкретизации и сдвигу реальной топографии» и пишут, что «скрупулезный топографизм, присущий физиологическому очерку и роману 40–60-х годов, был чужд Достоевскому» (Кумпан К. А., Конечный А. М. Наблюдения над топографией «Преступления и наказания» // Изв. АН СССР. Сер. лит и яз., 1976. № 2. С. 184, 190).

И все же исследователи явно преувеличивают, когда говорят о «сдвиге реальной топографии». Вот, например, указание Достоевского на «жилище» Раскольников: «Каморка его приходилась под самую кровлю высокого пятиэтажного дома...» Первый исследователь петербургской топографии произведений Достоевского Н. П. Анциферов, исходя из текста романа, высказал, на наш взгляд, справедливое предположение, что Раскольников жил на углу Столярного переулка и Средней Мещанской улицы (ныне дом № 19 по Гражданской улице) (Анциферов Н. П. Петербург Достоевского. Пб., 1923. С. 95). Сейчас здесь мемориальная доска: «Дом Раскольника. Трагические судьбы людей этой местности Петербурга послужили Достоевскому основой его страстной проповеди добра для всего человечества».

Этот условный адрес Раскольника наиболее соответствует роману. Д. А. Гранин, обратив внимание также на мраморную доску на стене этого дома на углу Столярного и Средней Мещанской: «Вышина воды 7 ноября 1824», сравнивает «Преступление и наказание» с «Медным всадником» Пушкина и рассматривает образ Евгения как предтечу образа Раскольника: «Бунт, начатый Ев-



гением перед статуей Медного всадника, словно бы ширится, разрастается» (*Гранин Д. А. Два лика (Заметки писателя)* // *Новый мир*, 1968. № 3. С. 221).

Во дворе этого дома на углу Средней Мещанской и Столярного переулка, направо, можно и теперь найти лестницу, где в последний этаж действительно ведут «тринадцать ступеней», как пишет Достоевский: «...и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней». Д. С. Лихачев отмечает: «Ужас охватывает, когда поднимаешься по лестнице дома, где “жил” Раскольников, и отсчитываешь те самые тринадцать ступеней последнего марша, о которых говорится и в романе <...> Невозможно поверить, что герои Достоевского не жили в этих, так точно указываемых им местах. Иллюзия реальности поразительна» (*Лихачев Д. С. В поисках выражения реального* // *Вопр. лит.*, 1971. № 11. С. 177). Достоевский не случайно указывает здесь число «тринадцать». Задумав такое преступление, Раскольников попадает во власть черта.

«Раскольников прошел прямо на -ский мост, — повествует Достоевский, имея в виду Вознесенский мост через Екатерининский канал, — стал на середине, у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль... Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний, розовый отблеск заката... Наконец, в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи — все это завертелось и заплясало кругом...»

От нового «обморока» Раскольникова спасло «дикое и безобразное видение»: «Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул — и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми, впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видала и никого не различала. Вдруг она

облокотилась правою рукою о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо понесло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной вверх, со сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка юбкою».

Афросиньюшку спасает городской, который спускается справа по ступенькам к каналу (этот спуск и сейчас сохранился): «...Городовой сбежал по ступенькам схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги и кинулся в воду. Работы было немного: утопленницу несло водой в двух шагах от схода, он схватил ее за одежду правою рукою, левою успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ, и тотчас же утопленница была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода».

На Екатерининском канале, у Вознесенского моста, произойдет сцена сумасшествия Екатерины Ивановны: «На канаве, не очень далеко от моста и не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу <...> Хриплый, надорванный голос Катерины Ивановны слышался еще от моста...»

Реальная топография Петербурга в «Преступлении и наказании» органически вписывается в реальный колорит картины, когда Достоевский пишет: «Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшие, несмотря на буднее время, довершили отвратительный колорит картины». Под ироническим заглавием «Отрадная петербургская статистическая заметка» в «Петербургском листке» (1865, 18 марта, № 40) сообщались о Столярном переулке следующие сведения: «В Столярном переулке находится 16 домов (по 8 с каждой стороны улицы). В этих 16 домах помещается 18 питейных заведений, так что желающие насладиться подкрепляющей

и увеселяющей влагой, придя в Столярный переулок, не имеют даже никакой необходимости смотреть на вывески; входи себе в любой дом, даже на любое крыльцо, — везде найдешь вино», а на Вознесенском проспекте помещалось 6 трактиров (в одном из них проводил время Свидригайлов), 19 кабаков, 11 пивных, 16 винных погребов и 5 гостиниц (Петербургский листок, 1865, 20 марта, № 42).

«С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в -ю улицу», — сообщает Достоевский о доме старухи-процентщицы, к которому подошел Раскольников. В просторечии Екатерининский канал назывался «канавой», а «-я улица» — скорее всего, Средняя Подъяческая, условный адрес старухи — угол Средней Подъяческой и Екатерининского канала (дом сохранился — ныне канал Грибоедова, 104 и Средняя Подъяческая, 15).

«Идти ему было немного: он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать». Действительно, примерно семьсот тридцать. Но было еще одно важное обстоятельство, заставляющее считать этот дом на углу Средней Подъяческой и Екатерининского канала (а он и на самом деле «преогромнейший») домом старухи. Достоевский отмечает, что «входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома». Этот дом имел два входа и выхода, что важно для Раскольникова, замыслившего убийство: войдя в одни ворота, он может незамеченным выйти в другие. Важно и то, что «лестница была темная и узкая, "черная"», поэтому Раскольников слышит всех поднимающихся по этой лестнице, и невозможно остаться незамеченным, столкнувшись с кем-нибудь на такой узкой лестнице.

Все петербургские детали у Достоевского не случайны, глубоко символичны. Так, не случайно писатель

останавливает наше внимание на том, что Мармеладов «помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная». Жилище смирившегося Мармеладова всегда *открыто* людям (*проходная* комната) в противоположность жилищу гордеца Раскольникова, уединившегося в своем углу, скрывшегося от людей.

Привычный путь Раскольникова на Васильевский остров обозначен в романе очень точно и не один раз: по Вознесенскому проспекту, через Исаакиевскую площадь, Конногвардейский бульвар и Неву по Николаевскому мосту, а далее Раскольников переходит по Тучкову мосту через Малую Неву.

Когда Раскольникова первый раз вызывают в полицейскую контору, упоминается, что «контора была от него с четверть версты». Скорее всего, это был дом на углу Садовой и Большой Подъяческой (ныне Большая Подъяческая, 26), причем совпадает и дальнейшее описание конторы: «Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках: “дворник, значит; значит, тут и есть контора”, и он стал подниматься наверх наугад <...> Лестница была узенькая, крутая...»

Вот Раскольников пытается спрятать вещи, похищенные у старухи: «Он пошел к Неве по В-му проспекту <...> выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор <...> заметил он большой неотесанный камень...» А. Г. Достоевская сделала следующее примечание, касающееся этого эпизода: «Федор Михайлович в первые недели нашей брачной жизни, гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень, под которым его Раскольников спрятал украденные у старухи вещи. Двор этот находится по Вознесенскому проспекту, второй от Максимилиановского переулка [ныне переулок Пирогова. — С. Б.]; на его месте построен громадный дом <...> На мой вопрос, зачем же ты забрел на этот пустынь-

ный двор? Федор Михайлович ответил: «А за тем, за чем заходят в укромные места прохожие»» (*Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 56*). Вероятно, это двор нескольких домов по Вознесенскому проспекту (теперь № 3–5).

«Топографическая точность была скорее методом его творчества, чем его художественной целью, — справедливо замечает Д. С. Лихачев. — Подобно тому, как актер перевоплощается в создаваемых им героев, так и Достоевский сам верил в действительность им описываемого и перевоплощался в верящего в нее» (*Лихачев Д. С. Литература — Реальность — Литература. Л., 1981. С. 55*).

Раскольников очень любил стоять на Николаевском мосту, «лицом к Неве, по направлению дворца», в том самом месте, где «купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни». Художник М. В. Добужинский заинтересовался вопросом, почему Достоевский отметил это место, как наиболее подходящее для созерцания Исаакиевского собора. Оказалось, что отсюда вся масса собора располагается по диагонали и получается полная симметрия в расположении частей (*Анциферов Н. П. Петербург Достоевского. Пб., 1923. С. 89*). Недаром же Достоевский был по образованию инженером.

Мать Раскольниковы и его сестру Дуню Лужин поселяет рядом с Раскольниковым: «Это на Вознесенском <...> там два этажа под нумерами; купец Юшин содержит...» А. Г. Достоевская поясняет: «Эти номера были на углу Вознесенского проспекта и Казанской ул. № 43–22, вход, где теперь вход в ресторан (Федор Михайлович сообщил мне в ответ на мои вопросы)» (*Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 56*). Ныне это Вознесенский проспект, № 19, угол улицы Плеханова, 54.

«...Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, — так петербургский пейзаж становится одной из функций духовного сознания Раскольникова, — непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают».

Н. П. Анциферов точно подметил: «Эта тяга к физиологии так велика в Достоевском потому, что через нее проникают его взоры в таинственные недра души города. Этим открывает Достоевский новую страницу в истории восприятия Петербурга» (*Анциферов Н. П. Душа Петербурга*. Л., 1990. С. 140).

После сокровенных слов о «шарманке в холодный, темный и сырой осенний вечер» Раскольников, минуя Сенную площадь, попадает в Таиров переулок (ныне пер. Бринько). Раскольников часто любил ходить к себе этим переулком, возможно, этот переулок, кажущийся на первый взгляд тупиком, а на самом деле имеющий поворот направо, напоминал ему его собственную судьбу, ведущую в тупик, но открывающую где-то вдали prospect — возможность покаяния.

Раскольников живет в доме Шиля. И это весьма знаменательно. В одном из домов петербургского домовладельца Шиля, на углу Малой Морской и Вознесенского (ныне Вознесенский пр., 8), жил в 1847–1849 годах сам Достоевский. Здесь он был арестован по делу петрашевцев 23 апреля 1849 года и отсюда увезен в Петропавловскую крепость, а потом на каторгу. И, вероятно, не случайно через 15 лет, работая над «Преступлением и наказанием», писатель поселяет своего героя, будущего каторжника, тоже в доме Шиля, как бы связывая бунт Раскольникова с бунтом собственной молодости.

«...Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня. Дом был трехэтажный, старый и зеленого

цвета». Вероятнее всего, это дом на углу Екатерининского канала и Малой Мещанской улицы (ныне канал Грибоедова, 73, надстроен четвертый этаж). И хотя К. А. Кумпман и А. М. Конечный, проследив противоречивые указания в романе на маршруты к «дому» Сони, делают вывод о «многозначности» ее адреса (*Кумпман К. А., Конечный А. М. Наблюдения над топографией «Преступления и наказания»* // Изв. АН СССР. Сер. лит и яз., 1976. № 2. С. 185), однако Д. С. Лихачев по этому поводу справедливо замечает: «...Сомнения, высказываемые авторами статьи в топографической точности указаний Достоевского, несколько преувеличены. Не подлежит сомнению факт усиленных поисков Достоевским топографической достоверности, попытки точно описать все места жительства, места событий и маршруты действующих лиц. Если Достоевский и ошибался, называя в одном случае этаж, на котором жила Соня Мармеладова, третьим, а в другом случае вторым, то это нисколько не свидетельствует о том, что он сознательно стремился деконкретизировать события, описать их топографически неточно. Неточности были неизбежны именно в силу стремления к точности, в силу того, что автору невозможно было запомнить и повторить все те точные, в смысле количества шагов, поворотов и переходов, указания, которые он столь часто делал в своих романах» (*Лихачев Д. С. Литература — Реальность — Литература. Л., 1981. С. 53–54*).

Но «дом» Сонечки Мармеладовой на углу Екатерининского канала и Малой Мещанской улицы важен для Достоевского еще и потому, что он имел парадный вход с Екатерининского канала и «черный» вход во двор, с Малой Мещанской. Вот почему Свидригайлов, который ходил через парадный ход, мог поселиться незаметно для Сонечки, ходившей к себе с «черного» хода.

Большой проспект на Петербургской стороне Достоевский называет в романе «бесконечным проспектом»,

и А. Г. Достоевская делает здесь следующее примечание: «Эта местность была хорошо известна Федору Михайловичу, так как сестра его, Александра Михайловна Голеновская (по второму мужу Шевякова), владела домом на Большом проспекте [№ 69. — С. Б.], близ Каменноостровского, и Федор Михайлович, приезжая к ней, всегда тяготился “бесконечностью” Большого проспекта, тогда еще довольно пустынного и застроенного мелкими деревянными домишками» (*Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому*. М.: Пг., 1922. С. 57–58).

А. Г. Достоевская комментирует также место самоубийства Свидригайлова, который «...поворотил в -скую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчой»: «Полицейский Дом Петербургской стороны (Пожарный отдел) на углу Съезжинской и Большого проспекта», — в перестроенном виде этот дом сохранился под № 2 на Съезжинской улице; полицейский дом в старину называли «съезжей», отсюда и название улицы.

Петербург в «Преступлении и наказании» — не просто место действия романа, это самостоятельный реальный образ, который включал в себя не только все упомянутые улицы и дома, но и две церкви: «Спас на Сенной» (существовала на Сенной площади до 1962 года) и Вознесенская церковь, которую построил еще в XVIII веке знаменитый А. Ринальди (существовала на углу Вознесенского проспекта и Екатерининского канала до 1940 года), сыгравшие большую роль в возрождении Раскольникова (в одном из снов Раскольников видит колокольню Вознесенской церкви), который мог бы вслед за Мармеладовым повторить магическое заклинание: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно хоть куда-нибудь да пойти!.. ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели!.. Понимаете ли, по-



нимаете ли вы... что значит, когда уже некуда больше идти?..»

Достоевский, который жил рядом с Раскольниковым в момент создания романа, прекрасно знал район Сенной площади, поэтому он с абсолютной достоверностью описывает маршрут Раскольникова: «Было около девяти часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и в лавочках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар и расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников... Тут лохмотья не обращали на себя ничьего высокомерного внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализируя».

На Сенной площади было задумано преступление: «у самого К-ного переулка [сейчас переулок Гривцова. — С. Б.] на углу» Раскольников услышал, что завтра в семь часов вечера старухиной сестры Лизаветы, «единственной ее сожительницы», дома не будет, и на Сенной площади фактически подводится итог этому преступлению, когда под влиянием Сони Раскольников приходит на эту площадь и целует здесь землю, оскверненную им. Очевидно, что Сенная площадь выбрана местом покаяния потому, что на ней всегда много народу: жизнь Сенной площади и Садовой улицы в значительной степени определялась жизнью рынков вдоль них. Вл. Михневич писал по этому поводу: «Бол. Садовая улица могла бы по справедливости называться народной в том смысле, что здесь главнейший элемент уличной толпы состоит из простонародья разных званий и занятий. Это происходит от того, что Садовая ул. с Сенной площадью и лежащими на ней рынками представляет центр торговой деятельности не только городских жителей, но и всех окрест-

ностей столицы. На ней же поэтому находится и самое большое число трактирных, харчевных и распивочных заведений, преимущественно для черного народа. Здесь же, как нигде, развит и уличный мелочный торг на лотках, ларях и балаганах, на выступлениях цоколей и просто на руках; торг этот — главное разными предметами первого потребления, а также и невзыскательной простонародной роскоши» (*Михневич Вл.* Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 33).

И все же Петербург с его водной стихией — действие романа постоянно приводит к Екатерининскому каналу — детище Петра, который и породил бунтарей-раскольников, — не только соучастник преступления героя, но и залог его возрождения. Отправляясь убивать старуху-процентщицу и «проходя мимо Юсупова сада», Раскольников «даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь». Но если за пятнадцать минут до убийства убийца способен размышлять о подобных вещах, в этом, может быть, и кроется залог его грядущего возрождения.

Весь роман пронизан реальными деталями Петербурга: «По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную. Не доходя до Сенной, на мостовой, перед мелочною лавкой, стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати, одетой как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером; все это было старое и истасканное. Уличным,

дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпевала романс, в ожидании двухкопеечника из лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке».

Во втором доме по Забалканскому (ныне Московскому) проспекту в трактире (а здесь, действительно, существовал трактир) «Хрустальный дворец» состоялась встреча Раскольникова со Свидригайловым и, продолжая полемику с Чернышевским, Достоевский иронически называет «хрустальным дворцом» не идеал будущей гармонии, а заурядный трактир. Именно в этом трактире Раскольникову, как и герою «Записок из подполья», дважды захотелось высунуть язык своему собеседнику.

Устами Свидригайлова, кстати, Достоевский передает свои впечатления от фантастичности Петербурга: «Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!..»

Самые, казалось бы, незначительные петербургские детали приобретают в «Преступлении и наказании» особый смысл. «Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо, что-то блеснуло ему в глаза, — описывает Достоевский, как в поисках топора Раскольников остановился под воротами дома, напротив открытой двери в каморку дворника. — Он осмотрелся кругом — никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам... бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил!»

(В подворотне «дома» Раскольников на углу Столярного и Средней Мещанской сохранилась зацементированная дверь в дворницкую).

Опять, как и в трактире, где он встретил Мармеладова, Раскольников снова «сошел вниз по двум ступенькам», то есть ему как бы приходится все глубже и глубже погружаться в тайники своей несчастной, отравленной грехом совести.

Еще один пример особого символического значения деталей. «Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое, — описывает Достоевский комнату Сонечки Мармеладовой. — Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убежал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели... Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая...»

Достоевский не случайно отмечает, что «другой же угол» в комнате Сони «был уже слишком безобразно тупой». Это — символ уродливой судьбы Сонечки (может быть, Достоевскому вспомнился уродливо тупой угол во дворе дома на углу Екатерининского канала и Малой Мещанской — Казначейская, 1, где он жил в 1861–1863 годах).

Петербург — равноправный герой романа, а, может быть, даже и главное действующее лицо, ибо Петербург в конечном счете определяет судьбу самого Раскольникова.

Можно согласиться с выводом Д. А. Гранина относительно топографии «Преступления и наказания»: «До-

стоевский поселяет своих героев в существующие дома, более того, в существующие квартиры. Все эти адреса, оказывается, имеются в тексте романа. Обозначение улицы, перекрестка, вся топография достоверна, вплоть до тринадцати ступенек, ведущих в каморку Раскольникова. К счастью, все это сохранилось в натуре. Для чего нужна была Достоевскому подобная реальность? Почему он избегал сочинять ее? Думается, что в этом таится своеобразие его метода, его творческой личности. Начиная с какого-то момента, мне представляется, он переставал сочинять. Он начинал жить, воплощаясь в своих героев. Жизнь эта нуждалась в предметности хотя бы обстановки. Подобно режиссеру, он ставил свою постановку. Раскольников спускался из своей каморки, находил топор в дворницкой, шел к дому старухи — семьсот тридцать шагов — заметьте эту точность! — входил во двор, лестница направо и т. д. и т. п. Достоевский сам ставил, сам играл, сам смотрел. Все происходило как бы на его глазах, он проживал каждую сцену. И потом записывал виденное» (*Гранин Д. А.* Тринадцать ступенек. Л., 1984. С. 115–116).

В январе 1868 года Достоевский пишет своей племяннице С. А. Ивановой о своем новом романе «Идиот»: «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого ничего нет на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение *положительно* прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица, уж конечно есть бесконечное чудо... Но я слишком далеко зашел. Упомяну только, что из прекрасных лиц в лите-

ратуре христианской стоит всего законченнее Дон Кихот».

Достоевский сознает, что изображение «положительно прекрасного человека» — задача гигантская. Искусство может только приблизиться к решению этой задачи, но не разрешить ее, так как прекрасный человек — святой, а святой лишь один Христос. Вот почему в черновиках главный герой романа князь Лев Николаевич Мышкин назван «князь-Христос». Но разве возможен роман о Христе?

Достоевский пытается найти предшественников князя Мышкина в мировой литературе: вспоминает Жана Вальжана Гюго, Пикквика Диккенса и особенно Дон Кихота Сервантеса. Пушкинские строки «жил на свете рыцарь бедный» станут лейтмотивом романа «Идиот», и рыцарь без страха и упрека князь Лев Николаевич Мышкин станет русским Дон Кихотом.

Второй большой роман Достоевского «Идиот» органически вырос из первого — «Преступления и наказания». Раскольников потерял веру и хотел «переступить» нравственный закон. Но если в «Преступлении и наказании» лишь один герой потерял веру (Свидригайлов и Лужин — это двойники Раскольникова, неизбежное следствие его преступной теории), то в «Идиоте» страшное, тлетворное влияние наступающей эпохи атеизма охватило всех действующих лиц романа. Лишь один «положительно прекрасный человек» князь Мышкин противостоит «темным силам», но и он гибнет в борьбе с ними.

Не случайно Достоевский за границей во время создания «Идиота» ежедневно прочитывал все русские газеты, с большим волнением и тревогой следя за всем, что происходило в России. Он был потрясен количеством участвовавших преступлений, грабежей и убийств, всеобщим падением нравственности. Так, например, в ноябре

1867 года Достоевский прочел в газетах отчет о судебном разбирательстве убийства купцом Мазуриным ювелира Калмыкова. Богатый московский купец Мазурин дал первый толчок образу Рогожина, а некоторые детали преступления Мазурина почти дословно перешли в роман. Характерно, что об убийстве, совершенном Мазуриным, прочла в газетах героиня «Идиота» Настасья Филипповна в тот самый день, когда в ее жизнь вошел Рогожин. Писатель указывает даже точную дату: среда, 27 ноября 1867 года. Но за жуткой уголовной хроникой Достоевский сумел увидеть тот процесс разрушения, который неизбежно должен привести к концу старого мира.

В этот чудовищный мир денег, где все покупается и продается, неожиданно приходит странный человек — князь Мышкин, жаждущий отдать свою душу за ближнего, бескорыстный, смиренный, сострадательный и чистый сердцем. Все, что он говорит и делает, совсем не похоже на то, что говорят и делают все остальные. Все вертится вокруг денег, а князь появляется в Петербурге без гроша в кармане, с одним маленьким узелком. Когда же совершенно неожиданно он получает наследство, тут же все раздает. В этом мире царит ложь, а Мышкин способен только на правду. Аглая говорит ему: «Хоть вы и в самом деле большы умом (вы, конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точки говорю), но зато главный ум у вас лучше, чем у них всех, такой даже, какой им не снился, потому что есть два ума: главный и не главный».

Лев Николаевич — правда, попавшая в мир лжи; столкновение и трагическая борьба между ними неизбежны и предрешены. Это столкновение и эту борьбу Достоевский считал прежде всего и главным образом религиозным столкновением и религиозной борьбой. В словах генеральши Епанчиной «В Бога не веруют, в Христа не веруют!» выражена заветная идея писателя:

нравственный кризис, переживаемый современным ему человечеством, — религиозный кризис.

Вот почему князь Мышкин все мотивы преступления Рогожина сводит к одной, религиозной причине. Анна Григорьевна Достоевская вспоминает, что в августе 1867 года они специально остановились на сутки в Базеле, чтобы писатель смог увидеть в местном музее картину немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос»: «Эта картина изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого с креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжело было впечатление... и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный» (*Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 165*).

Анна Григорьевна сообщает, что впечатление от картины «Мертвый Христос» нашло свое отражение в романе «Идиот» и что Достоевский сказал ей: «От такой картины вера может пропасть» (*Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 59*).

Эти слова повторяет в романе князь Мышкин. У Рогожина в доме висит копия картины Гольбейна, и он говорит князю, что любит на нее смотреть. «На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину, да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» «Пропадет и то», подтверждает неожиданно Рогожин, произнеся пророческие слова. Рогожин потерял веру, и безверие ведет его к убийству.

В образ князя Мышкина Достоевский вкладывает много личного. Отчасти Мышкин — художественный



автопортрет автора, в какой-то мере духовная и даже физическая биография его. Достоевский награждает своего любимого героя собственной болезнью — эпилепсией. Совпадают и некоторые важные точки отсчета в процессе духовного развития автора и героя: мечтательная юность, четыре года вне жизни (каторга и санаторий в Швейцарии), «перерождение убеждений», встреча с Христом, возвращение обоих в Петербург, черты Аполлинарии Сусловой в образе Настасьи Филипповны и Анны Григорьевны Достоевской в образе Аглаи, потрясающий рассказ князя о главном событии в жизни писателя — смертной казни на эшафоте.

И как одна Анна Григорьевна сумела понять Достоевского, так и одна Аглая разгадывает тайну Льва Николаевича Мышкина. Она сравнивает князя с пушкинским «рыцарем бедным», то есть с Дон Кихотом, который, поверив в свой идеал, слепо отдает ему жизнь. Мышкин смотрит на мир, лежащий во зле, а видит лишь «образ чистой красоты». Он не понимает, что мир во зле лежит, потому что сам к этому злу не причастен. Он хочет спасти мир верой в красоту, не понимая, что сама красота нуждается в спасении.

Образ «положительно прекрасного человека» в романе «Идиот» остался недоовоплощенным, и, может быть, поэтому Достоевский остался не удовлетворен своим произведением. В октябре 1868 года, во время работы над «Идиотом», писатель делает поразительное признание в письме к своей племяннице С. А. Ивановой: «Через два месяца кончается год, а из четырех частей мною писанного романа окончено всего три, а четвертая, самая большая, еще и не начата. Наконец (и главное) для меня в том, что эта четвертая часть и окончание ее — самое главное в моем романе, т. е. для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман».

Но развязка «Идиота», финал романа — это смерть Настасьи Филипповны. Тогда в чем же смысл финала и почему развязка — «самое главное в романе». Ответ на эти вопросы связан с трагическим событием в жизни Достоевского и его личным горем: в мае 1868 года в Женеве, после простуды скончался в трехмесячном возрасте первый ребенок Достоевских — дочь Соня.

И ее смерть поставила перед Достоевским-отцом с потрясающей силой вопрос о воскресении дочери, а перед Достоевским-писателем с такой же силой — о воскресении души Настасьи Филипповны. Грандиозный финал романа писался уже после смерти Сони, и гибель Настасьи Филипповны — это смерть лишь ее тела: чем разительнее распад ее праха, тем сильнее победа ее бессмертного духа (по аналогии с картиной Гольбейна «Мертвый Христос», висящей в доме Рогожина).

В «Идиоте» в отличие от «Преступления и наказания» Петербург не занимает столь важного места. Роман писался за границей, герой его Лев Николаевич Мышкин в отличие от Раскольникова плохо знает Петербург — «город ему был мало знаком», как отмечает Достоевский. Лишь один раз в романе снова, как в «Преступлении и наказании», возникает образ таинственного, магического и рокового города, неразрывно связанного с судьбами его обитателей — это описание дома Рогожина. В настоящее время этому дому скорее всего соответствует дом № 41 по Гороховой улице (как известно, эта улица упирается в Семеновский плац, где когда-то была инсценирована казнь петрашевцев, и отныне эта улица неизменно напоминает Достоевскому о преступлении).

Вот как в первый раз увидел этот дом князь Мышкин: «Он знал про дом, что он находится в Гороховой, неподалеку от Садовой, и положил идти туда, в надежде, что, дойдя до места, он успеет наконец решиться окончательно».

Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению; он и не ожидал, что у него с такою болью будет биться сердце. Один дом, вероятно по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал себе: "Это, наверно, тот самый дом". С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку; он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга (в котором все так скоро меняется) почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками. Большею частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома — было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: "Дом потомственного почетного гражданина Рогожина"».

Ясно, что в этом доме что-то должно случиться. Именно в этом доме Рогожин зарезал Настасью Филипповну.

Впервые у Достоевского в романе «Идиот» появляется аристократический Петербург (в основном, город между Невой и Невским): «Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал

Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносящий тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика...» Настасья Филипповна «занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру» «у Большого театра, дом Мытовцовой, почти тут же, на площади, в бельэтаже...»

Рядом с Литейной находилась «плохоньякая» гостиница, в которой князь Мышкин «занял две небольшие комнаты, темные и плохо меблированные...» Вероятно, современный адрес этой гостиницы — Невский проспект, дом № 57. Здесь еще до недавнего времени существовала во дворе лестница, соответствующая описанию в романе: «В этих воротах, и без того темных, в эту минуту было очень темно <...> И вдруг он увидел в глубине ворот, в полутемноте, у самого входа на лестницу, одного человека. Человек этот как будто чего-то выжидал, но быстро промелькнул и исчез. Человека этого князь не мог разглядеть ясно и, конечно, никак бы не мог сказать наверно: кто он таков? К тому же тут так много могло проходить людей; тут была гостиница, и непрерывно проходили и пробегали в коридоры и обратно. Но он вдруг почувствовал самое полное и неотразимое убеждение, что он этого человека узнал и что этот человек непременно Рогожин. Мгновение спустя князь бросился вслед за ним на лестницу. Сердце его замерло. “Сейчас все разрешится!” — с странным убеждением проговорил он про себя.

Лестница, на которую князь взбежал из-под ворот, вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены номера гостиницы. Эта лестница, как во всех давно строенных домах, была каменная, темная, узкая и вилась около толстого каменного столба. На первой забежной площадке в этом столбе оказалось

углубление, вроде ниши, не более одного шага ширины и в полшага глубины. Человек, однако же, мог бы тут поместиться. Как ни было темно, но, взбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут, в этой нише, прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он ступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся.

Два давешние глаза, *те же самые*, вдруг встретились с его взглядом. Человек, таившийся в нише, тоже успел уже ступить из нее один шаг. Одну секунду оба стояли друг перед другом почти вплоть. Вдруг князь схватил его за плечи и повернул назад, к лестнице, ближе к свету: он яснее хотел видеть лицо.

Глаза Рогожина засверкали, и бешеная улыбка искажала его лицо. Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в ней; князь не думал его останавливать. Он помнил только, что, кажется, крикнул:

— Парфен, не верю!..

Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред ним: необычайный *внутренний* свет озарил его душу <...> С ним случился припадок эпилепсии <...> От конвульсий, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых было не более пятнадцати, до самого конца лестницы...\*

Как в «Преступлении и наказании», в этом романе «жилища» героев предопределяют их поступки. «Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, на весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных <...> Квартиру разделял коридор, начавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те три комнаты, которые назначались внаем, для «особенно рекомендованных» жильцов; кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась четвертая комнатка, потеснее всех прочих,

в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был чрез кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и тринадцатилетний брат Гаврилы Ардалионовича, гимназист Коля; ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом, весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне и, главное, ходить и *смотреть* за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из трех комнат; в первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из зала, обращавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиною только поутру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной: это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардалионовны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось...»

Как и в «Преступлении и наказании», Петербург дается через восприятие главного героя Льва Николаевича Мышкина: «Князь взял извозчика и отправился на Пески [район Греческого проспекта. — С. Б.]. В одной из Рождественских улиц он скоро отыскал один небольшой деревянный домик. К удивлению его, этот домик оказался красивым на вид, чистеньким, содержащимся в большом порядке, с палисадником, в котором росли цветы. Окна на улицу были отворены...»

Но князь не только плохо знает Петербург, он не способен воспринимать его адекватно: «Он подумал об этом, сидя на скамье, под деревом, в Летнем саду. Было около семи часов. Сад был пуст; что-то мрачное заволокло на мгновение заходящее солнце. Было душно; похоже было на отдаленное предвешание грозы <...> Он встал

со скамьи и пошел из сада прямо на Петербургскую сторону. Давеча, на набережной Невы, он попросил какого-то прохожего, чтобы показал ему через Неву Петербургскую сторону...», — Мышкину грозит припадок эпилепсии и этим объясняется его состояние: «Несколько времени князь бродил без цели. Город ему был мало знаком. Он останавливался иногда на перекрестках улиц пред иными домами, на площадях, на мостах; однажды зашел отдохнуть в одну кондитерскую. Иногда с большим любопытством начинал всматриваться в прохожих; но чаще всего не замечал ни прохожих, ни где именно он идет. Он был в мучительном напряжении и беспокойстве и в то же самое время чувствовал необыкновенную потребность уединения. Ему хотелось быть одному и отдаться всему этому страдательному напряжению совершенно пассивно, не ища ни малейшего выхода. Он с отвращением не хотел разрешать нахлынувших в его душу и сердце вопросов».

В романе «Идиот» встречаются и описания окрестностей Петербурга: картины Павловска окрашены в эгетические тона, чувствуется особая грусть — ведь именно здесь умер старший брат Достоевского Михаил Михайлович. В Павловске летом живет Настасья Филипповна «...где-то в какой-то Матросской улице, в небольшом, неуклюжем домике...»; у Епанчиных «была роскошная дача, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Со всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад»; на Садовой улице, в церкви, построенной Кваренги, должно было состояться венчание Настасьи Филипповны и Льва Николаевича Мышкина; в Павловском парке происходит свидание Мышкина и Аглаи. И наконец, упоминается Павловский вокзал, построенный архитектором А. И. Штакеншнейдером — хорошим знакомым Достоевского: «В Павловском вокзале, по будням, как известно, и как все,

по крайней мере, утверждают, публика собирается “избраннее”, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают “всякие люди” из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходитья принято. Оркестр, может быть, действительно лучший из наших садовых оркестров, играет вещи новые. Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Знакомые, все дачники, сходятся оглядывать друг друга. Многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого; но есть и такие, которые ходят для одной музыки».

Трагический финал романа разыгрывается в Петербурге. Трагические события следующего романа «Бесы» происходят в небольшом губернском городе, однако зло, пришедшее в этот город, началось в Петербурге. В центре «Бесов» — главный бес Ставрогин. В черновой тетради к роману есть запись: «Князь (Ставрогин) — всё». И фактически все произведение посвящено разгадке тайны Ставрогина, так как душевная смута главного героя, его духовное противоречие захватывает сначала нескольких его учеников, затем целые кружки и, наконец, весь город, и распад его личности символизирует для Достоевского духовный кризис, переживаемый Россией.

И Петр Верховенский, и Шатов, и Кириллов, и Шигалев, и все остальные мелкие бесы романа — духовные дети Ставрогина, который может совмещать в себе и проповедовать самые противоположные начала: и веру в Бога, и безверие. Недаром Шатов говорит Ставрогину: «В то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка Кириллова ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления».



Роман «Бесы» — грозное пророчество писателя о надвигающихся на мир катастрофах, это — роман-предупреждение, это — призыв к бдительности. Достоевский был единственным, сделавшим вывод из нечаевского дела: на мир надвигаются Нечаев и ему подобные бесы, способные ради достижения цели шагать по трупам, для которых цель оправдывает средства и которые даже не замечают, как постепенно средства становятся самоцелью.

Но «Бесы» — не безысходная трагедия. У Достоевского всегда «свет во тьме светит и тьма не объяла его». Используя евангельскую притчу об исцелении Христом бесновавшегося человека, Достоевский обосновывает свою уверенность в том, что Россия и мир в конечном итоге исцелятся от бесов, от нечаевщины. Однако появление Нечаева писатель связывает прежде всего с безверием. Поэтому в его романе прослеживается идейная связь между нечаевцами и петрашевцами, и, переживая появление Нечаева в России как свою личную трагедию, он считал себя — бывшего петрашевца — ответственным за распространение атеизма.

Но зло, «бесовщина» пришли в небольшой губернский город из Петербурга. Ведь именно там «отставной офицер» Николай Ставрогин «предавался разврату», именно в Петербурге на Гороховой (опять Гороховая!) он растлил четырнадцатилетнюю Матрену, и она повесилась на той же улице, в Петербурге Ставрогин стал атеистом.

В «Дневнике писателя» в 1873 году, в очерках «Маленькие картинки» Достоевский дает подробное описание Невского проспекта Петербурга: «На днях переходил Невский проспект с солнечной стороны на теневую. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят, — лавируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, прежде чем пуститься в опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось от несущихся один за другим, в два или

три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня перед Рождеством, например, переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если белый морозный туман с рассвета опустится на город, так что в трех шагах едва различаешь прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и извозчиков, несущихся в сторону Полицейского моста, и радуешься, что уже не боишься их; топот и грохот и сиплые окрики кучеров остались за вами, но, однако, и некогда радоваться: вы только достигли середины опасного перехода, а дальше — риск и полная неизвестность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и наскоро придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже в сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что и думать уже некогда, и к тому же этот адский туман: слышны лишь топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту. “Куда деваться? Вперед или назад? Успею или нет?” И — благо вам, что остались: из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростью железнодорожного курьерского поезда — пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаянный окрик кучера, и — все мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и рубка, и крики — все исчезло опять, как видение. Подлинно петербургское видение! Вы креститесь и, уже почти презирая второй ряд экипажей, так пугавший вас за минуту, быстро достигаете желанного тротуара, еще весь дрожа от перенесенного впечатления и — странно — ощущая в то же время не-

известно почему и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подвергались...»

В «Маленьких картинках» Достоевский подходит к Петербургу как инженер-архитектор, прекрасно знающий историю его создания и современное состояние: «Удивительна мне эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня, — именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он; в архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идейек, правильно или внезапно залетевших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церковей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения и отысканный будто бы архитектором Тоном в прошлое царствование тип древнего византийского стиля. Вот затем несколько зданий-больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия — это стиль времени Наполеона Первого — огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда

нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. Вот потом дома, или почти дворцы, иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи. Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили и еще отживают жизнь свою целые поколения древних фамилий, одно за другим, в течение столетий. У нас же поставили наши палаццо всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян... Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццо прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы — это уже деловитость, американизм, сотни номеров, огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми. А теперь, теперь... право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупно выстроенных, с изумительною архитектурою фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непременно оль-де-бёфы и непременно пять этажей, и все это в одном и том же фасаде...»

Прав, думается, Н. П. Анциферов, когда утверждает, что, «осуждая вместе со славянофилами петербургский период, Достоевский в новой столице видит его смысл и его выражение» (*Анциферов Н. П. Душа Петербурга*. Л., 1990. С. 137).

История юноши-подростка Аркадия Долгорукого, главного героя романа Достоевского «Подросток», — это «история его первых шагов на жизненном поприще», это — «поэма о том, как вступил подросток в свет. Это история его исканий, надежд, разочарований, порчи, возрождения, науки — история самого милого, самого симпатичного существа». Аркадий — сын помещика Версилова и жены садовника Макара Долгорукого Софьи Долгорукой, незаконный, «случайный сын» «случайного семейства». От унижений и страданий незаконнорожденности подросток спасается в свою «идею», обособляется.

В неопытной голове Аркадия зародилась идея, взятая из того самого мира, который он презирал. Идея подростка заключалась в том, чтобы стать Ротшильдом, чтобы с помощью денег получить свободу и независимость и из гонимого, презираемого и третируемого превратиться во «властелина и господина». В этой мечте чувствуется и непомерная гордость уязвленного самолюбия, и желание отомстить за зло, причиненное ему людьми: за обманутую доверчивость, насмешки, жестокое детство.

Но в подростковом, в отличие от людей «ротшильдовского» типа, не было цельности. Он был слишком чист и совестлив, его искания правды, обуревающие его противоречивые чувства при столкновении с людьми то и дело отвлекали его от выполнения намеченной цели. В своем искании истины подросток переходит из одного «круга» в другой, как бы проверяя и «разгадывая» каждую из встреченных на жизненном пути «правду»: от надежды на бескорыстные дружбы — к постоянной «загадке» — Версилову, от веры в спасительность женской любви —

к народной правде «странника» Макара Долгорукого, от идеи стать Ротшильдом — к народническим спорам об исторической роли России.

Самой большой загадкой на пути исканий Аркадия является фигура его отца, человека разочарованного, страдающего, гордого, одинокого, «вечного скитальца», тоскующего по религиозному идеалу и в то же время неверующего. И вот подросток берется за разгадку личности своего отца.

Тайна личности Версилова — в его роковой раздвоенности. Он болен всеми недугами современной ему цивилизации. Все неустойчиво, все колеблется и двоится в его сознании: идеи — двусмысленны, истина — относительна, вера — соперничает с неверием. Трагическая раздвоенность Версилова определяет в свою очередь участь двойной семьи. Кризис общения человечества, вступающего в антигуманную эпоху, показан Достоевским на примере той органической ячейки, из которой вырастает общество, семьи: раздвоение в душе Версилова отражается прежде всего на его семье.

Горький опыт падения и страстей не проходит даром для подростка. Разгадывая тайну личности Версилова, Аркадий приходит и к пониманию собственной личности. Подросток, вырастая, осознает трагическое раздвоение своей натуры, символами которого являются Версиров (благородная мечта об отце, а отсюда и тяга к общению с ним и людьми) и Тушар (лакейство и трусость, «идея стать Ротшильдом» и, как следствие этой идеи, — обособление от отца и людей). Двойственность, противоречивость души — последняя правда об отце и сыне. И только поняв эту правду, Аркадий «вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого».

«Подросток» завершается провозглашением веры в новую жизнь, в новый идеал красоты. По мысли Достоевского, этой верой Аркадий был обязан прежде всего

Макару Ивановичу — верующему страннику из народа. В образе Макара Долгорукого находит свое воплощение религиозный мотив романа. Макар — выражение того духовного «благообразия», которое утрачено высшим сословием и по которому так томится подросток. Но Достоевский вкладывает в образ Макара и свои представления о народном идеале святости, чуждом византийской строгости и монашескому аскетизму.

Возвращение Версилова к Софье Андреевне в конце романа и признание им страннической правды Макара Ивановича, полагал Достоевский, означает торжество народного начала над индивидуальным, ненародным, означает возврат «европейского цивилизатора» Версилова к русскому народу. Писатель видел выход из «беспорядка» в слиянии идеалов высшего культурного слоя в лице Версилова и народной правды в лице Макара Ивановича, в примирении дворянского и народного начал.

«Подросток» — книга о юноше, о юности, окрашенная в элегические тона, единственный из пяти великих романов, в котором нет трагического конца. Может быть, здесь сыграло роль то обстоятельство, что в период работы над романом Достоевский неожиданно вновь пережил минуты своей юности — встречу с Н. А. Некрасовым.

Как и в «Идиоте», в «Подростке» в отличие от «Преступления и наказания» Петербург не является равноправным героем, одной из функций сознания действующих лиц. Как и Мышкин, Аркадий не очень хорошо знает город (прекрасно знает Петербург Версиров, признающийся Аркадию, что любит «заходить в разные <...> клоаки», где «все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим»).

Но, как и в «Идиоте», однажды Достоевский и в «Подростке» приближается к уровню «Преступления и наказания», давая неожиданно поразительное по глубине

и предвидению описание «петербургского утра»: «Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире <...> В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из “Пиковой дамы” (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”»

«Город на болоте. Жизнь на болоте, — замечает Н. П. Анциферов, — в тумане, без корней, глубоко вошедших в животворящую мать-сыру землю. Нет корней, и душа города расплывается. Все врознь, какие-то блуждающие, болотные огни» (Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Л., 1990. С. 143–144).

И хотя в «Подростке» есть несколько конкретных петербургских адресов (например, Васин жил «на Фонтанке у Семеновского моста»), точных описаний петербургских квартир (Версиров, входя в «светелку» Аркадия, сравнивает ее с «гробом», как сравнивала с гробом каморку Раскольниковою его мать, недаром сходны и идеи Аркадия и Раскольниковою: «Я предчувствовал, что это такое, но все-таки не предполагал такой конуры, — стал он посредине моей светелки, с любопытством озираясь кругом. — Но это гроб, совершенный гроб!» Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба, и я даже подивился, как он верно с одного слова определил»), описаний петербургской погоды и петербургских



лиц («Совсем уже стемнело, и погода переменилась; было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращающегося в углы свои с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной-то, может быть, общей, всесоединяющей мысли в этой толпе! <...> Мне встретился маленький мальчик, такой маленький, что странно, как он мог в такой час очутиться один на улице; он, кажется, потерял дорогу; одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставив его в темноте. Я подошел было, но он с чего-то вдруг меня испугался и побежал дальше»), интимно-петербургских признаний главного героя («Зато есть у меня в Петербурге и несколько мест счастливых, то есть таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, — и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один и несчастлив, зайти погрузиться и припомнить»), а действие «фантастического рассказа» «Кроткая» из «Дневника писателя» 1876 года тоже происходит в Петербурге (не во втором ли дворе дома старухи-процентщицы на углу Средней Подъяческой и Екатерининского канала покончила с собой героиня?), все же поразительное по глубине описание «петербургского утра» в «Подростке» является вершиной петербургского реализма Достоевского.

Действие последнего романа писателя «Братья Карамазовы» происходит не в Петербурге, однако идею атеистического бунта здесь (Иван Карамазов — главный виновник смерти отца, ибо он внушал Смердякову, что Бога нет, а тот сделал вывод, что тогда все позволено), как и в своем завещании — Пушкинской речи, произнесенной за полгода до смерти на открытии памятника

Пушкину в Москве в июне 1880 года, Достоевский связывает с Петербургом, «самым отвлеченным и умышленным городом на всем земном шаре», который может «исчезнуть как дым» и останется лишь Медный всадник.

Действие практически всех докаторжных произведений Достоевского происходит в Петербурге, многие произведения, созданные после каторги («Униженные и оскорбленные», «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже», «Записки из подполья», «Вечный муж», «Кроткая» и художественные произведения из «Дневника писателя»), и три из гениальных пяти романов писателя — «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток» (некоторую роль Петербург играет и в «Бесах») неразрывно связаны с Петербургом. Петербург Достоевского предстает равноправным героем его сочинений, определяя во многом происходящие события, выполняя функцию человеческого сознания. Достоевского справедливо считают самым петербургским писателем.

«ПОЧТИ БЕЗ УСИЛИЯ, ПОЧТИ МАШИНАЛЬНО,  
ОПУСТИЛ НА ГОЛОВУ ОБУХОМ».

*ОПЫТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЧТЕНИЯ  
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ»*

«Он вынул топор совсем, взмахнул его  
обеими руками, едва себя чувствуя, и  
почти без усилия, почти машинально,  
опустил на голову обухом»

*«Преступление и наказание»*

При изучении самого петербургского романа Достоевского «Преступление и наказание», где буквально каждая подробность, каждый жест, каждый беглый намек преисполнены бездонного значения, малейшая ошибка читателя грозит обрушить им же самим, вслед за автором, возводимое здание. Обычный роман изображает земной трехмерный мир людских характеров и природы, тогда как романы Достоевского раскрывают тайны человеческого духа.

Такой тайной в «Преступлении и наказании» предстает и Петербург, все петербургские детали требуют разгадки. Так, в сцене убийства мы сталкиваемся с любопытной деталью: лезвие топора было все время обращено к Раскольникову и угрожающе глядело ему в лицо — Раскольников был намного выше старухи, — как бы приглашая стать на место жертвы. Вспомним текст: «Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти

машинально, опустил на голову обухом ... Тут он изо всей силы ударил раз и другой, всё обухом...»

Не топор во власти Раскольникова, а Раскольников стал орудием топора. Совершенно иначе обстояло дело при незапланированном убийстве доброй и кроткой по природе Лизаветы: «Удар пришелся прямо по черепу, острием». Топор жестоко отомстил Раскольникову. Эта неспособность совладать с орудием убийства явилась началом крушения Раскольникова.

Сами предметы как бы мстят бунтарю. Ведь фактически Раскольников убил не старуху, а себя, и в этом, собственно, весь смысл романа. Через любую деталь познается художественное произведение в целом, как живой духовный организм. Достоевский считал, что в центре мира стоит человек. Для автора «Бедных людей», для Достоевского докаторжного периода, это были чисто гуманистические причины — сострадание к бедным, к униженным и оскорбленным, но для Достоевского, прошедшего каторгу, христианина, человек действительно становится центром мира и от него все в этом мире зависит, в том числе и изделия человеческих рук.

Топор Раскольникова, нож Рогожина, нож Федьки Каторжного, кошелек в кармане Ставрогина гальванизированы злой человеческой волей своих владельцев. Но только ясновидящая хромоножка в «Бесах» Марья Тимофеевна Лебядкина или эпилептик Лев Николаевич Мышкин в «Идиоте» способны понять тайную сущность этих магических предметов. Но ведь и доброта человека обладает возможностью одухотворять окружающие его предметы. Такова семейная драдедамовая шаль Мармеладовых, таков пряничный петушок, которого нес пьяненький Мармеладов своим детям, когда был раздавлен на улице лошадьми: «Вообразите, Родион Романович, в кармане у него пряничного петушка нашли: мертвопьяный идет, а про детей помнит»

Все, что происходит с топором в «Преступлении и наказании», таинственно и странно, и именно с этого обыкновенного топора намечается в романе поражение чрезмерно возгордившегося человека. Если убийца, которому все позволено, властелин мира, Наполеон, каким считал себя Раскольников, не в силах справиться с простым орудием убийства, значит он обречен на поражение.

Разрешая себе пролитие крови по совести, оказываешься неминуемо во власти черта (отсюда тринадцать ступеней, ведущие в каморку Раскольникова). Решившись прикончить «чахоточную, глупую и злую старушонку», которая «чужую жизнь заедает», Раскольников все еще не верит, что сейчас встанет, пойдет и на самом деле убьет ее: «Он <...> вдруг вскочил <...> как будто кто его сорвал с дивана <...> Он просто не верил себе и упрямо, рабски, искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать».

Раскольников сочинил свою убийственную теорию, отгородившись от людей, в нищенской петербургской каморке. Чрезмерная гордыня заставляет его поселиться в «гробу», замкнуться и сочинять свою теорию. Но ведь Достоевский сам познал в молодости чрезмерную гордыню, проходя через преступный революционный бунт. Недаром Раскольников живет в доме Шилия: именно в доме, принадлежавшем этому домовладельцу, Достоевский был арестован как петрашевец-революционер в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года.

Именно во власти черта оказываются те, кто отпадая от Бога, влекутся к одиночеству из-за чрезмерной гор-

дыни. Порабощенный своей мертворожденной теорией Раскольников стал замечать, что чья-то темная таинственная воля завладевает им: «И во всем этом деле он всегда потом склонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений».

Черт ведет Раскольникова к преступлению, но Раскольников еще борется с собственной совестью, пытается оправдать свой грех. После бесцельного блуждания по Петербургу, Раскольников возвращается домой. Дойдя до Петровского острова, он «остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул». Он увидел страшный сон об истязаемой пьяными мужиками лошади: «Несколько парней, тоже красных и пьяных, схватывают что попало — кнуты, палки, оглоблю, и бегут к издыхающей кобыленке. Миколка становится сбоку и начинает бить ломом зря по спине. Кляча протягивает морду, тяжело вздыхает и умирает». Эта привидевшаяся ему во сне, насмерть забитая, ни в чем не повинная тварь олицетворяет душу Раскольникова, им же самим искалеченную преступной теорией. Но душа Раскольникова все еще пытается избавиться от преступной идеи: «Но бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачками на Миколку». Но черт побеждает, и Раскольников идет на убийство.

Иннокентий Анненский в своей «Первой Книге Отражений» отметил значительность того места, которое занимает черт в мыслях Родиона Романовича, но ведь и Достоевский вкладывает в уста Раскольникова роковые слова: «Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил. <...> А старушонку эту черт убил.

а не я...», а слова Сони Мармеладовой в этом диалоге звучат совсем пророчески: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..»

Раскольников уже не владеет собой, а таинственная сила как бы руководит им, порождая мистику встреч: «Впоследствии Раскольникова до суеверия поражало одно обстоятельство, хотя, в сущности, и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением».

Сон про забитую лошадь лишь ненадолго заставил Раскольникова вспомнить о совести, однако черт, оказавшись сильнее, определяет дальнейшее развитие событий. Раскольников никак впоследствии «не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный», вернулся домой с прогулки не «самым кратчайшим и прямым путем», а сделал «небольшой» крюк, «очевидный и совершенно ненужный», через Сенную площадь: «Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная для него и в то же время такая, в высшей степени случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как раз теперь, к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!»

Дойдя до Сенной площади, «у самого К-ного переулка», Раскольников увидел мещанина и бабу, торговавших тут «с двух столов товаром: нитками, тесемками, платками ситцевыми и т. п.» Они разговаривали с подошедшей женщиной. Это была давно знакомая Раскольникову Лизавета, младшая сестра той самой старухи-процентщицы, к которой еще вчера заходил он под благовидным предлогом, чтобы узнать получше обста-

новку перед убийством. «Когда Раскольников вдруг увидел ее, — пишет Достоевский, — какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного».

Раскольников при встрече с Лизаветой испытал «глубочайшее изумление», но не понял его истинного значения. Лизавете исполнилось к тому времени «тридцать пять лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки и, кроме того, шила на продажу, даже полы мыть нанималась, и все сестре отдавала». Это была «робкая и смиренная девка, чуть не идиотка <...> бывшая в полном рабстве у сестры своей <...> трепетавшая перед ней и терпевшая от нее даже побои». И вот Раскольников почувствовал за обликом «чуть не идиотки» светлый облик Голгофской Жертвы, ибо у Лизаветы «такое доброе лицо и глаза» и она «тихая такая, кроткая, безответная». Раскольников ощутил, что это был последний предупреждающий сигнал, но ведь любые мысли, злые и добрые, всегда впереди любых земных событий и встреч. И Раскольников в своей душе, довольно мрачной, бессознательно уже предрекал Лизавете роль Голгофской Жертвы: ведь она «была проста, забита и напугана раз навсегда». Достоевский не случайно назвал ее этим именем. В «Алфавитном списке святых, упоминаемых в месяцеслове православного церковного календаря» Елисавета — почитающая Бога (*esp.*).

У Достоевского не случайны не только имена героев, но и их жилища. Именно в такой каморке, в какой живет Раскольников, могла возникнуть его преступная теория. Мрак, царящий в душе героя, неразрывно связан с мрачностью его жилья. В подобную клетушку приводит его не только бедность, но и его гордыня, стремление отъединиться от людей. Мать Раскольникова Пульхерия Александровна говорит ему: «Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб».



Чтение «Преступления и наказания» предполагает тщательный анализ каждой строки романа. Обратим внимание, что совсем недавно Раскольников видел пророческий сон об убитой лошади и просил Бога дать ему возможность отступить от замышленного, и тут он неожиданно слышит разговор Лизаветы с торговцами и узнает, что в семь часов вечера старуха будет дома одна, а значит, это будет удобный момент для убийства.

«Первоначальное изумление его, — сообщает Достоевский, — мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал, он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, *останется дома одна*».

В душе Раскольникова неизменно борются бесовские и кроткие силы, и он знает об этой борьбе, но его гордыня перевешивает, помогает победить преступной теории, и черт направляет его к старухе-процентщице.

«Он вошел к себе, как приговоренный к смертной казни, — свидетельствует Достоевский. — Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».

Когда Раскольников идет убивать старуху и старается думать о чем-нибудь отвлеченном, в ужасе от предстоящего преступления, Достоевский снова проводит параллель со смертной казнью: «“Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге”, — мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло, как молния; он сам поскорей погасил эту мысль...»

Раскольников осознает, что попал во власть черта, чувствует, что не способен сопротивляться, и отказываться от борьбы.

«Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в десять часов, на другое утро, насилу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять спитой, и опять в ее собственном чайнике».

Собственные имена даются Достоевским не случайно, они почти всегда отражают не характер, не типы, а личность его персонажей. Анастасия означает воскресение. Вот почему, несмотря на то, что Раскольников надругается над породившей его матерью-землей, она по-прежнему в лице Настасьи заботится о нем, и в этом, кстати, залог будущего воскресения, возрождения Раскольникова.

Когда Настасья вторично, уже в два часа дня, вошла к Раскольникову, неся ему суп: «Он лежал как давеча. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и с злостью стала толкать его. — Чего дрыхнешь! — вскричала она, с отвращением смотря на него». Но это было не только возмущение тем, что Раскольников не выпил принесенный чай. Настасья бессознательно почувствовала готовящееся кровавое преступление — недаром Настасья «с состраданием посмотрела на него».

На следующий день, уже «в полные сумерки», Раскольников «очнулся <...> от ужасного крику»: «И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя, — конечно, о том, чтобы ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел <...> Вдруг Раскольников затрепетал, как лист: он узнал этот голос: это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь и бьет хозяйку!

Он бьет ее ногами, колотит ее головою о ступени, — это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам! <...> Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель».

Любопытно, что это — карикатурное повторение преступления Раскольникова. Несколько раньше Достоевский сам разъясняет значение имени помощника квартального надзирателя: «Но в эту самую минуту в конторе произошло нечто вроде грома и молнии». И позже снова повторяется эта же характеристика Ильи Петровича: «Опять грохот, опять гром и молния, смерч, ураган!» Достоевский иронически называет помощника квартального надзирателя именем громовержца пророка Ильи, а отчество его образовано от имени апостола Петра, означающего «камень» (*греч.*). И «грозный», как пророк, и «твердый», как камень, Илья Петрович старается оправдать свое имя. Достоевский также иронично называет квартального надзирателя Никодимом, именем, означающим «побеждающий народ» (*греч.*).

«Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз; он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал». Но ведь эта картина представляет душу Раскольникова, захваченную злом. Когда же «вдруг яркий свет озарил его комнату: вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа», то этот свет озаряет и его душу, входит в нее, где в самой глубине еще теплится надежда на возрождение. Настасья — символ его воскресения.

Не стоит принимать всерьез то, что Настасья говорит о печенках: «А это кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет и уж печенками запекаться начнет, тут и начнет мерещиться», но именно она первая почувствовала в Раскольникове убийцу: «Настасья молча и нахмурившись его рассматривала и долго так смотрела

<...> — Это кровь, — отвечала она наконец тихо и как будто про себя говоря. — Кровь!.. Какая кровь?.. — бормотал он, бледнея и отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него».

Горящая свеча в руках Настасьи, способная проникнуть в страшное нутро убийцы, освещает и «гроб» Раскольникова, его злодуховный облик, а хлеб, соль и тарелка супа посылаются матерью-землей своему преступному сыну, и именно она в лице Настасьи способна простить его.

«Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! “Не рассудок, так бес!” — подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно».

Но ведь раньше Достоевский написал, что топор «блеснул» Раскольникову «в глаза» и странная усмешка убийцы лишь отразила этот блеск, и теперь мы уже чувствуем всю фантазмагорию этого дьявольского подарка, который поработил пронизанного греховной сущностью Раскольникова.

«Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри...»

Итак, топор был у самого сердца убийцы, что самым тесным образом связало его со злом.

Идя к старухе-процентщице делать пробу, он «позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот

особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз...»

Можно предположить, что слабый, безжизненный звук старухино звонка олицетворял собой мертворожденную теорию Раскольникова, олицетворял слабо тлеющую, словно огарок свечи, надежду на воскресение. Но в то же время мертвенность этого звука отражала злую сущность старухи, ее паразитарный образ жизни. Облик «старой ведьмы» срастался для Раскольникова с его собственными темными замыслами.

«...Он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья о самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он здесь, снаружи, прислушивался, притаясь изнутри, и, кажется, тоже приложив ухо к двери...»

Самое интересное заключается в зеркальном сходстве позиций Раскольникова и старухи, но лишь позднее Раскольников поймет, что займет место старухи, убив ее, он фактически убьет себя, свою совесть, но поняв, не сможет повернуть обратно.

Не случайно и то, что футляр с серьгами подбирает красильщик Миколка. Тут важно, что его зовут так же, как и Миколку из сна Раскольникова. Оба носят имя этого святого угодника. Достоевский был величайшим диалектиком, антиподом чистого и невинного сердцем Миколки-красильщика он делает пьяного деревенского парня, насмерть забивающего лошадь. Между этими двумя Миколками, между верой и неверием и мечется герой, связанный с обоими: с одним — круговой порукой греха, с другим — надеждой на воскресение.

Месяца за полтора до «пробы» Раскольников вспомнил про адрес старухи-процентщицы и решил отправиться к ней, чтобы заложить «маленькое золотое колечко с тремя какими-то красненькими камешками, подаренное

ему при прощании сестрой на память». Мало заметные, но очень важные детали приобретают особый смысл. Камешки красные, их цвет — предвестник крови в будущем.

«Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж».

Обычно скупой на описание наружный деталей, Достоевский всегда задерживает наше внимание на деталях, могущих открыть нечто важное для смысла романа. Лестница, ведущая вниз, в подвальное помещение, как бы показывает Раскольникову, что ему предстоит сойти в глубину своей несчастной, отравленной грехом совести и встретить своего невольного изобличителя и возможного спасителя, Мармеладова.

«Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок».

Возможно, хозяин распивочной — из бывших берейторов (людей, объезжавших верховых лошадей), сапоги которых имели красные отвороты, но Достоевский не зря обращает внимание читателя прежде всего на красные отвороты, а затем уже и на их владельца, лицо которого сравнивается с «железным замком». Не упоминаются ни нос, ни глаза, замок — воплощение того, что все чувства этого человека давно умерли, держатся под замком, как деньги в сундуке старухи. Хозяин распивочной и старуха-процентщица настойчиво возвращают мысли Раскольникова к пролитию крови, к преступлению.

«Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная». Проходная комната Мармеладова, олицетворяющая его открытость людям, его смирение, противопоставляется каморке гордеца Раскольникова, укрывшегося от людей в своем «гробу»: «Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсию».

«А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить!» — рассказывает Мармеладов Раскольникову. Соня вынесла ему свои последние «тридцать копеек». И Мармеладов не мог в эту позорную для него минуту не ощутить себя Иудой.

«Между посетителями были две дамы, — рассказывает Достоевский о первом приходе Раскольникова в полицейскую контору. — Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди величиной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала».

Обе эти дамы органически связаны с преступлением Раскольникова. Дама в трауре — частица несчастной совести тяжко согрешившего героя; пышно одетая дама, багрово-красная (опять эпитет «красная»), очевидно, содержательница публичного дома, попирающая землю и не испытывающая при этом никакого угрызения совести, — воплощение преступной теории Раскольникова. И опять совесть Раскольникова мечется между двумя дамами, как между двумя Миколками.

Раскольников «прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой

точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение <...> Одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдоль долго и пристально: это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, — чаще всего, возвращаясь домой, — случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и всё, всё... Казалось, он улетал куда-то вверх и все исчезало в глазах его».

Самый фантастический и самый умышленный в мире город — Петербург, двойственный город, и его двойст-



венность первым почувствовал А. С. Пушкин в «Медном всаднике». «Преступление и наказание» продолжает тему трагической раздвоенности столицы российской империи, Раскольников незримо связан с Евгением, — оба они бунтуют против Бога, против государства.

Для Достоевского-петрашевца, задумавшего свергнуть самодержавие «хотя бы путем восстания», как и для бунтаря Раскольникова, «духом немой и глухим полна была <...> эта пышная картина...» и «необъяснимым холодом веяло <...> всегда от этой великолепной панорамы», но Достоевский — православный человек — верит, что в России в конечном итоге победит не «дух немой и глухой», а христианская правда.

«Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту».

Раскольников добровольно повернулся спиной к сияющему куполу собора и встал лицом к духу немому и глухому.

Раскольников вернулся домой уже к вечеру: «Где и как шел обратно, ничего этого он не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...»

Раскольников не внял предупреждению свыше и, став убийцей и замучив собственную совесть, сам уподобился загнанной лошади.

Раскольников подошел к толпе: «Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей; седоков не было, и сам кучер, слезши с козел, стоял подле; лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой, у самых колес».

Вот этот полицейский фонарик, который «вдруг <...> ярко осветил лицо несчастного» Мармеладова, освещал и Раскольникову одну, узкую дорожку, которой надо было ему идти — это покаяние.

«Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу», — отмечает Достоевский время ухода Раскольникова от умершего Мармеладова, а когда Раскольников первый раз приходит к нему, Достоевский указывает: «Было уже почти одиннадцать часов...» А вот время прихода к Соне: «Я поздно... Одиннадцать часов есть? — спросил он, все еще не подымая на нее глаз. — Есть, — пробормотала Соня. — Ах да, есть! — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход, — сейчас у хозяев пробили... и я сама слышала... Есть».

После посещения Сони, «на другое утро, ровно в одиннадцать часов, Раскольников вошел в дом -й части, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу».

Число 11 здесь несет определенную смысловую нагрузку. Достоевский хорошо помнил евангельскую притчу о том, что «Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Выходил он нанимать работников в третьем часу, в шестом, в девятом и, наконец, вышел в одиннадцатом. А вечером, при расплате, управляющий по распоряжению хозяина заплатил все поровну, начав с пришедших в одиннадцатом часу. И последние стали первыми во исполнение какой-то высшей справедливости.

Эту же евангельскую притчу Достоевский мог слышать и в проповеди св. Иоанна Златоуста, читаемой в православных церквях во время пасхальной заутрени.

Отнеся встречи Раскольникова с Мармеладовым, Соней и Порфирием Петровичем к 11 часам, Достоевский напоминает, что Раскольникову все еще не поздно сбросить с себя наваждение, еще не поздно в этот евангель-

ский час признаться и покаяться и стать из последнего, пришедшего в одиннадцатом часу, первым. (Недаром для Сони был «весь исход» в том, что в момент прихода к ней Раскольников у Капернаутовых пробило одиннадцать часов.)

«Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб, — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание, — я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.

— Квартира?.. — отвечал он рассеянно. — Да, квартира много способствовала... я об этом тоже думал... А если б вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька, — прибавил он вдруг, странно усмехнувшись».

Именно преступная теория способствовала проживанию Раскольника в гробовой конуре, которая выражала собой его непомерную гордость. Но любопытно сравнить жилище гордеца Раскольника с жилищем смирившейся Сонечки Мармеладовой.

Соня шла, «потупясь, торопясь». «Она припомнила вдруг, что Раскольников сам хотел к ней сегодня зайти, может, еще утром, может, сейчас!

— Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня! — бормотала она с замиранием сердца, точно кого-то упрасывая, как ребенок в испуге. — Господи! Ко мне... в эту комнату... он увидит... о, Господи!»

Соня и не представляла себе, что ее комната — неразрывная часть доброй половины души Раскольника, так как там хранится Евангелие Лизаветы, и там проживает она, Сонечка Мармеладова, полюбившая идеального убийцу. И обе силы — Евангелие и любовь Сони в конце концов преобразят Раскольника.

Соня снимала комнату у портного Капернаутова, косноязычного и хромого; его жена тоже была косно-

язычна. У них было семь человек детей. Старший, по словам Сони, заикался, а другие — просто больные.

Это смиренное убожество, эта евангельская фамилия выражают собой полное христианское смирение Сони, соседями которой должны были стать именно Капернаумовы.

Комната Сони, пишет Достоевский, «была большая, но чрезвычайно низкая, единственная отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим номером. Сониная комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убежал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой <...> Поблизости от острого угла, стоял небольшой, простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте <...> Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок».

Попадаешь в мир каких-то призрачных миражей, где комод, «затерявшийся в пустоте», стоит рядом с острым углом, а другой безобразно тупой угол символизировал Сонину судьбу, зашедшую в тупик, и эта судьба так же уродлива, как и уродлива ее комната. Но ведь Соня так же переступила черту, как и Раскольников, но только она христианка и жертвует собой, а Раскольников жертвует другими, однако греховная жертвенность Сони, которая привела ее в этот сарай, обязательно порождает

встречу в этом сарае с надменным гордецом Раскольниковым.

Другая половина души Раскольникова — злая, злодуховная, рождающая его страшную теорию о праве на убийство — находилась справа за дверью, «всегда запертой наглухо»: «За дверью справа, за тою самою дверью, которая отделяла квартиру Гертруды Карловны Ресслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Ресслих и отдававшаяся от нее внаем <...> Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемую. А между тем, все это время, у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал».

Соне предназначено спасти Раскольникова от его преступной теории, Свидригайлов же, наоборот, должен еще больше утвердить его в правильности избранного им преступного пути, и пустая комната у «шельмы» мадам Ресслих символизирует собой пустую душу идейного убийцы.

Интересно, что первоначальный толчок фамилии Свидригайлова мог дать Великий князь литовский Швитригайло (Свидригайло). Интересуясь историей своего рода (а Достоевские происходили из старинного литовского рода), Достоевский мог обратить внимание и на этимологический состав фамилии Свидригайло: вторая часть этой фамилии — гайл — означает по-немецки (geil) — похотливый, сладострастный. Но при выборе этой фамилии Достоевский использовал и звуковые ассоциации. Фамилия Свидригайлова отражает странную, полную внутренних изворотов личность этого персонажа, и эта странность и изворотливость чувствуется и в звуках этой фамилии.

Придя вторично к Соне, «Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стояла перед ним в двух шагах, точь-в-точь как

вчера». Это весьма знаменательно, что разговор Сони и Раскольникова должен начаться обязательно там же, где вчера: теперь и навсегда Соня и Раскольников соединились вместе, и они повторяют все свои положения.

Живой труп Свидригайлов поселяется перед смертью «в отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей»: «Он зажег свечу и осмотрел номер подробнее. Это была клетушка, до того маленькая, что даже почти не под рост Свидригайлову, в одно окно; постель очень грязная, простой крашенный стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарканными обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвет их (желтый) угадать еще можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница. Свидригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался».

Любопытно, что «гроб» Раскольникова, который Достоевский называет также «клетушкой», напоминает «клетушку» Свидригайлова. «Это была крошечная клетушка, — пишет Достоевский о “жилище” Раскольникова, — шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок».

Но вот что интересно, если сравнить комнаты Раскольникова, старухи-процентщицы, Сони и комнатку Свидригайлова в гостинице «Адрианополь»: все они имели обои желтого цвета, да и Соня получила в полиции «желтый билет», т. е. удостоверение желтого цвета, дающее ей право заниматься своим ремеслом. И это очень важно. Желтый цвет символизирует духовное заболева-

ние, внутреннее угнетение, общую подавленность, но Достоевский, вероятно, не случайно упоминает, что в «клетушке» Свидригайлова «одна часть стены и потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница».

Может быть, в душе нераскаявшегося Свидригайлова, давно уже потерявшего границу между добром и злом и которому всё всё равно, эта лестница как раз и ведет в «одну комнатку, эдак вроде деревенской бани, закоптелой, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность».

Последний петербургский пейзаж перед самоубийством Свидригайлова — «уныло и грязно смотрели ярко-желтые [опять “желтые”. — С. Б.] деревянные домики с закрытыми ставнями <...> грязная, издрогшая собачонка, с поджатым хвостом <...> какой-то мертво-пьяный, в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара», — символизирует для Свидригайлова предстоящее самоубийство как неизбежный и единственный выход из его тупика.

Но у Раскольникова другие знаки и символы. Когда Соня и Раскольников читают Евангелие, Достоевский не случайно упоминает огарок свечи. Еще не все погасло в душе Раскольникова, еще теплится в ней тусклое пламя огарка, но нужно только покаяться, избавиться от преступной петербургской идеи, чтобы это пламя разгорелось в негасимый свет.

## «ТРИНАДЦАТЬ СТУПЕНЕЙ».

### ПЕТЕРБУРГСКИЕ АНОМАЛИИ — СИМВОЛЫ У ДОСТОЕВСКОГО

«Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор».

*«Преступление и наказание»*

История преступления и наказания Раскольникова происходит в Петербурге. И это не случайно. Самый фантастический на свете город порождает самого фантастического героя. В мире Достоевского место, обстановка, природа неразрывно связаны с героями, составляют единое целое. Только в мрачном и таинственном Петербурге могла зародиться эта «безобразная мечта» нищего студента, и Петербург здесь не просто место действия, не просто образ: Петербург — участник преступления Раскольникова.

На протяжении всего романа встречаем лишь несколько кратких описаний города, напоминающих театральные ремарки, но их вполне достаточно, чтобы проникнуть в «духовный» пейзаж, чтобы почувствовать «Петербург Достоевского».

Все, даже краткие описания северной столицы в «Преступлении и наказании» имеют особый, часто не-



уловимый на первый взгляд смысл. И это требует особого искусства чтения великого романа.

Вспомните кульминационную сцену «Преступления и наказания», когда Раскольников и Сонечка Мармеладова читают Евангелие: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги».

Что означает эта сцена, этот текст? Это особое искусство *символического* чтения, созданное Достоевским под влиянием четырехлетнего чтения на каторге одной книги — Евангелия, единственной книги, разрешенной в остроге.

Но Евангелие — вечная книга не только потому, что всегда будут вечными евангельские истины. Евангелие всегда будет вечной книгой, так как каждое новое поколение разгадывает тайный, символический смысл его, учится особому искусству медленного, символического чтения.

Достоевский сам указывал в письме к брату 9 октября 1859 года, что истоки «Преступления и наказания» восходят ко времени каторги: «В декабре я начну роман <...> Не помнишь ли, я тебе говорил про одну *исповедь* — роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедленно <...> Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения... *Исповедь* окончательно утвердит мое имя».

«Преступление и наказание» — первый из пяти великих романов Достоевского, где писатель во всем блеске демонстрирует свое искусство символического чтения. Вот лишь два характерных примера. Можно ли, скажем, пройти мимо фамилии, имени и отчества главного героя «Преступления и наказания» — *Раскольников Родион*

*Романович* — и не подумать о возможном символическом толковании: раскол родины Романовых?

А вот символика неоднократного указания в «Преступлении и наказании» на *одиннадцать* часов. Достоевский хорошо помнил евангельскую притчу о том, что «Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Выходил он нанимать работников в третьем часу, в шестом, в девятом и, наконец, вышел в одиннадцатом. А вечером, рассчитываясь, управляющий по распоряжению хозяина заплатил всем поровну, начав с пришедших в одиннадцатом часу. И последние стали первыми во исполнение какой-то высшей справедливости.

Отнеся встречи Раскольникова с Мармеладовым, Соней и Порфирием Петровичем к 11 часам, Достоевский напоминает, что Раскольникову все еще не поздно сбросить с себя наваждение, еще не поздно в этот евангельский час покаяться и стать из последнего, пришедшего в одиннадцатом часу, первым. (Недаром для Сони был «весь исход» в том, что в момент прихода к ней Раскольникова у соседа Капернауова, носящего евангельскую фамилию, пробило одиннадцать часов.)

Но ведь и Петербург был для Достоевского символом, и не просто символом, а аномалией-символом. И особое искусство символического чтения, созданное писателем, предполагает и особое искусство расшифровки петербургских аномалий-символов у Достоевского.

Почему Петербург был для писателя аномалией-символом среди других русских городов? Это связано с отрицательным отношением Достоевского к Петру I и к его западническим реформам. Если в раннем Достоевском, до каторги, есть еще некоторое поэтически-романтическое отношение к Петербургу, правда, с неперменной окраской в элегически-грустные тона, — вспомним «Белые ночи», — и Петербург является своеобразным фоном

первых произведений писателя, то после каторги и ссылки город становится активным действующим лицом в «Записках из подполья», «Униженных и оскорбленных», «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Кроткой», «Бобке», таким же соучастником преступления Раскольникова и Рогожина, виновником самоубийства Кроткой, действующим лицом среди разлагающихся трупов в «Бобке».

Достоевский считал, что именно Петр I подорвал православные начала в русском народе и с Петра началось разъединение интеллигенции и народа. Еще в 1862 году Достоевский писал: «Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой — главной... Реформа шла сверху вниз, а не снизу вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа не успела <...> Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только веков... Вот в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу — за свою одну жизнь — переменить нравы, обычаи, воззрения русского народа <...> Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы; если она какое имела на него влияние — то далеко не к выгоде его. Говоря таким образом, мы вовсе не думаем отрицать всякое общечеловеческое значение реформы Петра... Она, по прекрасному выражению Пушкина, прорубила нам окно в Европу, она указала нам на Запад, где можно было кой-чему поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась не более как окном, из которого избранная публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно было видеть, училась не тому, чему должна была там учиться... Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу».

В результате петровской реформы в конечном итоге появились бунтари-революционеры петрашевцы, к которым принадлежал и сам Достоевский (эту свою вину

перед русским народом он понял на каторге и каялся до конца своих дней) и бунтари-революционеры Раскольниковы.

Символ петровских реформ — Петербург, но ведь этот город и сам — аномалия. Город, созданный на болоте, вопреки климату, вопреки всякой геологии, город искусственный, фантастический, никто не знает, скольких тысяч жизней крепостных стоило его возведение. Но не зря же Иван Карамзов восклицает, что ни одна слезинка ребенка не должна пролиться ради будущей гармонии, выражая заветную мысль самого писателя.

Исследователи топографии Петербурга Достоевского обращали до сих пор внимание лишь на *реальный* город в его послекаторжных произведениях, и прежде всего, конечно, в самом «петербургском» романе «Преступление и наказание». Мы же попытаемся сейчас впервые почувствовать *духовный* город писателя, т. е. попытаемся впервые раскрыть петербургские аномалии-символы у Достоевского, а в связи с этим проанализируем семантику фамилий петербургских героев романа, его числовое и цветное оформление.

И здесь нас подстерегают загадки на каждом шагу, и надо быть предельно внимательным и духовно зрячим, чтобы найти разгадку, чтобы понять тайну этих петербургских аномалий-символов.

Начнем с главного. Попробуйте совершить пешеходную экскурсию по «жилищам» героев «Преступления и наказания», а заодно и посмотреть адреса самого писателя в момент создания им первого из пяти великих романов. Вас поразят два обстоятельства. Первое. Где бы вы ни бродили, сколько бы часов ни ходили, вас будет неизменно преследовать водная стихия, Екатерининский канал. Кажется, ни в одном романе русской и мировой литературе нет такого «водного» обрамления. Вроде бы, аномалия какая-то.

А на самом деле здесь есть глубокий смысл. Не зря же герою другого петербургского романа Достоевского «Подросток» Аркадию Долгорукому «сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?»

Только в этом фантастическом городе, искусственном, созданном на воде, и могла зародиться фантастическая идея Раскольникова осчастливить человечество путем убийства, ибо все в Петербурге — символе петровской России — зыбко и неустойчиво, под Петербургом болото, вода (вспомним «Бобок»), бесчисленные жертвы взывают о мщении, и в любой момент можно ждать взрыва стихии и общественных катаклизмов.

Второе обстоятельство, неизменно поражающее вас, если вы бродите по местам «Преступления и наказания», — это угловые дома героев романа, так или иначе сопрягающиеся с угловыми домами, где проживал сам писатель в момент создания романа. На это пристрастие Достоевского и его героев к угловым петербургским домам уже давно обратили внимание.

Но и в этой, казалось бы, аномалии, заложен глубокий смысл. Да, конечно, квартиры в угловых домах были более просторными, но это лишь реальное объяснение, а есть более сокровенное, символическое объяснение этой привычки. Встаньте перед знаменитым домом купца Алонкина — сейчас дом № 7 по Казначейской улице (бывшей Малой Мещанской), на углу Столярного переулка и Казначейской — здесь Достоевский написал «Преступление и наказание». Вот уникальный случай в истории литературы: со своего балкона писатель мог

видеть, как мимо него проходят герои романа, как идет на убийство через К-н [Кокушкин] мост Раскольников.

А теперь, стоя перед домом Алонкина, посмотрите на пересекающие друг друга Казначейскую улицу и Столярный переулок. Угловые дома создают из двух улиц четыре, и получается перекресток, как бы крест, символ креста. А ведь что такое «Преступление и наказание», как и другие великие романы Достоевского? В чем главный их смысл? Достоевский постоянно ищет ответ на сакраментальный вопрос: с кем, куда пойдет Россия? С Богом или с дьяволом? С Раскольниковым или с Сонечкой Мармеладовой? Останется ли она христианской или станет атеистической страной? Недаром же Сонечка говорит Раскольникову: «Поди на *перекресток* [курсив наш. — С. Б.], поклонись народу... и скажи всему миру вслух: “Я убийца!”». Этот же перекресток относится и к предполагаемому жилищу самого Раскольникова, совсем рядом, на углу Столярного переулка и Гражданской улицы (бывшей Средней Мещанской).

Но иллюзия создания угловыми домами *четырёх* улиц в «Преступлении и наказании» входит также и в особую числовую символику романа. Вот Раскольников первый раз идет к старухе-процентщице: «...Стало быть, в *четвертом* этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая».

Американский исследователь Л. Даунер в статье «Raskolnikov in Search of a Soul» (Modern Fiction Studies, 1958. Vol. 4) обратил внимание на часто повторяющееся в романе число «четыре»: «Однако так как мучительные колебания Раскольникова, символизирующие его психический разлад и моральное замешательство, все же должны представлять его возможную психическую и моральную цельность, то лестницы и число “четыре” связаны, так как лестница буквально ведет к определенному

повторяющемуся уровню высоты — к *четвертому* этажу.

Квартира жертвы находится на четвертом этаже здания; Раскольников прячет украденные вещи во дворе, где строится четырехэтажный дом; убогая комната Мармеладова находится на 4-м этаже; полицейская контора находится на 4-м этаже этого здания, и Раскольников направляется к четвертой комнате. В каждом случае эта окружающая обстановка отмечает критический момент в психической эволюции Раскольникова: убийство, поиски тайника (укрывательство), первая встреча с Соней и окончательное признание. После преступления Раскольников четыре дня находится в бредовом состоянии. В истории воскрешения Лазаря, которую Соня читает Родиону Раскольникову, Лазарь был мертв четыре дня. История эта помещена в 4-м Евангелии (Евангелие от Иоанна). У Раскольникова есть четыре основных бреда. Таким образом, мы имеем восемь (дважды четыре) проявлений числа "4", все связанные с преступлением Раскольникова, виной его и признанием.

Число 4 имеет основополагающее значение. Есть 4 времени года, четыре направления, четырехклеточные стадии в эмбриональном развитии, четыре стадии человеческой жизни, четыре "мира", четыре элемента».

К этому следует добавить, что символика чисел в произведениях Достоевского, в частности в «Преступлении и наказании», восходит к фольклорной и библейской числовой символике: четыре стороны света — слова Сони: «Стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю... поклонись всему свету на все четыре стороны» (неслучайно «на перекрестке» — как уже говорилось, здесь символ креста, что связано с покаянием Раскольникова); четыре Евангелия. В Откровении Иоанна Богослова — 4 животных (гл. 4); 4 ангела, 4 угла земли, 4 ветра (гл. 7); 4 имени сатаны (гл. 12); 4 со-

творенных Богом предмета (гл. 14); 4 имени народа (гл. 17) и т. д.

Приведя многочисленные примеры «поразительно устойчивого образа» четырехэтажных домов и четвертого этажа в «Преступлении и наказании», В. Н. Топоров делает вывод: «Эта четырехчленная вертикальная структура семантически приурочена к мотивам узости, ужаса, насилия, нищеты и тем самым противопоставлена четырехчленной горизонтальной структуре (на все четыре стороны), связываемой с идеей простора, доброй воли, спасения. Этот второй, сакральный аспект чисел, противопоставленных профаническим числам, годным лишь для “низкой жизни”, снова возвращает нас к архаическим схемам мифомышления и, в частности, к практике ритуальных измерений основных параметров мира. И у Достоевского число введено в мир и определяет не только размеры, но и высшую суть его. Для приближения к ней, проникновения в нее необходима полнота жизни» (Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления («Преступление и наказание») // Structure of Texts and Semiotics of Culture. Paris, 1973. P. 261).

Вероятно, Достоевский был знаком также и с учением пифагорейцев, приписывавших различным числам тайные значения. Пифагорейцы утверждали, что числа являются основным началом и сущностью вещей, и подробно определили качество и роды чисел, создав пифагорейский математический символизм и таинственную мистику чисел. Таким образом, из первоначальной кажущейся аномалии цифровое обрамление постепенно превращается в глубокий символизм.

Во всяком случае не следует забывать об этом, когда мы узнаем, что Сонечка Мармеладова после своего падения «тридцать целковых молча выложила». Фольклорно-евангельское число «три» (в фольклоре — три



дороги, три встречи, три сына, три препятствия; в Евангелии — три отречения Петра, Иисус у Геннисаретского озера обратился к Петру с вопросом 3 раза, 3 года искал плодов на смоковнице хозяин) тоже играет значительную роль в романе «Преступление и наказание». Марфа Петровна оставила Дуне три тысячи рублей по завещанию, Соня вынесла Мармеладову на похмелье свои последние тридцать копеек, и он, как и раньше Катерина Ивановна, которой Соня «тридцать целковых молча выложила», не мог в эту позорную для него минуту не ощущать себя Иудой. Марфа Петровна выкупила Свидригайлова за тридцать тысяч сребреников, и он ее предал (покушался на ее жизнь), как некогда предал Иуда Христа за 30 сребреников; Свидригайлов хотел предложить Дуне «тысяч до тридцати». Раскольников три раза позвонил в колокольчик старухи, три раза ударил ее топором. «Три встречи» Раскольникова с Порфирием Петровичем конденсируют философское содержание романа. На третий день после убийства «объявляется вдруг самый неожиданный факт»; в трех шагах стреляет Дуня; три билета вручает Соне Свидригайлов; три часа дожидается Разумихин, когда Раскольников проснется; «три раза приходила» Марфа Петровна к Свидригайлову; у Сони три дороги, думает Раскольников, когда она стояла в трех шагах от стола; о трех тысячах рассуждает Свидригайлов; у Сони «большая комната с тремя окнами» и т. д.

Но комната Сони, как и петербургские жилища других героев «Преступления и наказания», не имеет самостоятельного существования (как, собственно, и сам Петербург в сознании Достоевского) — они лишь функция их сознания. Обычно писатель скуп на их детальное описание, но если Достоевский все-таки останавливается чуть подробнее на петербургских жилищах своих героев, то опять-таки эти аномальные картины глубоко символичны. Так, у Раскольникова квартира напоминает гроб,

и только в этом, лишенном воздуха гробу и могла зародиться столь чудовищная теория. У Сонечки комната уродливая, как уродлива и ее судьба, но очень просторная. Сонечка открыта людям, тогда как жизнь Раскольникова скрыта от людей. А вот Мармеладов, у которого душа нараспашку, жил в *проходной* комнате. (Отметим также подробное описание страшного петербургского дома Рогожина в «Идиоте», в котором непременно должно произойти убийство.)

Раскольников первый раз попадает в квартиру старухи-процентщицы: «небольшая комната <...> с желтыми обоями <...> Мебель, вся очень старая и из желтого дерева <...> да двух-трех грошовых картинок в желтых рамках...»

Можно вспомнить также «желтую каморку» Раскольникова «со своими желтенькими, пыльными <...> обоями», «желтоватые, обшмыганные и истасканные обои» в комнате Сони Мармеладовой, мебель «из желтого отполированного дерева» в комнате Порфирия Петровича, «желтый» цвет обоев в номере гостиницы, где остановился Свидригайлов.

Почему вдруг такое пристрастие к желтому цвету? С. М. Соловьев, специально занимавшийся изучением цветового фона произведений Достоевского, пришел к выводу, что «Преступление и наказание» — «наиболее совершенное по художественному выполнению произведение Достоевского — создано при использовании фактически одного *желтого* фона! Этот желтый фон — великолепное, целостное живописное дополнение к драматическим переживаниям героев» (Соловьев С. М. Колорит произведений Достоевского // Достоевский и русские писатели. М., 1971. С. 437).

Совершенно справедливо С. М. Соловьев делает вывод: «Желтый цвет уже сам по себе создает, вызывает, дополняет, усиливает атмосферу нездоровья, расстрой-

ства, надрыва, болезненности, печали. Сам грязно-желтый, уныло-желтый, болезненно-желтый цвет вызывает чувство внутреннего угнетения, психической неустойчивости, общей подавленности».

В. В. Кожин обратил внимание на «очень существенное сопоставление в “Преступлении и наказании” двух слов: слово “желтый” не раз соседствует с другим словом одного с ним корня — “желчный”, которое, кстати, тоже часто встречается в романе.

О Раскольникове, например, говорится: “Тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам <...> Наконец, ему стало душно и тесно в этой желтой каморке”.

Или другое место: “Проснулся он желчный <...> и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка <...> имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими <...> обоями” <...>

Перед нами явное взаимодействие внутреннего и внешнего, мироощущения героя и мира. В этом взаимодействии, очевидно, и коренится тот сложный и напряженный смысл, который приобретает в романе слово “желтый” <...>

Во взаимодействии с “желчью” “желтизна” приобретает смысл чего-то мучительного, давящего <...>

Наконец, слово “желтый” связано, по-видимому, еще и с тем, что “Преступление и наказание” — ярко выраженный петербургский роман. Дело в том, что образ Петербурга прочно ассоциировался в русской литературе с желтым цветом <...>

Вероятно, и в романе Достоевского обилие “желтого” как-то связано с самим ощущением Петербурга, его общего колорита» (Кожин В. В. «Преступление и наказание» Достоевского // Три шедевра русской классики. М., 1971. С. 123–124).

Итак, снова, казалось бы, аномальный изначально желтый цвет превращается в символ, несущий определенную смысловую нагрузку.

Символичны и фамилии домовладельцев, владельцев квартир, да и вообще очень многие имена и фамилии в «Преступлении и наказании». Вспомним, что Достоевский только один раз указывает фамилию домовладельца Раскольников. Мещанин, почувствовавший, что именно Раскольников является убийцей, спрашивает, где тот живет, и Раскольников отвечает: «В доме Шилия».

Обычно Достоевский не называет фамилий домовладельцев. Но данный случай не является аномалией, фамилию Шиль носил владелец дома, в котором в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года был арестован Достоевский как участник кружка петрашевцев, целью которых было свержение самодержавия «хотя бы путем восстания». Давая эту фамилию владельцу дома, где проживает Раскольников, Достоевский как бы вызывает ассоциацию бунта Раскольникова с революционным бунтом своей молодости.

Вполне очевиден символический характер имени портного Капернауова, в квартире которого живет Сонечка. Он связан с евангельским городом Капернаумом. В черновых записях к роману Сонечка, так же как евангельская блудница Мария Магдалина из города Магдала, близ Капернауа, идет за Раскольниковым «на Голгофу...»

У Достоевского тщательно продуманы имена и фамилии героев. Мы уже упоминали о возможности толкования фамилии, имени и отчества главного героя «Преступления и наказания», как: *раскол родины Романовых*. *Раскол* же, заметное явление в историческом самосознании русского народа, представляет собой историческую аномалию.

Раскол (старообрядчество, староверие) — течение, возникшее в середине XVII века в Русской Церкви как протест против новшеств патриарха Никона (1605–1681),

которые заключались в исправлении церковных книг и некоторых церковных обычаев и обрядов.

И здесь опять в сознании Достоевского Раскольников ассоциировался с Петром I, которого писатель считал аномальным явлением в русской истории. М. С. Альтман, посвятивший специальный этюд фамилии Раскольникова, пишет: «Петра Великого Достоевский считал первым русским нигилистом, и от Петра же, считал он, находится русская церковь в параличе. Реформы Петра привели к нигилизму в интеллигенции и к расколу в народе. В аспекте этих “двух расколов” приобретает исключительное значение то, что преступление нигилиста *Раскольникова* принимает на себя один “из *раскольников*”».

В начальных вариантах романа Достоевский намекает на историческое происхождение фамилии Раскольникова. Мать Раскольникова говорит: “Раскольниковы хорошей фамилии... Раскольниковы двести лет известны”. “Двести лет известны” — не значит ли это с начала раскола, когда такая фамилия могла появиться? Раскольников, видимо, и впрямь из раскольников» (*Альтман М. С. Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975. С. 44*).

А. Л. Бем обратил внимание на возможность двойного толкования фамилия Раскольникова: «Одно — исходит из толкования семантической части, как *раскол* — раздвоение, другое — выдвигает связь корня с *расколом* — раскольничеством, одержимостью одной мыслью, фанатизмом и упрямством. Оба толкования <...> вполне законны, ибо в таких случаях возможно самое разнообразное использование звуковых сочетаний в целях оживления известного представления. Во всяком случае, символический характер имени здесь сознательно подчеркнут» (*Бем А. Л. Личные имена у Достоевского // О Do-stojevském. Sbornik stati... Praha, 1972. С. 278*).

Еще один герой «Преступления и наказания» — «надворный советник, Петр Петрович Лужин» своим именем и отчеством связан с отношением Достоевского к реформам Петра, а идеологически — с образом Раскольникова. В имени и отчестве Лужина можно увидеть намек на его принадлежность к чиновничьей касте, созданной Петром I.

Но ведь Лужин, как и Свидригайлов — духовные дети Раскольникова. Ведь если разрешить себе «кровь по совести», как это сделал Раскольников, то непременно кончишь Лужиным и Свидригайловым.

Первоначальный толчок фамилии Свидригайлова мог дать великий князь литовский Швитригайло (Свидригайло). Напомним, что Достоевские происходили из старинного литовского рода, представители которого с XVI века упоминаются в различных документах юго-западной Руси. Интересуясь историей своего рода, Достоевский мог обратить внимание и на этимологический состав фамилии Свидригайло: вторая часть этой фамилии — гайл — означает по-немецки (*geil*) — похотливый, сладострастный.

Отрицательный этимологический состав фамилии мог связаться с отрицательным персонажем, неким Свидригайловым, упоминавшимся в фельетоне в «Искре» в 1861 году (14 июля, № 26), еще до появления романа «Преступление и наказание» (по всей видимости, «Искра» употребила это имя как нарицательное): Свидригайлов — «человек темного происхождения, с грязным прошедшим, личность отталкивающая, омерзительная для свежего честного взгляда, вкрадывающаяся, вползающая в душу <...> И эта низкая, оскорбляющая всякое человеческое достоинство, ползающая, вечно пресмыкающаяся личность благоденствует...»

Выбирая эту фамилию, Достоевский использовал и смысловую, и звуковую ассоциации. Само звучание этой фамилии отражает странную, полную внутренних изво-

ротов личность этого персонажа. Справедливо отмечает Н. Жернакова: «В основу характера Свидригайлова положен принцип непредсказуемости и неопределенности, который потом появится у модернистов» (*Жернакова Н. «Преступление и наказание»: Свидригайлов — самодовлеющая личность // Записки Рус. акад. группы в США. New York, 1981, т. XIV. С. 46).*

Значение другой «звуковой» фамилии — «Лебезятников» — Достоевский определил сам в черновых записях к роману: «У Разумихина доказывает он <Раскольников> главное, что необходимо иметь обеспеченье 5000 с самого начала, чтоб стать на твердую дорогу, не то будешь подличать, лебезить, поддакивать <...> картина лебезятничества перед Лужиным в случае нищеты». Эта же фамилия встречается в другом петербургском рассказе «Бобок» (1873 г.).

Комментируя вышеприведенную черновую запись, М. С. Альтман пишет: «В таком тексте “лебезить”, “лебезятничество” звучит еще нарицательно, а затем это понятие в образе Лебезятникова уже персонифицируется, и к Лебезятникову из рассказа “Бобок” автор делает пояснение: “льстивый... надворный советник... по имени оказался Лебезятниковым”.

В каком-то аспекте Лебезятников Андрей Семенович <в “Преступлении и наказании”> приходится “духовным сыном” Лебезятникову Семену Евсеевичу <в “Бобке”>: “отец” лебезил перед лицами старше чином, ну а “сын” — тот лебезит перед молодым нашим поколением; оба Лебезятникова льстивые, лебезящие» (*Альтман М. С. Достоевский: По вехам имен. Саратов, 1975. С. 170).*

С вышеприведенным происхождением фамилии Лебезятников, в которой Достоевский хотел дать сатиру на нигилизм и нигилистов, связана и другая черновая запись к роману: «Нигилизм — это лакейство мысли. Нигилист — это лакей мысли».

Однако большинству своих героев Достоевский подбирает имена, явно используя православный церковный календарь, справляясь с указанным там значением греческих имен, преимущественно дававшихся в России при крещении. В библиотеке у Достоевского был такой календарь, в котором давался «Алфавитный список святых с указанием чисел празднования их памяти и значения имен в переводе на русский язык».

Несомненно, что Достоевский часто заглядывал в этот «список», выбирая имена для своих героев. Вспомним, например, как Мармеладов представляет свою супругу: «Катерина Ивановна, супруга моя, — особе образованная и урожденная штаб-офицерская дочь». «Екатерина» в переводе с греческого означает «всегда чистая». Действительно, Катерина Ивановна гордится своим образованием, воспитанием, свой «чистотой». Когда Раскольников первый раз приходит к Соне, то она, защищая Катерину Ивановну от его несправедливых обвинений, говорит: «Она справедливости ищет... Она чистая» (курсив наш. — С. Б.).

В отчестве самого Мармеладова — Семен Захарыч — возможно, скрыт намек на его религиозность. В «Алфавитном списке святых» церковного календаря имя библейского пророка Захария означает «память господня» (евр.).

Имя Пульхерия означает «прекрасная», а Александр — «защитник людей». Мать же Раскольникова зовут Пульхерия Александровна. По этому поводу Г. Мейер тонко замечает: «Создавая духовный облик Пульхерии Александровны, Достоевский, вне всякого сомнения, думал о Пульхерии Ивановне из “Старосветских помещиков”». Все творчество Достоевского есть скрытая, а иногда и открытая полемика с Гоголем. Беспощадного высмеивания, умерщвления человека смехом, — вот чего не прощал автор “Преступления и



наказания” автору “Мертвых душ” <...> Старосветская помещица, поработенная бездушным обиходом чрезмерно отстоявшегося быта, обнаруживает свою убогую ограниченность и, умирая, уходит в сумерки, серые, как серая кошка, приходившая за своею госпожою, чтобы увести ее в безвестное. И в честь всего неживого, сумеречного положили в гроб Пульхерию Ивановну в сереньком платье. Но Достоевский воскресил Пульхерию и, дав ей новое отчество, вдохнул в нее волю к существованию и желание стать прекрасной матерью, защитницей своих детей» (*Мейер Г.* Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»): Опыт медленного чтения. Frankfurt-Main, Посев, 1967. С. 134–135).

Сводную сестру старухи-процентщицы и ее сожительницу звали Лизавета Ивановна. В «Алфавитном списке святых, упоминаемых в месяцеслове православного церковного календаря», Елисавета — «почитающая Бога» (*евр.*).

Лишь один из главных героев «Преступления и наказания» не имеет фамилии. Это следователь Порфирий Петрович. По этому поводу Д. Н. Брещинский замечает: «Это указывает не только на обособленность его функции в романе и фундаментальную загадочность его образа, так до конца и не раскрытого, но и на интимность и непосредственность изображения Порфирия, не нуждающегося в установлении фамильных уз» (*Брещинский Д. Н.* Порфирий Петрович: художественный образ и композиционная функция следователя в «Преступлении и наказании» Достоевского // Современник, Торонто, 1971, № 22. С. 26).

Подсказать это имя и отчество мог образ Порфирия Петровича в «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина, на который Достоевский обратил внимание еще в 1861 году в журнале «Время» в своей статье о русской литературе.

В «Алфавитном списке святых...» Порфирий означает «багряный» (*греч.*). Имея в виду это значение, Брецинский пишет: «Убив ростовщицу и ее сестру и преступив тем самым ветхозаветную заповедь “не убий”, Раскольников вступает в конфликт сразу с двумя правдами — божьей и человеческой. Религиозное начало представлено в романе Соней Мармеладовой, правовое начало — <...> Порфирием Петровичем. Соня (София) и Порфирий — божественная мудрость и очистительный огонь (именно так, мне думается, надо понимать символику этих имен у Достоевского)».

Брецинский отмечает также, что в имени и отчестве, возможно, есть намек на монаршую власть — порфира (пурпурная мантия монарха) и Петр (первый русский император).

Очень важно, что Миколку из сна Раскольникова зовут так же, как и красильщика Миколку. Оба они носят имя этого Святого угодника. Достоевский был величайшим диалектиком, и поэтому антиподом чистого и невинного сердцем Миколки-красильщика является пьяный деревенский парень Миколка, насмерть забивающий лошадь. Между этими двумя Миколками, между верой и неверием и мечется Раскольников, связанный с обоими неразрывно: с одним — круговой порукой греха, с другим — надеждой на воскресение.

Хозяйская прислуга Раскольникова Настасья не случайно носит это имя: Анастасия означает «воскресение» (*греч.*). Настасья, как и Пульхерия Александровна — символ матери-земли. И хотя Раскольников надругается над породившей его матерью-землей, она в лице Настасьи по-прежнему заботится о нем, верит в его воскресение.

Супругу Свидригайлова зовут Марфа Петровна. Ин. Анненский пишет о ней: «Для самого Достоевского Марфа Петровна была символом страдания, в котором нет Бога, и этим идея как бы переводилась в сферу

высокого комизма» (Анненский Ин. Книга отражений. М., 1979. С. 189).

Принимая во внимание эти слова Анненского, можно предположить, что Достоевский не случайно называет Марфу Петровну евангельским именем Марфа. В течение всей своей жизни Марфа Петровна была погружена в мелкие ежедневные расчеты и заботилась, как и евангельская Марфа, слишком о многом, когда «единое на потребу»: «В продолжении пути их, пришел Он [Иисус Христос. — С. Б.] в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла его в дом свой; у ней была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и подошедши сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 38–42).

Некоторые исследователи обратили внимание, что в области словесной символики в «Преступлении и наказании» одно слово-образ занимает особое место. Это — петербургская *лестница*, тоже своего рода аномалия. Уже в самом начале романа сообщается, что хозяйка Раскольниковова «помещалась одною лестницей ниже <...> и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу». «Так неизбежно развивается действие романа, — пишет Л. Даунер в уже упомянутой статье, — что можно только в итоге осознать, что большинство его как физических, так и психических движений происходит как нисхождение и восхождение по лестнице. В самом деле, в повествовании, исключая заключительную часть, Раскольников взбирается и спускается с лестницы по крайней мере 48 раз.

Он должен подниматься и спускаться из своей чердачной комнаты на улицу. Он взбирается по лестнице, чтобы попасть в комнату Мармеладова; он должен подняться на несколько этажей до квартиры старой процентщицы; и до полицейской конторы; и до комнаты Сони. Важным фактором является, однако, то, что моменты напряжений или колебаний характерным образом происходят на лестницах <...> Лестница имеет несколько символических значений и ассоциаций. Во-первых, это — подъем, усилие и даже борьба. Борьба, драматизированная в характере Раскольникова, является доминирующей темой романа <...> Восхождение и нисхождение Раскольникова являются своего рода психическим ритуалом, каждым шагом которого он частично определяет, в отношении добра и зла, свою психическую и моральную структуру. Его “путь” — это буквально путь “вверх” и “вниз”».

М. М. Бахтин, выделяя символический смысл «лестницы» и «порога» в «Преступлении и наказании», отмечает в связи с этим особое осмысление Достоевским пространства и времени в романе: «*Верх, низ, лестница, порог, прихожая, площадка* получают значение “точки”, где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный перелом судьбы, где принимаются решения, переступают запретную черту, обновляются или гибнут <...>

Прежде всего Раскольников живет, в сущности, на пороге: его узкая комната, “гроб” <...> выходит прямо на площадку лестницы, и дверь свою, даже уходя, он никогда не запирает (то есть это незамкнутое внутреннее пространство). В этом “гробу” нельзя жить биографической жизнью, — здесь можно только переживать кризис, принимать последние решения, умирать или возрождаться (как в гробах в “Бобке” или в гробу “смешного человека”). На пороге, в проходной комнате, выходящей прямо на лестницу, живет и семья Мармеладовых (здесь, на пороге, когда Раскольников привел пьяного Марме-

ладова, он впервые встречается с членами этой семьи). У порога убитой им старухи-процентщицы переживает он страшные минуты, когда по другую сторону двери, на площадке лестницы, стоят пришедшие к ней посетители и дергают звонок. Сюда он опять приходит и сам звонит в звонок, чтобы снова пережить эти мгновения. На пороге в коридоре у фонаря происходит сцена полупризнания Разумихину, без слов, одними взглядами. На пороге, у дверей в соседнюю квартиру, происходят его беседы с Соней (а по другую сторону дверей их подслушивает Свидригайлов) <...>

Порог, прихожая, коридор, площадка, лестница, ступени ее, открытые на лестницу двери, ворота дворов, а вне этого — город: площади, улицы, фасады, кабаки, притоны, мосты, канавки. Вот пространство этого романа» (*Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского.* 4-е изд. М., 1979. С. 198–199).

В этом поистине круговороте лестниц в «Преступлении и наказании» есть одна как будто аномалия, когда Достоевский единственный раз указывает точное количество ступеней лестницы. Вот Раскольников идет на убийство. Он вышел из своей чердачной каморки «и стал сходить вниз свои *тринадцать* ступеней».

Но ведь это не случайно. Раскольников, задумавший такое страшное преступление, попадает во власть дьявола, черта, «*тринадцать*» — дьявольское число. Взяв в дворницкой топор, он вдруг «подумал, странно усмехаясь: “Не рассудок, так бес!”».

Поразительно, что, если считать домом Раскольникова здание на углу бывшей Средней Мещанской и Столярного переулков (теперь это дом № 19 по Гражданской улице), как полагает большинство исследователей, начиная с Анциферова, автора книги «Петербург Достоевского» (Пг., 1923), — то во дворе этого дома можно и теперь

найти лестницу, где в последний этаж действительно ведет тринадцать ступеней».

По этому поводу академик Д. С. Лихачев, которого автору этих строк дважды посчастливилось в 1970-е годы водить по этим местам, замечает: «Ужас охватывает, когда поднимаешься по лестнице дома, где “жил” Раскольников, и отсчитываешь те самые тринадцать ступеней последнего марша, о которых говорится в романе <...> Невозможно поверить, что герои Достоевского не жили в этих, так точно указываемых им местах. Иллюзия реальности поразительна» (Лихачев Д. С. Литература — Реальность — Литература. Л., 1981. С. 54).

Есть также глубокий топографический смысл в том, что покаяние и возрождение Раскольникова произошли не в лестничном, каменном Петербурге, а на *просторе*, на каторге, «на берегу *широкой* [курсив наш. — С. Б.] пустынной реки».

Символично и то, что, идя на убийство, Раскольников проходит мимо Юсупова сада, где мысли его принимают, казалось бы, неожиданный оборот: «Он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов... Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь». В том, что за 15 минут до убийства Раскольникову приходят в голову такие прекрасные мысль об озеленении всего Петербурга, — залог его возрождения.

Еще одна реальная примера Петербурга тех лет в романе Достоевского — трактир Пале де Кристаль (Хрустальный дворец). Трактир этот находился в 1860-е годы недалеко от Сенной площади. Но не случайно именно это название трактира понадобилось писателю. Он вкладывает в него иронический и аллегорический смысл. В июле 1862 года, во время своего заграничного путе-

шествия, Достоевский видел в Лондоне здание Хрустального дворца, построенное в 1851 году архитектором Дж. Пакстоном. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский рассказывает о Всемирной выставке в Лондоне, которую он посетил: «Сити со своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна».

Хрустальный дворец послужил для Чернышевского в романе «Что делать?» прообразом архитектуры будущего социалистического общества. Полемику, начатую с Чернышевским, с его утопическим «Хрустальным дворцом» в «Зимних заметках о летних впечатлениях», Достоевский обостряет в «Записках из подполья»: «Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать».

Продолжая полемику с Чернышевским, Достоевский в «Преступлении и наказании» иронически называет хрустальным дворцом не идеал будущей гармонии, а обыкновенный трактир, и именно в этом трактире Раскольникову, как и герою «Записок из подполья», дважды захотелось высунуть язык своему собеседнику.

Попробуем дальше взглянуть на Петербург Достоевского как на город, являющийся аномалией-символом в его творчестве. Обычно писатель зашифровывает петербургские улицы, проспекты и переулки, где живут его герои, как бы приглашая нас к сотворчеству, однако когда князь Лев Николаевич Мышкин едет по Садовой и подходит к дому купца Рогожина, Достоевский точно указывает: Гороховая улица (да и в «Бесах» один раз Гороховая называется). Почему?

Все дело, вполне возможно, в том, что когда Достоевский стоял на Семеновском плацу, в ожидании смертной казни, и жить ему оставалось, как он сам признавался, «не более минуты», — самый страшный момент

в жизни Достоевского, — он видел перед собой Гороховую улицу. Отныне эта улица навсегда связывается в сознании писателя с убийством, с преступлением. Вот почему Рогожин зарезал Настасью Филипповну в своем доме на Гороховой, а Ставрогин растлил малолетнюю девочку тоже на Гороховой, и она здесь же и повесилась.

А если мы посмотрим от Семеновского плаца, с того места, где сейчас находится Театр юных зрителей, на Гороховую, то в конце ее увидим высокий шпиль Адмиралтейства, который, конечно же, видел и Достоевский в свой предсмертный миг. И мы поймем еще одну петербургскую аномалию-символ у писателя.

С этого предсмертного мига начинается разгадка Достоевским тайны Петербурга. И в «Преступлении и наказании» он разгадал тайну этого самого «умышленного» города на свете. Тайна северной столицы в ее двойственности. Но ведь и Раскольников так же двойственен, как и породивший его Петербург (с одной стороны Сенная площадь — «отвратительный и грустный колорит картины», с другой — Нева — «великолепная панорама»), и весь роман посвящен разгадке этой двойственности Раскольникова-Петербурга. В ясный летний день Раскольников стоит на Николаевском мосту и «пристально вглядывается» в открывающуюся перед ним «действительно великолепную панораму»: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина <...>. Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его...»

Кажется, единственный раз мы встречаем у Достоевского описание «великолепной панорамы» Петербурга: ведь Раскольников стоит на Николаевском мосту и смотрит на Исаакиевский собор и Зимний дворец. Обычно мы встречаем у писателя совсем другой петербургский



пейзаж: «отвратительный и грустный колорит картины» Сенной площади и прилегающих к ней улиц. Но царственный Петербург не просто аномалия у Достоевского, попытаемся понять ее глубинное значение.

В «Подростке» у писателя есть одно поразительное место: «В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из “Пиковой дамы” (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода), мне кажется, должна еще более укрепиться». Раскольников — духовный брат Германа. Он тоже мечтает о славе Наполеона и убивает старуху. Его бунтом завершается «петербургский период русской истории». Вот почему царственный Петербург всегда вызывал бунт в Раскольникове и «холодом веяло на него от этой великолепной панорамы», а бунт был связан с безбожным духом — «духом немым и глухим».

И петербургский пейзаж в «Преступлении и наказании» соответствует преступлению главного героя. Мир, окружающий человека, всегда дается как часть души этого человека, становится как бы внутренним пейзажем человеческой души, в немалой степени определяет человеческие поступки. В душе Раскольникова-убийцы так же «холодно, темно и сыро», как в Петербурге, и «дух немой и глухой» города звучит в Раскольникове, как тоскливая песня одинокой шарманки. «Я люблю, — признается Раскольников, — как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица: или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...»

Мокрый снег, фонари, шарманка — обычный петербургский пейзаж Достоевского. Поэтому, когда вдруг в «Преступлении и наказании» упоминается *солнце*, мы

воспринимаем его как нечто чужеродное, аномалию. Вспомним, когда в романе Достоевский говорит о солнце. Раскольников первый раз приходит к старухе-процентщице, комната которой «была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем». И Раскольников сразу же подумал: «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..»

Значит, Раскольников боится, что и во время убийства (не случайно же Достоевский выделяет *тогда*) будет солнце. А солнце всегда у Достоевского — символ «живой жизни», символ воскресения героя. В ужасе Раскольникова перед солнцем, и предчувствие гибели, гибели его мертворожденной теории, и в то же время предчувствие воскресения — воскресения души. Теперь становятся понятными слова Порфирия Петровича во время последнего разговора с Раскольниковым: «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем». И в эпилоге романа, когда Раскольникова воскресила любовь Сони, он услышал песню «в облитой солнцем [курсив наш. — С. Б.] необозримой степи», где «была свобода и жили другие люди, совсем непохожие на здешних». А в последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы» Дмитрий Карамазов произносит сокровенный монолог писателя о солнце как о символе и воплощении жизни: «В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь, — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце — это уже вся жизнь».

Раскольников первый раз приходит к старухе. Поразительная точность петербургской топографии у писателя: он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать». Число 7, отдельно, в этом сочетании и в разных других, является наиболее устойчивым символическим числом в «Преступлении и наказании». Сам роман семичленен (6 частей и эпилог), первые две части состоят из семи глав каждая, роковое время

для Раскольникова — 7 часов вечера. Цифра 7 буквально преследует Раскольникова: «В семом часу, завтра»; «Он узнал, он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха ровно в семь часов вечера, останется дома одна»; «Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик: — Седьмой час давно!».

Отметим также семь детей портного Капернаумова, семилетний голосок, певший «Хуторок», сон Раскольникова, когда он представляет себя семилетним мальчиком, семьдесят тысяч долга Свидригайлова, семь лет, которые он прожил с Марфой Петровной и т. д.

И цифра 7 здесь, конечно, не случайна. Согласно учению пифагорейцев, число 7 является символом святости, здоровья и разума. Теологи называют число 7 «истинно святым числом», так как число 7 — это соединение числа 3, символизирующего божественное совершенство, и числа 4, числа мирового порядка; следовательно, само число 7 является символом «союза» Бога с человеком, символом общения между Богом и его творением. В Библии говорится о том, что в 7-й день, после шести дней творения, Бог почил. «И всякого скота чистого <...> по семи мужского пола и женского» должен взять Ной в ковчег (Первая книга Моисеева. Бытие, гл. 7). Урожайных годов в Египте было 7 и неурожайных тоже 7 (Бытие, гл. 41). Каждый 7-й день и каждый 7-й год — святы, и после  $7 \times 7$  лет — юбилейный год и т. д.

Можно предположить, что «посылая» своего героя на убийство именно в 7 часов и указывая, что идти ему было до дома старухи 730 шагов, Достоевский тем самым уже заранее обрекает Раскольникова на поражение, так как тот хочет разорвать «союз» Бога с человеком. Вот почему, чтобы снова восстановить этот союз, чтобы снова стать

человеком, Раскольников должен снова пройти через это «истинно святое число». Поэтому в эпилоге романа вновь возникает число 7, но уже не как символ гибели, а как спасительное число: «Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! <...> Семь лет, только семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней».

Американский исследователь Дж. Миллер в статье «Магическое число семь плюс или минус два» на большом экспериментальном материале показал ограниченность оперативной памяти человека, могущей оперировать не более чем семью символами или объектами одновременно (Инженерная психология: Сб. М., 1964. С. 213). Русский литературовед О. Рисс совершенно справедливо пишет, что к числу заинтриговавших Дж. Миллера семеричных сочетаний, известных в природе, быту, мифологии и т. д. (семь дней недели, семь основных цветов, семь тонов музыкальной шкалы, семь чудес света, семь дочерей Атланта и пр.) необходимо добавить перл народной мудрости — основательный совет семь раз отмерять или проверять перед тем, как хочешь сделать что-то важное (Рисс О. Семь раз проверь...: Опыт путеводителя по опечаткам и ошибкам в тексте. М., 1977. С. 37).

Но почему же все-таки Достоевский указывает точное число шагов от ворот Раскольникова до дома ростовщицы — «ровно семьсот тридцать»? Дело в том, что наиболее вероятный дом старухи — «преогромнейший дом, выходивший одной стеной на канаву, а другою в -ю улицу» — на углу Екатерининского канала (в просторечии его называли «канавой») и Средней Подьяческой улицы. Попробуйте идти к нему от наиболее вероятного дома Раскольникова, считая шаги, и их будет 730.

Значит Достоевский сам проделал весь путь Раскольникова, считая шаги, он действовал, как следователь;

для детективного сюжета все важно, в том числе и те 730 шагов, которые просчитал Раскольников, чтобы потом тщательно скрыть следы преступления.

Однако, цифра 7 несет в романе еще одну важную идеологическую нагрузку, связанную с неприятием Достоевским любого революционного, насильственного переустройства мира, разрешения «крови по совести». Раскольников, разрешивший себе «кровь по совести», должен был прийти к старухе в 7 часов вечера, когда не будет дома ее сестры Лизаветы.

Но Раскольников проспал в нервной дреме, опоздал, пришел к старухе в восьмом часу и вынужден был убить и Лизавету, успевшую к тому времени вернуться. Он убивает ту самую униженную и оскорбленную, которую он совсем и не собирался убивать — ведь ради таких, как Лизавета, он и пошел изначально на преступление.

Любой революционный бунт, задуманный рационально, по Достоевскому неизбежно столкнется с иррациональностью и непредсказуемостью самой жизни и уже не получится «простой арифметики» касательно жертв, как предполагал Родион Романович (в сознании Достоевского бунт Раскольникова ассоциировался с бунтом Петра I), а будет огромное количество безвинных жертв (что и случилось после октября 1917 года). В иррациональности жизни один из главных контраргументов Достоевского против любого революционного переустройства мира.

Достоевский подсмотрел еще одну характерную особенность петербургской топографии и ее аномальность переосмыслил символически в «Преступлении и наказании». Речь идет о Таировом переулке, идущем от Сенной площади параллельно Садовой улице. В «Преступлении и наказании» идет такой текст: «Миновав площадь, он [Раскольников. — С. Б.] попал в переулок <...>. Он и прежде проходил часто этим коротеньким переулком,

делающим колено и ведущим с площади в Садовую». Но почему же Раскольников часто ходил к себе с Сенной этим переулком, хотя самый короткий путь был прямо по Садовой? Оказывается, если этим переулком идти на Садовую с Сенной, то упираешься словно в тупик, хотя есть «колени», поворот на Садовую. И у Раскольникова в душе такой же тупик, хотя есть просвет: надо только покаяться. Покаяние — единственный выход из тупика петровских реформ.

Так петербургские аномалии становятся символами у Достоевского, как и сам Петербург — аномалия среди русских городов — в сознании писателя — символ бунта Раскольникова и предчувствие бунта последующих поколений революционеров.

«РОВНО СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ».

*ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
ПО ПЕТЕРБУРГУ ДОСТОЕВСКОГО*

«Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать».

*«Преступление и наказание»*

В 1960 году старейший исследователь творчества Достоевского профессор Аркадий Семенович Долинин, у которого я учился в Педагогическом Институте имени А. И. Герцена, познакомил меня с внуком писателя Андреем Федоровичем Достоевским. Как сейчас помню осенний день, когда я первый раз поехал к нему на Наличную улицу. Страшно волновался, однако Андрей Федорович оказался приветливым и доброжелательным. Много было в нем черт, унаследованных от деда: и бескорыстие, и чувство долга, и преданность своим друзьям.

В 1963 году мы вместе с ним разработали маршрут пешеходной экскурсии «Петербург Достоевского». Через пять лет Андрея Федоровича не стало, и с тех пор я один вожу всех желающих по этому маршруту...

Он проходит, в основном, по местам событий «Преступления и наказания» — «самого петербургского» романа писателя. История преступления и наказания Раскольникова разворачивается в столице России не случайно: самый фантастический на свете город, каким всегда представлялся Достоевскому Петербург, порождает само-

го фантастического героя. Только в мрачном и таинственном городе на Неве могла зародиться «безобразная мечта» нищего студента, и Петербург здесь не просто место действия, не просто образ, он — соучастник преступления Раскольникова. Этот человек так же двойственен, как породивший его город (с одной стороны, Сенная площадь — «отвратительный и грустный колорит картины»; с другой — Нева — «великолепная панорама»).

В 1907 году вдова писателя А. Г. Достоевская сделала на полях экземпляра романа «Преступление и наказание» примечания, раскрывающие некоторые из сокращенных писателем обозначений. Оказалось, что «С-й переулок» — это тот самый Столярный переулок, в котором жил сам Достоевский во время создания «Преступления и наказания», «К-н мост» — Кокушкин мост через Екатерининский канал (теперь канал Грибоедова).

Остановимся на Сенной площади, перед старинным зданием с колоннами. На здании — мемориальная доска, оказывается, это памятник архитектуры, построенный еще во времена Пушкина. Здесь помещалась гауптвахта. Она связана с биографией Достоевского: он как редактор журнала-газеты «Гражданин» за опубликование слов царя без разрешения придворного ведомства отбывал здесь по приговору суда двухдневный арест 21 и 22 марта 1874 года.

Жена писателя Анна Григорьевна Достоевская пишет в своих «Воспоминаниях» (М., 1987) о редактировании писателем «Гражданина»: «На первых порах своей новой деятельности Федор Михайлович сделал промах — именно, он поместил в “Гражданине” (в статье князя Мещерского “Киргизские депутаты в С.-Петербурге”) слова государя императора, обращенные к депутатам. По условиям тогдашней цензуры речи членов императорского дома, а тем более слова государя могли быть напечатаны



лишь с разрешения министра императорского двора. Муж не знал этого пункта закона. Его привлекли к суду без участия присяжных. Суд состоялся 11 июня 1873 г. в С.-Петербургском окружном суде. Федор Михайлович... был приговорен... к двум суткам ареста на гауптвахте... По поводу своего ареста Федору Михайловичу пришлось познакомиться с тогдашним председателем С.-Петербургского окружного суда Анатолием Федоровичем Кони, который сделал все возможное, чтобы арест мужа произошел в наиболее удобное для него время».

А. Ф. Кони помог отнести *второй* арест Достоевского (первый, как известно, был в 1849 году по делу петрашевцев) на более удобное для него время — вторую половину марта 1874 года, когда он фактически уже перестал быть редактором «Гражданина». Судя по воспоминаниям А. Г. Достоевской, околоточный явился за ее мужем 21 марта 1874 года. Местом заключения назначили гауптвахту на Сенной площади.

За два дня на гауптвахте Достоевский смог перечитать свое любимое произведение — «Отверженные» Виктора Гюго. И это очень важно, так как Достоевский уже был весь во власти своего нового романа «Подросток», и ему необходимо было перечитать роман о воспитании «падшего человека».

Мемуаристы отмечают, что в камере с Достоевским находился тогда какой-то ремесленник (это был купеческий сын Александров), а дежурный офицер был «премнеющий», который говорил с писателем о романе «Преступление и наказание» и «вообще разговаривал с ним по душе».

В Российском государственном архиве литературы и искусства нам удалось найти воспоминания этого офицера. Правда, он во многом утрирует двухдневные события, происходящие на гауптвахте, но все же в этих воспоминаниях есть весьма правдивые строки: «Когда

утром я пришел на дежурство, то служитель, который сменялся, сказал мне, что у нас двое новых сидят. "Один из них писатель", — прибавил он.

— А почему ты знаешь? — спросил я.

— А они мне сами об этом сказывали.

Посмотрел в реестр заключенных, вижу фамилии и в самом деле Достоевский и Александров.

Ну, думаю, шутку, значит, сыграла с ним жизнь. Однако любопытствую: какой из себя Достоевский. Всего о нем я не знал, но кое-что из сочинений читать приходилось <...>

Как-то приметил я, что Достоевский молится на ночь. Станет в темном углу и долго стоит, сложив руки на груди, а когда кончит молитву, опустится на колени, поклонится, достанет крест нательный, поцелует и сейчас же спать ложится, чтобы не было разговоров.

Днем Достоевский много читал или писал письма. Дадут денег, велят купить бумаги и пакетов, а потом все отсылали со мною или с другими дежурными. Это им офицером дозволялось.

Ходил я раз в гостиницу, носил письмо к какому-то господину — редактору [издателю «Гражданина» князю В. П. Мещерскому. — С. Б.]. Господин этот приказал передать Федору Михайловичу книжку журнала и деньги.

Достоевский, получив деньги, хотел одарить меня, но я положительно отказался.

— Позвольте вам услужить, хотя это и не дозволяется правилами, но чтобы за деньги, то ни за какие! — говорил я писателю, а он все не верил, что я не хочу денег, что я отказываюсь от них.

— Вот уж чего не понимаю: русский человек, а деньгами не интересуешься, — сказал он.

Я тогда очень этими словами обиделся, обиднее еще было, что купчик насмеялся и надо мной и над бедным Федором Михайловичем.

— Не хотите, чтобы за *спасибо* делал, то поищите себе других... — сказал я.

Достоевский очень расстроился, стал уверять, что он ошибся в суждении обо мне и попросил у меня прощения.

Мы тут же, конечно, примирились, и Достоевский даже купчика склонил на мою сторону: тот стал меня на “вы” называть. Только не думаю, чтобы Александров в полное уважение или сочувствие ко мне вышел. Ему стыдно, должно быть, было Достоевского.

В скором времени Достоевский был отпущен. Александров оставался после него недели две.

Когда Достоевский уходил, я помогал складывать ему вещи, и он подарил мне бутылку романи, которую употреблял с чаем».

А теперь пойдем вслед за главным героем «Преступления и наказания», когда он направлялся к себе «домой», встретив на Сенной площади сестру старухи Лизавету: «Было около девяти часов, когда он проходил по Сенной... Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и лохмотников... У самого К-ного переулка [Конный переулок — ныне переулок Гривцова. — С. Б.], на углу, мещанин и баба, жена его... тоже поднимались домой, но замешкались, разговаривая с подошедшею знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна...»

Но Сенная площадь в романе — это не только место зарождения замысла Раскольникова, точнее, последнего толчка к решению об убийстве, так как именно здесь он «узнал... что... старуха, ровно в семь часов вечера, *останется дома одна*». На Сенной площади и итог этого преступления. Когда Соня Мармеладова говорит: «Поди на перекресток, поклонись народу... и скажи всему миру вслух: “Я убийца!”» — куда идет Раскольников?

Снова на Сенную: «Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем».

Но покаяние Раскольникова (не раскаяние — оно будет на каторге) связано также со знаменитой Сенной церковью (ее снесли в 1962 году — на этом месте сейчас станция метро).

В петербургской топографии романа нет ничего случайного: Достоевский жил здесь до и во время создания «Преступления и наказания» и прекрасно знал это район...

После встречи с Лизаветой Раскольников идет домой. Точно так же шли с Сенной площади и все остальные герои романа, так ходил на свою квартиру и его автор: через Кокушкин мост, Сенного моста еще не существовало. Но мы, чтобы увидеть еще некоторые дома, где жил Достоевский, свернем с Сенной направо, пройдем через Сенной мост и окажемся в самых «достоевских» местах Петербурга. Здесь четыре адреса писателя, здесь «живут» все герои «Преступления и наказания». Здесь встречаются также Мечтатель и Настенька из «Белых ночей», начинается роман «Униженные и оскорбленные», в одном из дворов-колодцев гибнет Кроткая, героиня одноименной повести.

Достоевский не случайно поселил здесь Раскольникова с его фантастической идеей облагодетельствовать человечество посредством убийства. Фантастичность и нереальность этим местам придает Екатерининский канал. Это — наиболее извилистый канал нашего города, мы будем проходить неподалеку в самых разных местах, но рядом непременно возникает канал, как бы преследуя нас.

Переходим Сенной мост, поворачиваем направо и по набережной Екатерининского канала подходим к улице Петербурга, более других связанной с именем Достоев-

ского — Казначейской (бывшей Малой Мещанской). Здесь три квартиры писателя, квартира его брата и, наконец, предполагаемый адрес Сонечки Мармеладовой.

Малая Мещанская, 1. В этом доме в начале 1860-х годов жил старший брат писателя Михаил Михайлович Достоевский. В его квартире помещалась редакция журнала «Время», а позже — журнала «Эпоха». Чтобы быть поближе к редакции, Ф. М. Достоевский (основная работа лежала на нем) в сентябре 1861 года поселяется тут же на втором этаже. Писатель прожил здесь по август 1863 года, закончив в этом доме купчихи А. А. Астафьевой «Записки из Мертвого дома». И в редакции, и в квартире Достоевского часто бывали в это время жившие, кстати, совсем близко писателя и критики Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов, Всеволод Крестовский. Облик дома не изменился (многие здания «достоевского» района сохранились, менялась, как правило, лишь их этажность).

Все три квартиры Достоевского по Казначейской улице находятся в угловых домах. Достоевский сменил в Петербурге 20 квартир и 18 из них были в угловых домах, да и герои его, как правило, живут в угловых домах.

Когда через два года после проживания на Малой Мещанской, 1, писатель стал работать над «Преступлением и наказанием», он, очевидно, вспомнил двор этого дома. Зайдем во двор — мы видим очень характерный для старых петербургских домов тупой угол. И Достоевский поселяет в таком углу Соню Мармеладову: тупой угол как бы символизирует ее уродливую судьбу.

Идем дальше по Казначейской. Следующий адрес Достоевского — угловой дом купца Евреинова по Малой Мещанской (Казначейской), 9. Правда, прожил в нем писатель недолго, всего один апрельский месяц 1864 года, и этот дом не оставил следов в его жизненной и

литературной судьбе, хотя это был трагический месяц в жизни Достоевского, так как в Москве умирает его первая жена Мария Дмитриевна Достоевская.

Но в августе того же 1864 года Федор Михайлович поселяется напротив, на углу Малой Мещанской и Столярного переулка. В этом доме купца И. М. Алонкина (ныне Казначейская, 7), пожалуй, самом знаменитом из всех петербургских пристанищ писателя, он прожил по январь 1867 года. Здесь он создал романы «Игрок» и «Преступление и наказание», здесь наконец-то обрел личное счастье. Но первые два года жизни в доме Алонкина были, наоборот, тяжелыми. После смерти первой жены на руках писателя остается пасынок, а еще через несколько месяцев внезапно скончался и брат Михаил.

Достоевский решил спасти и оставшуюся без средств семью брата, и пасынка, и журнал «Эпоха». Чтобы хоть как-то вырваться из тисков нужды (а Достоевский принял на себя добровольное обязательство рассчитаться с долгами брата по журналам «Время» и «Эпоха»), он задумывает невероятное — писать одновременно два романа: «Преступление и наказание» и «Игрок». Друзья решили прислать ему для ускорения работы стенографистку. 4 октября 1866 года двадцатилетняя Неточка Сниткина впервые пришла в дом Алонкина. Через пятьдесят лет она вспоминала: «В двадцать пять минут двенадцатого я подошла к дому Алонкина и у стоявшего в воротах дворника спросила, где квартира № 13. Он показал мне направо, где под воротами был вход на лестницу... Квартира № 13 находилась на втором этаже».

Бывшая квартира Достоевского значит теперь под № 11. Сниткина оставила нам подробное ее описание. Здесь Достоевский совершил писательский подвиг: за двадцать шесть дней он создал роман «Игрок». Здесь 8 ноября 1866 года Достоевский просил Сниткину стать его женой и получил ее согласие...

К сожалению, после капитального ремонта дома Алонкина заделали вход под воротами, через которые ходил Достоевский, и фактически уничтожили его квартиру.

Все герои «Преступления и наказания», возвращаясь домой через Кокушкин мост, непременно проходили мимо дома своего создателя. Из окон квартиры во время работы над романом Достоевский мог видеть маршруты своих персонажей.

От дома Алонкина поворачиваем направо и подходим к желтому пятиэтажному зданию на углу Столярного переулка и Гражданской улицы (бывшей Средней Мещанской) — к «дому» Раскольникова (ныне № 19 по Гражданской улице).

Вспомним начало романа: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту... Каморка его находилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома...»

Еще в 1923 году литературовед Н. П. Анциферов в книге «Петербург Достоевского» первым высказал предположение, что Раскольников мог «жить» здесь, на углу Столярного переулка и Средней Мещанской улицы. Этот же адрес указывают и последующие исследователи топографии романа. Известный петербургский писатель Д. А. Гранин обратил внимание на мраморную доску на стене этого дома — предполагаемого адреса Раскольникова: «Вышина воды 7 ноября 1824». Сравнивая «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых» с «Медным всадником» Пушкина и рассматривая образ Евгения как предтечу образов Раскольникова и Ивана Карамазова, Гранин справедливо замечает: «Бунт, начатый Евгением перед статуей Медного всадника, словно

бы ширится, разрастается» (Д. А. Гранин. Два лика (Заметки писателя) // Новый мир, 1968, № 3. С. 221).

Но есть и другие особенности этого дома, свидетельствующие в пользу возможного «проживания» здесь Раскольникова.

Войдем во двор. Обычно первую лестницу во дворе направо называют лестницей Раскольникова. В свое время наш замечательный художник М. В. Добужинский, иллюстрируя в 1923 году книгу Анциферова, зарисовал первое крыльцо направо и эту лестницу как крыльцо и лестницу дома главного героя «Преступления и наказания». Вспомним снова роман: «Квартирная же хозяйка его [Раскольникова. — С. Б.], у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни...»

После капитального ремонта нам уже не пройти «мимо хозяйкиной кухни». Эта часть дома значительно расширена, перепланирована, перед квартирами сделан коридор, а вот правая часть, с очень интересным рисунком перил, да и сама лестница, типично петербургская, сохранились такими, какими они были при Достоевском.

Еще одна любопытная деталь, свидетельствующая в пользу этой лестницы как «раскольниковской»: «Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз свои тринадцать ступеней...» Действительно, последний лестничный пролет к Раскольникову, в его каморку, составляет ровно тринадцать ступеней (сначала девять, потом еще четыре).

«Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор... Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде чем он сошел с лестницы... он вдруг увидел, что Настасья... у себя в кухне... дело было кончено: нет топора!.. Он остановился в раздумье под



воротами... прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза... На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам... бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки...» И это совпадает: до капитального ремонта, сразу при выходе со двора, справа, под воротами была дворницкая. Сейчас о ней напоминает зацементированный кусок стены.

Каморка Раскольниковова, похожая «более на шкаф, чем на квартиру», сейчас превратилась в большой чердак. Обратим внимание на окошко, из которого виден Исаакиевский собор. Смотрел ли герой из него на эту «действительно великолепную панораму», каждый раз терзаясь своей нищетой? И не послужило ли ежедневное созерцание величественного здания первым толчком к зарождению бунта?

Но здесь жили не только герои Достоевского. Герой лермонтовского «Штосса» Лугин связан также и с главным героем «Преступления и наказания»: местожительство Лугина в Петербурге — Столярный переулок у Кокушкина моста — это точный адрес Раскольниковова. Интересно, знал ли Достоевский, что совсем недалеко от этих мест, во всяком случае, там, где, как мы увидим, вполне могли находиться и полицейская контора, и дом старухи в «Преступлении и наказании» — на Садовой, — жил М. Ю. Лермонтов, когда создавал «Смерть поэта» (об этом свидетельствует сейчас мемориальная доска на доме, мимо которого мы скоро пройдем). Ведь Лермонтов зачастую вызывал у Федора Михайловича ассоциации с бунтарством и богоборчеством.

И до убийства, и на убийство Раскольников идет к старухе мимо дома Алонкина через Кокушкин мост (совершенно уникальный случай в истории мировой лите-

ратуры: убийца идет на преступление мимо дома своего создателя), по Садовой, мимо Юсупова сада. «Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать». Мы много раз пересчитывали эти шаги вместе с внуком писателя Андреем Федоровичем Достоевским, и у нас действительно получалось семьсот тридцать шагов. Справедливо замечает Д. А. Гранин: «Для чего нужна была Достоевскому подобная реальность? Почему он избегал сочинять ее? Думается, что в этом таится своеобразие его метода, его творческой личности. Начиная с какого-то момента, мне представляется, он переставал сочинять. Он начинал жить, воплощаясь в своих героев. Жизнь эта нуждалась в предметности хотя бы обстановки. Подобно режиссеру, он ставил свою постановку. Раскольников спускался из своей каморки, находил топор в дворницкой, шел к дому старухи — семьсот тридцать шагов — заметьте эту точность! — входил во двор, лестница направо и т. д. и т. п. Достоевский сам ставил, сам играл, сам смотрел. Все происходило как бы на его глазах, он проживал каждую сцену. И потом записывал виденное. Не потому ли он порой мог просто задиктовывать целые части романов?

Что поражает в этом как бы уклонении от сочинительства? Как бы соучастие его самого в происходящем. Это нелегко, это похоже на самоказнь, о которой говорит Достоевский. Ежедневно, ежечасно он шел на эту самоказнь, не давая себе никакой милости...» (Д. А. Гранин. Тринадцать ступенек. Л., 1984. С. 115–116).

Однако нам надо еще посетить некоторые адреса самого Достоевского, поэтому пойдем к старухе-процентщице не путем Раскольниковова, а повернем из ворот его дома направо и по Гражданской (Средней Мещанской) отправимся к Вознесенскому проспекту. Остановимся на Вознесенском мосту через Екатерининский

по другой стороне Екатерининского канала продолжим путь к дому процентщицы. Повернув на Среднюю Подъяческую, остановимся у самого большого на ней дома — на углу Средней Подъяческой, Екатерининского канала и проспекта Римского-Корсакова (бывшего Екатерининского). Дом № 104 по каналу Грибоедова и считается большинством исследователей домом ростовщицы.

«С замиранием сердца и нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходящему одной стеной на канаву, а другую в южную улицу... Лестница была темная и узкая, "черная", но он все уже это знал и изучил...». Достоевский, как и его герой, хорошо «знал и изучил» этот дом. Прежде всего, он установил, что здание имело два выхода: на Среднюю Подъяческую и на канал. Это немаловажно для детективного сюжета. В день убийства Раскольников шел через Подъяческую, как пойдем и мы, с той лишь разницей, что он направлялся через Кокушкин мост, а мы — через Вознесенский. В романе прямо не сказано, как возвращался герой романа к себе после убийства. Однако можно предположить: чтобы его не узнали, он вышел уже через другие ворота на канаву — иначе Достоевский вряд ли стал бы писать о том, что в этом доме было двое ворот; он никогда не упоминал зря о таких деталях.

Войдем вслед за Раскольниковым в первый главный двор этого дома. Вместе с еще более узким и темным маленьким оба эти двора — типично петербургские дворы-колодцы, где вполне могла жить старуха-процентщица. Во втором, совсем уже мрачном дворе, могло произойти самоубийство героини повести Достоевского «Кроткая», ведь Петербург также соучаствует в ее гибели, как и в преступлении Раскольникова.

Достоевский не случайно обращает наше внимание на то, что «входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома». Это на руку

Раскольникову, стремящемуся незамеченным выйти через другие ворота на канал.

Когда мы повернем сразу же из ворот направо и станем подниматься к старухе, то увидим, что лестница действительно узкая, настолько, что если бы после убийства Раскольников, спускаясь по ней, столкнулся бы с кем-то поднимавшимся, ему неминуемо пришлось бы остановиться, иначе не разойтись. Недаром он размышляет, спускаясь: «Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят».

Поднимемся по этой лестнице (кое-где на перилах сохранились медные набалдашники тех времен: не за них ли держался Родион Романович?). Квартира старухи на четвертом этаже направо, квартира, где работал Миколка и где спрятался потом Раскольников, — на втором налево (если поднимаешься). Во времена Достоевского на каждом этаже было только две квартиры — слева и справа, а в центре их не было, и это тоже важно для Раскольникова — меньше шансов, что кто-то из жильцов его заметит, тем более, что он «уже прежде знал»: квартира напротив старухиной стоит пустая.

Выходим через вторые ворота на канал, повернем налево и по проспекту Римского-Корсакова (бывшему Екатерингофскому) подойдем к Большой Подъяческой. По всей видимости, на этой улице и была та самая распивочная, где Раскольников услышал надрывающий душу рассказ Мармеладова. В романе сказано, что когда Раскольников первый раз вышел от старухи, то «заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж».

Теперь свернем направо и по Большой Подъяческой пойдем к Садовой. Наша цель — полицейская контора. Но по дороге остановимся и посмотрим на виднеющийся вдалеке синий купол Троицко-Измайловского собора.

15 февраля 1867 года Достоевский венчался здесь с Анной Григорьевной.

Мы подходим к Садовой: «Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках: "дворник, значит; значит, тут и есть контора..."».

Полицейской конторой принято считать дом с каланчой на углу Садовой и Большой Подъяческой, где действительно во времена Достоевского существовала такая контора. Здание сохранилось и в наши дни под тем же номером 26 по Большой Подъяческой.

А напротив Полицейской конторы дом Лермонтова с мемориальной доской.

Теперь по Садовой пойдем к Сенной площади: нам осталось посмотреть трактир «Хрустальный дворец», где состоялась встреча Раскольников со Свидригайловым. Остановимся по пути у Юсупова сада и у проспекта Римского-Корсакова. Вспомним, что Раскольников, идя на убийство через Кокушкин мост, по Садовой и сворачивая на Екатерингофский мимо Юсупова сада, «даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях». Раскольникову не случайно приходит в голову такая мысль: здесь действительно был высокий фонтан. И, как уже упоминалось в другом месте, то, что за 15 минут до преступления Родион Романович думает об устройстве фонтанов, является залогом его грядущего возрождения.

Здесь же, кстати, в доме № 3 по Екатерингофскому проспекту (сейчас в этом доме по проспекту Римского-Корсакова надстроена мансарда) Достоевский и Анна Григорьевна жили один летний месяц 1871 года, и здесь у них родился сын Федор.

Мы опять подошли к Сенной площади. Вот Таиров переулок (сейчас переулок Бринько), где бывал Расколь-

ников: «Миновав площадь, он попал в переулок... Он и прежде проходил часто этим коротеньким переулком, делающим колено и ведущим с площади в Садовую». Если этим переулком идти на Садовую с Сенной площади, оказываешься будто бы в тупике, но выход есть: поворот на Садовую. Такой же тупик и в душе Раскольникова, хотя остается просвет — возможность покаяния.

В примечаниях к «Преступлению и наказанию» А. Г. Достоевская указывает, что трактир, где встретились Раскольников и Свидригайлов, находился во втором доме по Забалканскому (ныне Московскому) проспекту (*Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 57*). Еще раз уточняем это место по роману. Совпадение полное: Раскольников «находился на -ском проспекте, шагах в тридцати или в сорока от Сенной». Сейчас на этом месте новое здание, построенное в начале XX века.

Наша экскурсия подошла к концу. Мы снова на Сенной площади, которой авторской волей Ф. М. Достоевского суждено было стать лобным местом Раскольникова, местом его покаяния...

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Петербург Достоевского — «самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре» — пытались потом разгадать русские символисты, пытались понять «угрюмое и загадочное впечатление», которое производит на стоящего на Николаевском мосту Раскольников Исаакиевский собор: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее».

С кем же пойдет Россия? С Богом или без Него? Россия в двадцатом веке пошла без Бога. Но роман «Бесы» заканчивается светлым пророчеством о России, когда книгоноша Софья Матвеевна читает Степану Трофимовичу Верховенскому евангельский рассказ об исцелении бесноватого. «Эти бесы, — произнес Степан Трофимович в большом волнении... — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!.. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота... Но больной исцелится и “сядет у ног Иисусовых”... и будут все глядеть с изумлением».

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### СОВРЕМЕННОКИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО, ВСТРЕЧАВШИЕСЯ С ПИСАТЕЛЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И УПОМИНАЮЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

- Айвазовский* Иван Константинович (1817–1900), художник — 180
- Александр III* (1845–1894) — 182
- Александров* Александр Львович (1850(?)–1910), сын купца из Апраксина двора в Петербурге — 328–330
- Александров* Михаил Александрович (1844–1902), метранпаж — 171
- Алонкин* Иван Максимович (?–1875), купец, домовладелец — 143–145, 150, 300, 333–334, 336
- Алчевская* (урожд. Журавлева) Христина Даниловна (1841–1920), общественная деятельница, педагог, публицист — 182
- Анненков* Павел Васильевич (1813–1887), критик, прозаик — 66
- Антонелли* Петр Дмитриевич (1825–?), агент Министерства внутренних дел — 68, 93, 100
- Арсеньев* Дмитрий Сергеевич (1832–1915), адмирал — 181
- Астафьева* А. А., домовладелица — 119, 332
- Ахшарумов* Дмитрий Дмитриевич (1823–1910), петрашевец — 83, 85, 87, 91
- Баласогло* Александр Пантелеймонович (1813–1893), петрашевец — 93
- Баранова* (урожд. Васильчикова) Анна Алексеевна (1827–?), графиня, жена тверского генерал-губернатора П. Т. Баранова — 112
- Бекетов* Алексей Николаевич (1823–?), старший брат Ан. Н. и Н. Н. Бекетовых, товарищ Достоевского по Инженерному училищу — 77–78



- Бекетов* Андрей Николаевич (1825-1902), брат Алексея Н. и Н. Н. Бекетовых, ботаник, почетный член Петербургской Академии наук, дед А. А. Блока — 77-78
- Бекетов* Николай Николаевич (1827-1911), брат Алексея Н. и Андрея Н. Бекетовых, профессор Харьковского и Петербургского университетов, академик — 77-78
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811-1848), критик — 55-56, 61-63, 66-67, 69, 71-72, 74-79, 82, 87-89, 92-93, 102, 105, 108, 205
- Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807-1873), поэт — 113
- Бережецкий* Иван Игнатьевич (1820 — после 1869), товарищ Достоевского по Инженерному училищу — 43-45
- Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836-1921), драматург, прозаик — 114
- Бунаков* Николай Федорович (1837-1904), педагог, прозаик, публицист — 117-118
- Буташевич-Петрашевский* — см. Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич
- Вейнберг* Петр Исаевич (1831-1908), поэт, переводчик — 114
- Верещагин* Василий Васильевич (1842-1904, погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре), художник — 180
- Виельгорский* Михаил Юрьевич (1788-1856), граф, композитор, музыкальный деятель, меценат — 66
- Висковатов* Павел Александрович (1842-1905), историк литературы — 94-95
- Владиславлев* Михаил Иванович (1840-1890), философ — 120, 169
- Владиславлева* (урожд. Достоевская) Мария Михайловна (1844-1888), племянница Достоевского, дочь брата писателя М. М. Достоевского, жена М. И. Владиславлева — 169
- Врангель* Александр Егорович (1833-1915), барон, юрист, дипломат, археолог — 112, 124, 130, 133, 151
- Герцен* Александр Иванович (1812-1870), писатель, философ, общественный деятель, революционер — 87
- Глинка* Михаил Иванович (1804-1857), композитор — 51, 147
- Гоголь* Николай Васильевич (1809-1852), писатель — 10, 61, 72, 76, 92, 93, 204-207, 211
- Голенищев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848-1913), поэт — 94-95
- Голеновская* (урожд. Достоевская, во втором браке Шевякова) Александра Михайловна (1835-1889), младшая сестра Достоевского — 247

- Гончаров Иван Александрович* (1812–1891), писатель — 183
- Горбунов Иван Федорович* (1831–1896), прозаик, актер, зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа — 181
- Градовский Григорий Константинович* (1842–1915), публицист — 163
- Григорович Дмитрий Васильевич* (1822–1899), писатель — 38, 52, 54–56, 75, 77, 180, 194, 195, 202
- Григорьев Аполлон Александрович* (1822–1864), критик, поэт, переводчик — 117–118, 132, 332
- Григорьев Николай Петрович* (1822–1886), петрашевец — 94, 99, 102
- Данилевский Григорий Петрович* (1829–1890), писатель — 120, 132
- Дебу Ипполит Матвеевич* (1824–1890), петрашевец — 83
- Дебу Константин Матвеевич* (1810–1869), брат И. М. Дебу, петрашевец — 86
- Долгоруков Василий Андреевич* (1804–1868), шеф жандармов и главный начальник III отделения — 112
- Достоевская* (урожд. Сниткина) *Анна Григорьевна* (1846–1918), вторая жена Достоевского, мемуаристка, библиограф — 52, 122, 138–139, 145–162, 172, 176, 183, 187, 191–193, 196, 199–202, 238, 243–244, 247, 255–256, 327, 328, 333, 338, 342–343
- Достоевская Любовь Федоровна* (1869–1926), дочь Достоевского и А. Г. Достоевской, писательница — 48, 102, 125, 159, 182, 183, 196
- Достоевская* (урожд. Констант, в 1-м браке Исаева) *Мария Дмитриевна* (1824–1864), первая жена Достоевского — 111–112, 120–125, 127–128, 130, 146, 151, 333
- Достоевский Алексей Федорович* (1875–1878), сын Достоевского и А. Г. Достоевской — 196
- Достоевский Андрей Михайлович* (1825–1897), брат писателя, архитектор, инженер — 47, 50–52, 192
- Достоевский Михаил Андреевич* (1789–1839), отец писателя — 32–36, 38–39, 46–48, 208, 225
- Достоевский Михаил Михайлович* (1820–1864), брат писателя, прозаик, переводчик, драматург — 33–35, 38–39, 42, 50, 62, 63, 69, 70, 92, 98, 102, 106–107, 115, 117–118, 120–123, 131–132, 161, 208, 262, 332–333
- Достоевский Федор Федорович* (1871–1921), сын Достоевского и А. Г. Достоевской, специалист по коноводству и коннозаводству — 160, 342

- Дуров* Сергей Федорович (1815–1869), поэт, прозаик, переводчик, петрашевец — 92–94, 106–107
- Дюжикова* Антонина Михайловна (1853 — после 1937), актриса Александринского театра в Петербурге — 190
- Евреинов* Алексей Петрович (?–1886), домовладелец — 131, 332
- Евреинова* Анна Михайловна (1844–1919), первая русская женщина, получившая ученую степень доктора прав — 135
- Европеус* Александр Иванович (1827–1885), петрашевец — 86
- Жаклар* Шарль-Виктор (1843–1900), французский революционер-бланкист, врач, журналист, муж А. В. Корвин-Круковской — 139
- Иван*, слуга хозяйки Достоевского в доме на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской, где Достоевский был арестован 23 апреля 1849 г. — 99
- Иванова* (урожд. Достоевская) Вера Михайловна (1829–1896), сестра Достоевского — 141, 200–201
- Иванова* (урожд. Анненкова) Ольга Ивановна (1830–1891), дочь декабриста И. А. Анненкова — 107
- Исаев* Павел Александрович (1847–1900), пасынок Достоевского, сын его первой жены М. Д. Исаевой и чиновника А. И. Исаева — 111–112, 122, 131, 146, 154, 156
- Карпина* (урожд. Достоевская) Варвара Михайловна (1822–1893), сестра Достоевского — 47, 53
- Карчевская* (в замуж. Павлова) Серафима Васильевна (1859–1947), жена великого русского физиолога И. П. Павлова — 189
- Катанский* Александр Львович (1836–1919), профессор Петербургской Духовной академии — 120
- Ковалевская* (урожд. Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850–1891), ученый-математик, прозаик, драматург, сестра А. В. Корвин-Круковской — 133–134, 136, 138
- Кони* Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, мемуарист, литератор, общественный деятель — 155, 165, 328
- Корвин-Круковская* (в замуж. Жаклар) Анна Васильевна (1843–1887), прозаик, общественная деятельница, сестра С. В. Ковалевской — 126, 133–139, 141–142, 151–152
- Корнилова* Екатерина Прокофьевна (1856–1878), петербургская швея — 174
- Костомаров* Коронад Филиппович (1803–1873), военный инженер, капитан (впоследствии генерал-лейтенант), содержав-

ший пансион для поступавших в Главное инженерное училище — 38

*Краевский* Андрей Александрович (1810—1889), издатель, журналист — 63, 74, 79, 140

*Крамской* Иван Николаевич (1837—1887), художник — 197, 199

*Кузнецов* Петр Григорьевич (1863—1943), книгопродавец — 193

*Кусков* Платон Александрович (1834—1909), поэт, критик, переводчик — 117

*Леткова* (в замуж. Султанова) Екатерина Павловна (1856—1937), прозаик, переводчица — 180

*Львов* Федор Николаевич (1823—1885), петрашевец, мемуарист, публицист, популяризатор науки — 105

*Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт, брат В. Н. Майкова — 78, 94—95, 111, 113, 154

*Майков* Валериан Николаевич (1823—1847), критик, публицист, брат А. Н. Майкова — 74

*Маслянников* Константин Иванович (1847—1899), юрист, присяжный поверенный — 174—175

*Мецкерский* Владимир Петрович (1839—1914), князь, писатель, публицист, издатель — 163—164, 167—168, 327, 329

*Милюков* Александр Петрович (1816—1897), писатель, историк литературы, педагог — 99, 132, 142—143

*Милютин* Владимир Алексеевич (1826—1855), петрашевец, философ, экономист и правовед — 94

*Михаил Павлович* (1789—1849), Великий князь, сын Павла I — 33, 49

*Момбелли* Николай Александрович (1823—1902), петрашевец — 90—92, 94, 96

*Мордвинов* Николай Александрович (1827—1884), петрашевец — 94

*Некрасов* Николай Алексеевич (1821—1877), поэт, издатель — 54—55, 62, 64, 74—76, 78, 117—118, 169—170

*Оболенский* Владимир Владимирович (1841—1903), князь, владелец типографии — 171

*Одоевский* Владимир Федорович (1803—1869), князь, писатель, музыкальный критик, композитор — 63

*Ольхин* Павел Матвеевич (1830—1915), медик, переводчик, автор книг по фотографии, стенографии, медицине, преподаватель стенографии — 143, 145

- Орлов Алексей Федорович (1786-1861), князь, граф, в 1844-1856 гг. шеф жандармов — 97
- Палибин Н. А., домовладелец — 113, 115
- Пальм Александр Иванович (1823-1885), петрашевец, писатель — 93-94, 202
- Панаев Иван Иванович (1812-1862), писатель, критик, журналист — 63-64
- Панаева (урожд. Брянская, во втором браке Головачева) Авдотья Яковлевна (1819-1893), писательница, жена И. И. Панаева (с 1837), позднее (в середине 1840-х гг.) гражданская жена Н. А. Некрасова — 64-66, 74, 76
- Пантелеев Лонгин Федорович (1840-1919), издатель, общественный деятель — 114
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821-1866), революционер, утопический социалист — 78, 81, 83-86, 90-92, 94-95, 98
- Пешкова-Толиверова Александра Николаевна (1842-1918), издательница, детская писательница, участница гарибальдийского движения — 174
- Писемский Алексей Феофилактович (1821-1881), писатель — 113, 147
- Плещеев Алексей Николаевич (1825-1893), поэт, драматург, прозаик — 83, 86, 93, 98, 180, 191, 202
- Победоносцев Константин Петрович (1827-1907), государственный деятель, публицист, юрист, в 1880-1905 гг. обер-прокурор Синода — 168
- Полонский Яков Петрович (1819-1898), поэт, прозаик — 113, 179-180
- Попов Иван Иванович (1862-1942), революционер-народоволец — 193-194
- Пуцыкович Виктор Феофилович (1843-1909), писатель и публицист — 163, 195
- Разин Алексей Егорович (1823-1875), журналист, детский писатель — 117
- Ризенкамф Александр Егорович (1821-1895), врач, ботаник — 52
- Ростовцев Яков Иванович (1803-1860), граф, государственный деятель, генерал от инфантерии — 102
- Рубинштейн Антон Григорьевич (1829-1894), пианист, дирижер, композитор — 180

- Савельев* Александр Иванович (1816–1907), ротный офицер и воспитатель при Главном инженерном училище, автор ряда книг и статей по истории и археологии, с 1884 г. генерал-лейтенант — 44, 46
- Савина* (урожд. Подраменцова) Мария Гавриловна (1854–1915), актриса — 180
- Савостьянов* Владимир Константинович (1853–1899), муж племянницы писателя В. А. Савостьяновой — 192
- Савостьянова* (урожд. Достоевская) Варвара Андреевна (1858–1935), дочь младшего брата писателя А. М. Достоевского — 192
- Салтыков-Щедрин* (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) Михаил Евграфович (1826–1889), писатель — 117, 119, 312
- Самойлов* Василий Васильевич (1813–1887), актер Александринского театра в Петербурге — 51
- Сенявина* (урожд. д'Оггер) Александра Васильевна (?–1862), известная светская красавица — 66
- Серов* Александр Николаевич (1820–1871), композитор, музыкальный критик — 120
- Сливчанский* Моисей Петрович (1820–1906), купец, домовладелец — 161–162, 165
- Смирнова* (в замуж. Сазонова) Софья Ивановна (1852–1921), писательница — 178
- Сниткин* Михаил Николаевич (1837–1901), двоюродный брат жены писателя А. Г. Достоевской, врач-педиатр — 199
- Сниткина* (урожд. Мильтопеус) Анна (Мария-Анна) Николаевна (1812–1893), мать жены писателя А. Г. Достоевской — 146, 162
- Сокальский* Петр Петрович (1832–1887), композитор, музыкальный деятель, фольклорист, магистр химии — 120
- Соллогуб* Владимир Александрович (1813–1882), писатель — 63, 65, 112
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, критик, брат Всев. С. Соловьева — 166, 183, 187–188, 196, 202
- Соловьев* Всеволод Сергеевич (1849–1903), писатель, критик, поэт, брат Вл. С. Соловьева — 37, 100, 110, 166, 181, 186
- Спешнев* Николай Александрович (1821–1882), петрашевец — 90–92, 94–97, 105
- Стахеев* Дмитрий Иванович (1840–1918), писатель и критик — 188
- Стелловский* Федор Тимофеевич (1826–1875), издатель — 140–142, 147, 149–150

- Страхов* Николай Николаевич (1828-1896), критик, публицист, философ — 117-118, 130, 332
- Суворин* Алексей Сергеевич (1834-1912), литератор, издатель, журналист, книгопродавец, критик, драматург, театровед, организатор театра — 177, 180, 201
- Суворова* (урожд. Орфанова) Анна Ивановна (1858-1936), писательница, вторая жена А. С. Суворина — 181
- Суслова* Аполлинария Прокофьевна (1839-1918), писательница, возлюбленная Достоевского, сестра Н. П. Сусловой — 125-130, 151, 157, 256
- Сулова* (в замуж. Эрисман) Надежда Прокофьевна (1843-1918) первая русская женщина-врач, сестра А. П. Сусловой — 125, 129, 137
- Тимковский* Константин Иванович (1814-1881), петрашевец — 86, 91
- Тимофеева* Варвара Васильевна (1850-1931), писательница (псевд. О. Починковская) — 166
- Толстая* (урожд. Иванова) Анастасия Ивановна (1817-1889), графиня, жена президента Академии художеств Ф. П. Толстого — 178
- Толстая* (урожд. Бахметева, в первом браке — Миллер) Софья Андреевна (1844-1892), графиня, жена поэта, прозаика драматурга А. К. Толстого — 182-184, 200
- Толстой* Алексей Константинович (1817-1875), граф, поэт, прозаик и драматург — 182, 200
- Тотлебен* Адольф-Густав Иванович (1824-1869), граф, товарищ Достоевского по Инженерному училищу, младший брат Э. И. Тотлебена — 51, 112
- Тотлебен* Эдуард Иванович (1818-1884), граф, генерал-адъютант, герой Крымской войны — 51, 112
- Траншель* Андрей Иванович (?-1887), владелец типографии — 163, 166
- Трепов* Федор Федорович (1812-1889), генерал от кавалерии, градоначальник Петербурга с 1873 по 1878 гг. — 165, 17
- Трофимов* Александр Иванович (1818-1884), мировой судья участка в Петербурге — 175-176
- Трутовский* Константин Александрович (1826-1893), художник, академик живописи, товарищ Достоевского по Главному и женерному училищу — 45, 52
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818-1883), писатель — 63, 66, 74-7117, 180, 183-184

- Федосья* (1835(?)–?), вдова писаря, служанка в доме Достоевского — 146
- Филиппов* Павел Николаевич (1825–1855), петрашевец — 94–95
- Философова* (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837–1912), общественная деятельница — 184–186
- Ханыков* Александр Владимирович (1825–1853), петрашевец — 83
- Чайковский* Петр Ильич (1840–1893), композитор — 120
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, критик, экономист, философ, революционер — 118–119, 226–227, 250, 318
- Черняев* Михаил Григорьевич (1828–1898), генерал-лейтенант, в 1876 г. командующий сербской армией в войне с Турцией — 186
- Шевченко* Тарас Григорьевич (1814–1861), поэт, художник, революционный демократ — 113–114
- Шидловский* Иван Николаевич (1816–1872), поэт, историк Церкви, друг юности Достоевского — 36–37, 43, 45, 187, 214
- Шиле* Аделаида Георгиевна (1842–1919), писательница, переводчица — 143
- Шиль* Яков Христианович, домовладелец — 79–80, 245, 276, 307, 339
- Штакеншнейдер* Адриан Андреевич (1841 — после 1916), юрист, сын архитектора А. И. Штакеншнейдера — 178
- Штакеншнейдер* Андрей Иванович (1802–1865), архитектор — 126, 178
- Штакеншнейдер* Елена Андреевна (1836–1897), дочь архитектора А. И. Штакеншнейдера, хозяйка литературного салона — 178–179
- Шуберт* (урожд. Куликова) Александра Ивановна (1827–1909), актриса, мемуаристка — 115, 120
- Яновский* Степан Дмитриевич (1815–1897), врач, друг Достоевского — 70, 78, 97, 98, 115
- Ястржембский* Иван (Фердинанд) Львович (1814–1886), петрашевец — 107



## ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

*Авсеенко В. Н.* История города Санкт-Петербурга в лицах и картинках. 1703–1903. СПб., 1993.

*Анциферов Н. П.* Петербург Достоевского. Рис. М. В. Добужинского. СПб., 1923.

*Анциферов Н. П.* «Непостижимый город...» Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. Л., 1991.

*Батист Г.* Дом Раскольниковова // Белые ночи. Л., 1974. С. 186–219.

*Белов С. В.* Петербург Достоевского // Нева, 1983. № 11. С. 195–200.

*Белов С. В.* Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Книга для учителя/Под ред. акад. Д. С. Лихачева. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1985.

*Белов С. В.* Тринадцать ступеней (Петербургские анмалии-символы у Достоевского) // Грани. Франкфурт-на-Майне, 1994. № 173. С. 127–154.

*Бирон В.* Петербург Достоевского. Л., 1991.

*Бурмистров А.* Дом Алонкина // Аврора, 1972. № 2. С. 68–70.

*Бурмистров А.* Петербург в романе «Преступление и наказание» // Прометей, 11. М., 1977. С. 77–85.

*Гранин Д. А.* Примечания к путеводителю. Л., 1967.

[С. 263–272: «Тринадцать ступенек»]. См. также: *Гранин Д. А.* Неожиданное утро. Л., 1970. С. 116–124.

*Достоевская А. Г.* Воспоминания/Вступит. статья, подготовка текста и примеч. С. В. Белова и В. А. Туниманова. М., 1971.

*Достоевская А. Г.* Примечания к сочинениям Ф. М. Достоевского//*Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 54–70.

*Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений, т. 1–30. Л., 1972–1990.

*Игнатова Е.* Записки о Петербурге: Очерк истории города. СПб., 1997.

Кони А. Ф. Петербург: Воспоминания старожила. Пб., 1922.

Кумпан К. А., Конечный А. М. Наблюдения над топографией «Преступления и наказания» // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз., 1976, № 2. С. 180-190.

Л. Г. [Л. П. Гроссман]. Город и люди «Преступления и наказания» // Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание». М., 1935. С. 5-52.

Лихачев Д. С. В поисках выражения реального // Вопр. лит., 1971. № 11. С. 177-183. Под загл. «Достоевский в поисках реального и достоверного» вошло в кн.: Лихачев Д. С. Литература — Реальность — Литература. Л., 1981.

Лихачев Д. С., Белов С. В. Там, где жил Достоевский // Лит. газ., 1976. 28 июля. № 30.

Михневич Вл. Петербург весь на ладони. СПб., 1874.

Пыляев М. И. Старый Петербург. М., 1990.

Раков Ю. По следам литературных героев. М., 1974.

Раков Ю. Лестница Раскольникова: Записки литературного следопыта. Л., 1990.

Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград: Энциклопедический справочник. М., 1992.

Саруханян Е. П. Достоевский в Петербурге. Л., 1970. Изд. 2-е, 1972.

Федоров Г. Достоевский: Санкт-Петербург. 1837 // Знание — сила, 1981. № 2. С. 45-47.

Холшевников В. Е. Ф. М. Достоевский // Литературные памятные места Ленинграда: Очерки. Л., 1959. С. 399-435; Изд. 2-е, доп. Л., 1968. С. 460-500; Изд. 3-е, испр. и доп. Л., 1976. С. 368-399.

АДРЕСА Ф. М. ДОСТОВЕВСКОГО  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

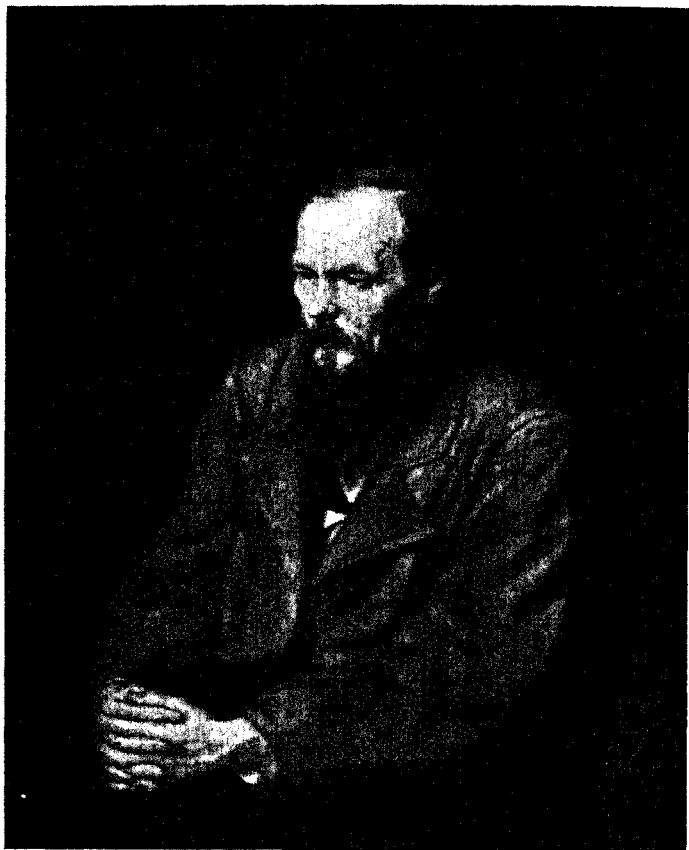
Годы	Исторический адрес	События в жизни Ф. М. Достоевского, связанные с этим домом	Прокладения Ф. М. Достоевского, созданные в этом доме	Современный адрес	Состояние дома
май 1837	Паркосоельский (Обуховский) проспект, № 7 Гостиница «Неполь»	Подготовка в пансион К. Ф. Костомарова		Московский пр., 22	перестроен
май 1837	Нбережная Фонтанки, дом Колотушкина	Подготовка в пансион К. Ф. Костомарова		Нбережная Фонтанки, 103	перестроен
май 1837—16 января 1838	Лиговская ул., д. Реингитникова, пансион К. Ф. Костомарова	Подготовка к поступлению в Главное инженерное училище		Лиговский пр., участок дома № 65	не сохранился
январь 1838—август 1841	Садовая ул., Главное инженерное училище (Инженерный замок)	Годы учебы и проживания в училище. В августе 1841 с переездом в офицерские классы Достоевский получает возможность жить вне стен инженерного училища		Садовая ул., 2 (Инженерный замок)	сохранился
август 1841—весна 1842	Караванная ул., близ Манежа	Годы учебы в Инженерном училище		Караванная ул.	не установлен
весна 1842—начало 1846	Владимирский пр., дом К. Я. Принципова, на углу Графского пер.	В августе 1843 закончил полный курс наук в Инженерном училище и зачислен в Инженерный корпус при С.-Петербургской инженерной команде	«Бедные люди», «Двойник»	Владимирский пр., 11	сохранился
конец января 1846—весна 1846	Кузнечный пер., дом У. К. Кучиной (на углу Гребешковой ул.)	Знакомство с В. Н. Мильковым	«Господин Прохарчин»	Кузнечный пер., 5 (ул. Достоевского, 2)	частично перестроен

май 1846	Кириичный пер.	Знакомство с М. В. Петрашевским	Прохарчин*	Кириичный пер., участок между Большой и Малой Морскими улицами	не установлен
сентябрь-октябрь 1846	Большая Мещанская ул., дом В. И. Кохендорфа, напротив Казанского собора	Встреча с братьями Бекетовыми	Господин	ул. Казанская, 2	перестроен
ноябрь 1846-февраль 1847	Бас. остров, Большой пр., дом Соловья	Организация с братьями Бекетовыми «ассоциация»	Хозяйка*	Бас. Остров, Большой пр., 4	надстроен 4-й этаж
весна 1847-апрель 1849	Вознесенский пр., угол Малой Морской, дом Шила	Разрыв с В. Г. Белиновым. Посещение «пятниц» М. В. Петровского. Арест в ночь на 23 апреля 1849 г.	Хозяйка*, Ползунов*, Слабое сердце*, Честный вор*, Чужая жена и муж под кроватью*, Белые ночи*, Нечотка Неванова*	Вознесенский пр., д. 8/23	перестроен
апрель 1849-декабрь 1849	Секретный дом Алексеевского рязли-на Петропавловской крепости	Следствие по делу петровцев	Маленький герой*	Петропавловская крепость	Алексеевский рязелин не сохранился
декабрь 1859-сентябрь 1861	Третья рота Измайловского полка, д. 5 Н. А. Палибин	Редактировали журнал «Время»	Униженные и оскорбленные*, Записки из Мертвого дома	3-я Красноармейская, участок дома 5	реконструирован
сентябрь 1861-июль 1863	Милля Мещанская Астафьевой	Редактировали журнал «Время»	Записки из Мертвого дома	Кланчейская ул., 1	сохранился
апрель 1864	Милля Мещанская ул., дом Евренина	Смерть в Москве первой жены писателя М. Д. Достоевской	Преступление и наказание* и «Игрок»	Кланчейская ул., 9	надстроен 4-й этаж
август 1864-январь 1867	Милля Мещанская ул., дом Алюкиня	Издание и редактирование журнала «Эпоха». Знакомство с А. Г. Сниткиной	Преступление и наказание* и «Игрок»	Кланчейская ул., 7	перестроен
февраль 1867-апрель 1867	Вознесенский пр., дом Ширмер	Знакомство на А. Г. Сниткиной		Вознесенский пр., 29	сохранился

Годы	Исторический адрес	События в жизни Ф. М. Достоевского, связанные с этим домом	Произведения Ф. М. Достоевского, созданные в этом доме	Современный адрес	Состояние дома
8-9 июля 1871	Коммерческая гости-ница на Большой Конюшенной (Волковские номера)			Большая Конюшенная, 23. Мд-льный зал Дома Ленинградской торговли	перестроен
10 июля 1871 - середина августа 1871	Екатерингофский пр., 3	Рождение сына Федора	«Бесы»	пр. Римского-Корсакова, 3	надстроена мансарда
середина августа 1871 - сентябрь 1872	Серпуховская ул., 15, дом Архангельской	Знакомство с князем В. П. Мецкерским	«Бесы»	Серпуховская ул., участок между домами № 13 и 17	не сохранился
сентябрь 1872 до середины зимы 1873	Вторая рота Имай-ловского полка, дом Мевеса, флигель во дворе	Редактор журналов газеты «Гражданин» князя В. П. Мецкерского	«Бесы»	2-я Красноар-мейская ул., 11	флигель не сохранился
Зима 1873 до мая 1874	Литовская ул., дом Сливчанского	Редактор журналов газеты «Гражданин» князя В. П. Мецкерского	«Дневник писателя», «Подросток»	Литовский пр., 25	сохранился
21 и 22 марта 1874	Гауптвахта на Сенной пл.	Два дня под арестом за публичацию в «Гражданине» слов царя без разрешения министра императорского двора		Сенная пл.	сохранился
С середины сентября 1875 до конца мая 1878	Греческий пр., дом А. П. Струбинского, угол Пятой Рождественской ул.	Смерть сына писателя Алеша Достоевского в тринадцатом возрасте от припадков эпилепсии	«Подросток», «Дневник писателя», «Братья Карамазовы»	Греческий пр., 6	сохранился
октябрь 1878 - 28 января (9 февраля) 1881	Кузнечный пер., 5 (на углу Ямской ул.)	Смерть писателя	«Братья Карамазовы», «Дневник писателя»	Кузнечный пер., 5 (ул. Достоевского, 2)	частично перестроен

УСЛОВНЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ «АДРЕСА» ГЕРОЕВ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Произведение	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
• Улики и оскорбление. Наташа Ижменева	набережная Фонтанки, дом Кологушкина	Фонтанка, 103	перестроен
• Преступление и наказание. Дом Раскольников	угол Средней Мещанской и Столярного переулка	Дом № 19 по Гражданской ул.	перестроен
• Преступление и наказание. Дом процентщицы	угол Средней Подъяческой и Екатерининского канала	Дом № 104 по каналу Грибоедова и № 15 по Средней Подъяческой	сохранился
• Преступление и наказание. Полицейская контора Порфирьи Петровна	угол Садовой и Большой Подъяческой	Большая Подъяческая, 26	сохранился
• Преступление и наказание. Дом Соли Мармеладовой	угол Екатерининского канала и Малой Мещанской	Канал Грибоедова, 73	надстроен 4-й этаж
• Идиот. Дом Рогожина	Гороховая, 41	Гороховая, 41	сохранился



Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 г.  
*Художник В. Г. Перов*



Инженерный замок.  
Угловое окно «круглой каморы» во втором этаже





Бывш. дом Пряничникова. Владимирский пр., 11  
*Фотография. 1969 г.*



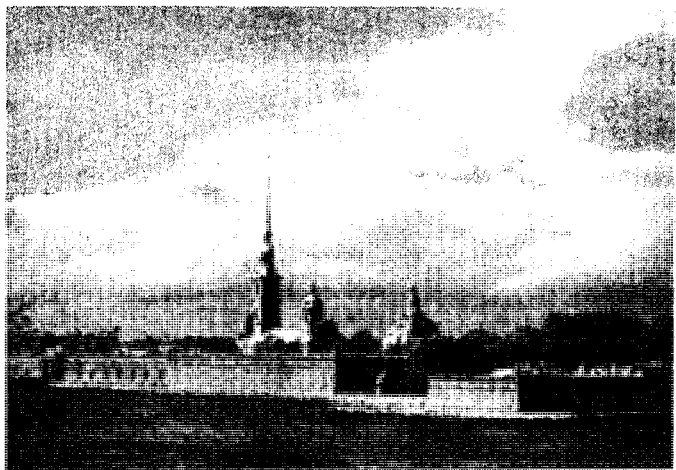
Дом Белинского.

*Из коллекции С. В. Белова «Петербург Достоевского»*



Бывший дом Шиля. Вознесенский пр., 8/23.

*Фотография. 1969 г.*

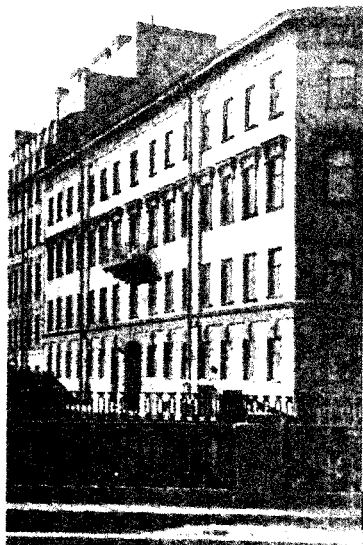


Петропавловская крепость

Фотография. 1975 г.

*Из коллекции С. В. Белова «Петербург Достоевского»*

БЫВШИЙ ДОМ  
А. А. Астафьевой.  
Казначейская ул., 1  
*Фотография. 1971 г.*

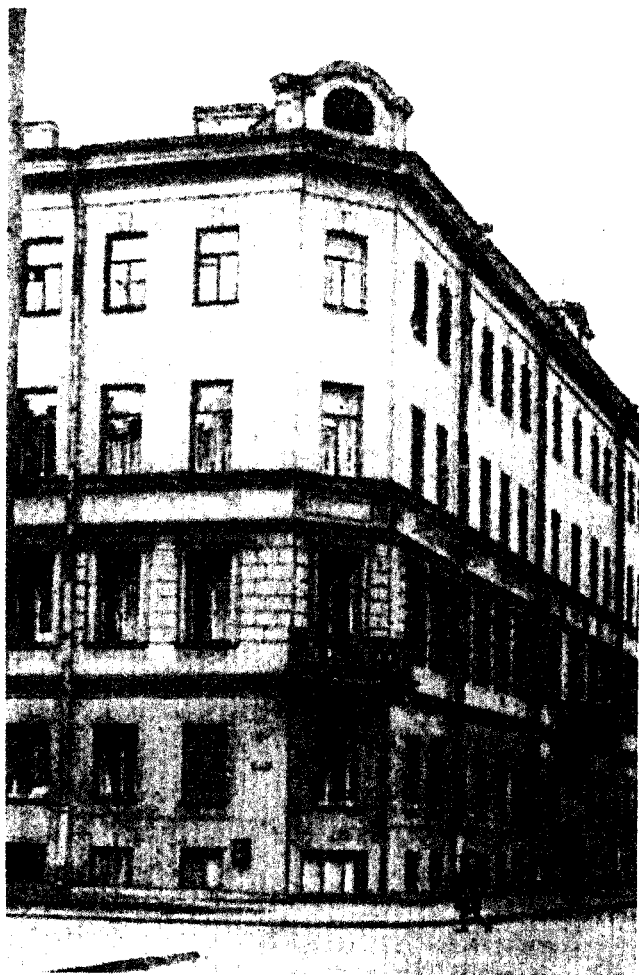


Казначейская ул., 1  
Из коллекции  
С. В. Белова  
«Петербург  
Достоевского»

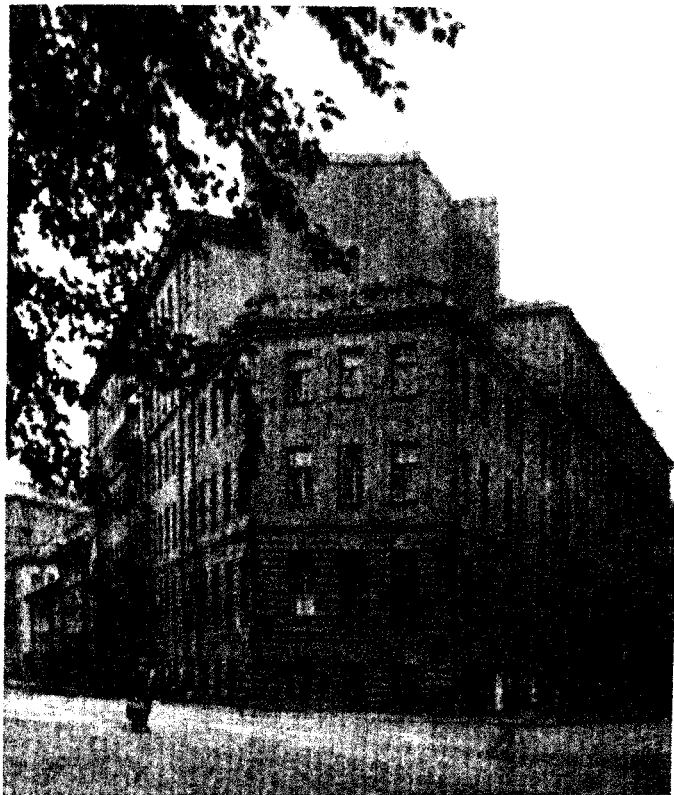




«Дом Раскольника». Гражданская ул., 19  
*Фотография. 1969 г.*

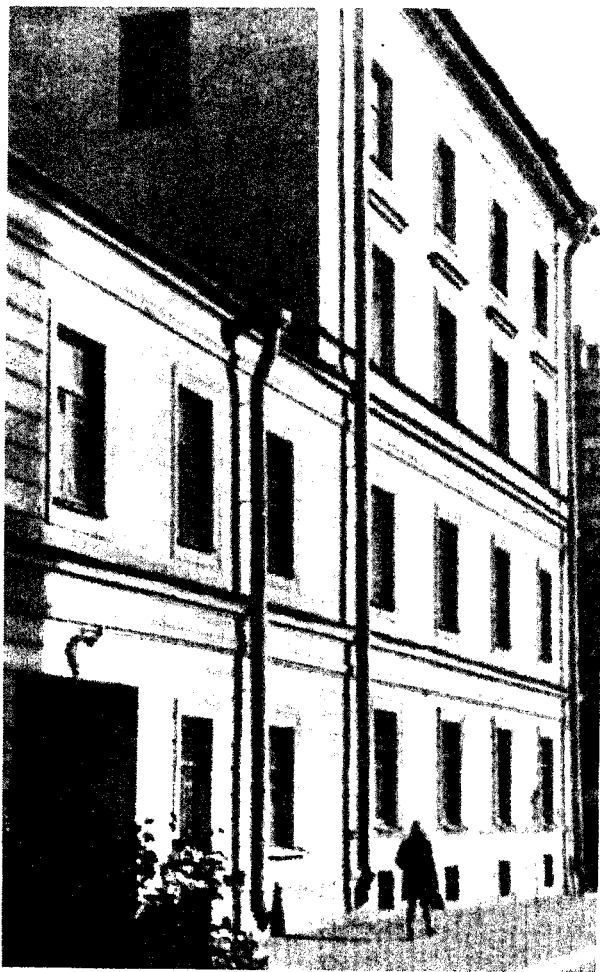


Бывший дом И. М. Алонкина. Казначейская ул., 7  
*Фотография. 1971 г.*



«Дом процентщицы». Наб. канала Грибоедова, 104  
*Фотография. 1969 г.*

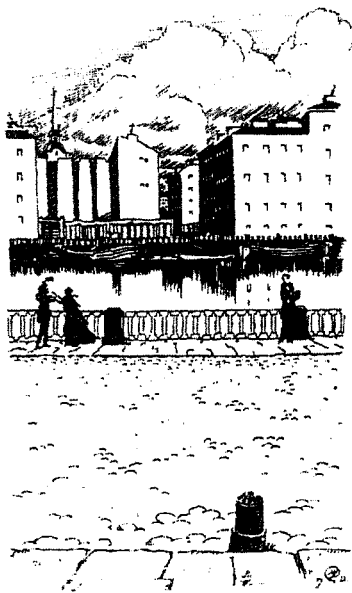




Бывший дом А. П. Струбинского. Греческий пр., 6  
*Фотография. 1971 г.*



Дом в Кузнечном пер., 5  
Фотография. 1929 г.



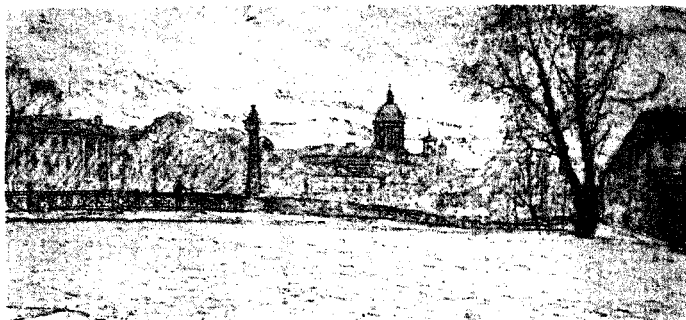
«Белые ночи»  
Художник  
М. Добужинский



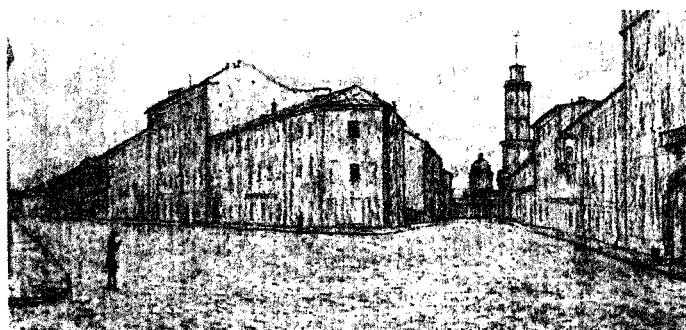
«Белые ночи»  
Художник И. Глазунов



«Белые ночи».  
Настенька  
Художник  
И. Глазунов



«Белые ночи». Одиночество  
*Художник И. Глазунов*



«Белые ночи». Расставание  
*Художник И. Глазунов*



«Белые ночи».  
Дождь  
Художник  
И. Глазунов



«Белые ночи».  
Ночь последняя  
Художник  
И. Глазунов



«Неточка Незванова»  
Художник И. Глазунов



Иллюстрация к рассказу «Кроткая»  
*Художник В. Н. Минаев*





«Преступление и наказание»  
Художник Д. А. Шаринов



«Преступление и наказание»  
Художник Д. А. Шмарин



«Преступление и наказание»  
Художник Д. А. Шмаринов



Памятник на могиле Ф. М. Достоевского  
*Фотография. 1897 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	5
«Самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре». «...Достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре». <i>Душа Петербурга Достоевского</i> . . .	7
«Хоть подороже, но только пусть комфортно и спокойно». «Принцип же мой ты знаешь насчет квартиры: хоть подороже, но только пусть комфортно и спокойно, ибо в такой больше работаешь». <i>Петербургские адреса Достоевского</i>	32
«Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну». «Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: “Дом потомственного почетного гражданина Рогожина”». <i>Петербургские «жилища» героев Достоевского</i> . . .	204
«Почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом». «Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом». <i>Опыт петербургского чтения «Преступления и наказания»</i>	274
«Тринадцать ступеней». «Он бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить	

вниз свои тринадцать ступеней, осторожно, неслышно, как кошка. Предстояло самое важное дело — украсть из кухни топор». <i>Петербургские аномалии — символы у Достоевского</i> .	295
<i>«Ровно семьсот тридцать»</i> . «Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать». <i>Пешийходная экскурсия по Петербургу Достоевского</i>	326
Заключение . . . . .	344
<i>Приложение</i> . Современники Ф. М. Достоевского, встречавшиеся с писателем в Санкт-Петербурге и упоминающиеся в настоящем издании . .	345
Основные источники . . . . .	354
Адреса Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге .	356
Условные петербургские «адреса» героев Ф. М. Достоевского . . . . .	359
Иллюстрации . . . . .	360

**Дирекция издательства:**

*О. Л. Абышко*

*И. А. Савкин*

**Художественный редактор:**

*А. В. Самойлова*

**Корректор:**

*С. Е. Парфенова*

**Оригинал-макет:**

*Н. В. Полова*

ИД № 04372 от 26. 03. 2001 г.

Издательство «Алетейя»:

193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13

Телефон издательства: (812) 567-2239

Факс: (812) 567-2253

E-mail: [aletheia@spb.cityline.ru](mailto:aletheia@spb.cityline.ru)

Сдано в набор 02.11.2000. Подписано в печать 24.02.2001.

Формат 70×100/12. 12 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 3306

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

**Printed in Russia**